**Мухтар Ауэзов**

**Путь Абая. Том 2**

**Часть третья**

**АБАЙ-АГА[1]**

**1**

Осеннее небо пасмурно. Воздух пронизан сыростью. Холодный ветер усиливает резкую свежесть раннего утра. Уныло чернеет голыми ветвями потерявшая листья таволга, краснеет пересохший тростник. Кивая облетевшими головками, колышутся под порывами ветра пожелтевшая полынь и ставший белесым ковыль. По поблекшей траве катится гонимое ветром перекати-поле. День только что занимается. Обильная роса, рожденная холодной ночью, еще не просохла, ноги лошадей мокры до самых щеток, влажные копыта поблескивают в траве.

Всадники, показавшиеся на широкой долине Ералы, далеко обогнали свои аулы, которые снялись на кочевку с рассветом. Впереди, беседуя со своим племянником Шубаром и с дальним сородичем Кокпаем, ехал Абай. За ними шумной кучкой двигалась молодежь: сыновья Абая — Акылбай и Магаш, еще один его племянник — Какитай и молодой акын Дармен. Чуть поотстали от этой группы двое всадников: Ербол, друг юности Абая, и сказочник Баймагамбет.

Ни унылая серая погода, ни дорожная усталость не мешали молодежи весело смеяться и перекидываться шутками. Все они были поэты, и хотя обычно сочиняли стихи дома с карандашом в руках, никто из них не отказывался сложить песню или стихотворение перед друзьями по-акынски — под напев домбры. Часто Акылбай вызывал молодых акынов на состязание в импровизации; порой он подбивал их на это даже во время быстрой скачки верхом. Тот же Акылбай рассказал им недавно о трудной форме стиха-подхвата, когда четыре поэта должны экспромтом сложить четверостишие, поочередно подхватывая друг за другом по строке.

Как раз эти стихи-подхват и были причиной шумного веселья всадников. Молодые акыны состязались в быстроте стихосложения, безобидно посмеиваясь друг над другом в своих стихах.

Магаш, пригнувшись в седле, повернулся к Какитаю и Акылбаю.

— Ну, давайте еще!

Застыл весь я! Дует со всех сторон…

Ожидая вызова, все жигиты были настороже, но первым подхватил строчку Акылбай:

Замерз и я! Осень взяла нас в полон…

Дармен раскрыл уже рот — из всех молодых акынов он был самым находчивым и обычно заканчивал сразу обе последние строки, — но Магаш схватил повод его коня и закричал:

— Погоди, Дармен, умерь свой пыл! Какитай всегда у нас в долгу, пусть он подхватит. Ну, Каке, скорее!

И Магаш с лукавой улыбкой обернулся к Какитаю, своему другу и сверстнику, над которым постоянно подшучивал. Но тот, к удивлению всех, не медля ни мгновения, тут же закончил стихи звонким, высоким голосом:

Ну, что ж, друзья! Замерзнешь ты и застынет он —

Останусь я! Заменит обоих Какитай-шон!

И он громко рассмеялся, довольный своей находчивостью. Акылбай в раздумье повторил про себя строчки Какитая и спросил с недоумением:

— «Шон…» Что это еще за слово?

— Просто Какитай не подыскал рифмы и выдумал «шон»! — насмешливо сказал Магаш. — Такого слова вовсе нет. Стоит Какитаю взяться за стихи, обязательно придумает какую-нибудь чушь!

Дармен заливался хохотом.

— Ой, Каке! Откуда ты приволок такое слово, какого ни один казах не знает?

Какитай дал им посмеяться вволю, но потом начал защищаться:

— А разве для стихов годятся лишь слова всем известные, избитые, которые в зубах навязли? Порой красивые, звучные слова приходят издалека, вот тогда они и изумляют людей, как сейчас. По-моему, уж если называть нашу чепуху стихотворением, так только из-за моего слова «шон»!

Услышав взрывы смеха, Ербол и Баймагамбет нагнали молодежь, и Магаш решил обратиться к старшим. Акыны повторили свои строчки, прося Ербола рассудить их. Насмешки друзей не очень задевали Какитая, но все же он стал шутливо жаловаться Ерболу.

— Ербол-ага, избавьте меня от глупых острот! Будьте моим заступником, подтвердите им, ради бога, что есть в казахском языке слово «шон»!

Видя, что в этом споре ему приходится быть судьей, Ербол попросил прочесть стихи-подхват целиком.

Магаш начал, остальные продолжили:

Застыл весь я! Дует со всех сторон…

Замерз и я! Осень взяла нас в полон!

Ну что ж, друзья! Замерзнешь ты, и застынет он —

Останусь я! Заменит обоих Какитай-шон!

Ербол подумал и отрицательно покачал головой. Новый град насмешек обрушился на Какитая.

Тогда Какитай кинулся за помощью к Баймагамбету.

— Подумай, что они говорят, Баке! — закричал он во весь свой звонкий голос. — Твои уши много слыхали, нет слова, которого бы ты не знал! Скажи свой приговор!

Баймгагамбет с обычной своей прямотой решительно ответил:

— Ты неправ, Какитай. Ни в сказках, ни в песнях не встречал я такой чепухи. Нет такого слова — «шон».

Все опять зашумели, ожидая, что вспыльчивый Какитай сцепится с Баймагамбетом. Но на этот раз юноша не стал спорить, хотя и не признал своего поражения.

— Ладно, Какитай не из тех, кто валится с седла от первых ударов! — воскликнул он, — Обращусь к суду Абая-ага. Скачите за мной, поглядим, какие вы мудрецы! — И, хлестнув коня, он помчался вперед.

Пока друзья нагоняли его, Какитай, подскакав к Абаю, успел уже рассказать о споре. Видимо, о слове «шон» здесь что-то знали: Кокпай, улыбаясь, переглянулся с Абаем. В сердце юноши вспыхнула надежда. И действительно, едва остальные поравнялись с ними, Абай повернулся к Ерболу и Баймагамбету.

— Выходит, вы оба стали на сторону Магаша и принуждали Какитая сдаться? — спросил он усмехаясь.

— Я испытанный судья, — шутливо ответил Ербол. — Не только Какитая — тебя самого вынуждала сдаваться моя справедливость, вспомни, Абай!

— Принудить к сдаче нетрудно. Много труднее — справедливо судить. Что ты скажешь, если Какитай все-таки прав?

И судьи и обвинители, уже торжествовавшие победу, в недоумении посмотрели друг на друга. Ербол и Баймагамбет начали неуверенно возражать Абаю, но Магаш и Акылбай, перебивая их, изумленно воскликнули:

— Что вы сказали, отец?

— Вы говорите, есть слово «шон»?

— Да, Какитай прав, — повторил Абай. — У казахов есть слово «шон», есть даже и такое имя. В роду Суюндик, как две высокие горы, возвышались братья Шон и Торайгыр, Оба были на редкость красноречивы, их крылатые слова известны всему Среднему Жузу, Вероятно, слово «шон» пришло к нам от киргизов. Оно часто встречается в старинных песнях, в рассказах о знаменитых батырах рода Уйсун. Как видите, Какитай крепко утер вам нос! Все вы непомерно довольны собой, среди вас он самый скромный, даже не смеет называть себя акыном. А на деле именно он и оказался настоящим поэтом, владеющим богатством речи. «Шон» означает: мощный, достойный. Какитай и о себе сказал как о достойном и вас уязвил, зябнущих и мерзнущих. Вы просто положены на обе лопатки! Вот что я скажу вам; самонадеянные акыны Магаш и Акылбай! — Абай лукаво взглянул на сыновей.

Выслушав эту добродушную отповедь, все от души расхохотались — и победивший Какитай, и побежденные поэты, и посрамленные судьи.

Всадники двинулись дальше, пробираясь в густых зарослях осоки, уже поникшей по-осеннему. В стороне показался невысокий холм. Абай, ехавший впереди, молча повернул коня к нему. Видя его задумчивость, примолкли и остальные. В полной тишине всадники поднялись за Абаем на холм, на вершине которого оказались две старые могильные насыпи, почти сровнявшиеся с землей. Молодежь вопросительно переглядывалась: никто не знал, чью память хранят эти древние курганы. Абай остановил коня.

Охватив ладонью свою красивую, не очень густую бороду, в которой уже пробивалась седина, Абай молча смотрел на могилы. Порой он щурил глаза, и сеть мелких морщин — знак прожитого времени — проступала у висков яснее: порой он совсем прикрывал веки, погруженный в мысли о давно минувших днях, свидетелями которых были эти осевшие курганы. Молодежь, остановившись поодаль, молчала, не понимая, что вызвало такую глубокую задумчивость Абая. Два ястреба, сидевшие на руке у Дармена и Шубара, вытянув шеи, тоже уставились немигающими золотистыми глазами на могилы, словно ожидая, что из-за них вот-вот выскочит дичь.

Наконец Абай, не оборачиваясь, поднял руку и сделал жигитам знак приблизиться. Всадники тронули коней. Когда стук копыт замер и все остановились возле Абая, он заговорил негромко и медленно, как бы раздумывая вслух:

— Вот уже сто раз угрюмая осень сменяла над этими могилами благодатное лето… Целый век глядят эти курганы на шумящую вокруг них жизнь новых поколений. Страшную тайну хранят они в себе. И каждый раз, когда я проезжаю мимо, я чувствую себя должником… Мой долг им — долг поэта. Здесь похоронены жигит и девушка. Жигита звали Кебек, девушку — Енлик…

Абай поднял голову. Голос его зазвучал громче, теперь он говорил, обращаясь к молодежи:

— Жестокий родовой обычай принудил тех, кто жил в одно время с ними, убить их обоих. Убить лишь за то, что они любили друг друга… Их привязали к хвостам коней и вскачь волокли по этой земле, пока жизнь не покинула их тела… Так велел закон рода сто лет тому назад. Так велит он карать и теперь, в конце девятнадцатого века. Страшный закон был и остается путами для жигита, петлей для девушки…

Абай замолк. В порывах осеннего ветра, клонившего траву над могилами, юношам слышался жалобный, печальный напев. Ковыль и полынь, покачиваясь, согласно кивали головками, как бы подтверждая, что рассказ о трагедии, разыгравшейся здесь давным-давно, — страшная правда. Абай продолжал:

— Гонимые, как звери, затравленные, несчастные, Енлик и Кебек скрылись от преследования вон там, в горах Орды. Здесь родился у них сын — плод короткой счастливой любви, продолжаться которой было не суждено. Их нашли и казнили. Мальчика отнесли туда, на ту голую вершину, и бросили там. До самой ночи, пока длился день, пока кровавое солнце не скрылось за горами, плакало на камнях ни в чем не повинное созданье… Лишь ночью умолк одинокий детский голосок, взывавший к черствым, жестоким людям в черством, жестоком мире. Умолк навсегда.

Юноши невольно откинулись в седлах, словно отшатнувшись от холода, которым повеяло на них от этих древних могил.

Первым взволнованно заговорил Дармен:

— Абай-ага… Чья же злоба решилась на такой приговор?

— Кто их убил? — не выдержал и Магаш.

— Кто заставил людей совершить это? — воскликнул Какитай.

— Тот, кто был тогда главой наших родов, — ответил Абай, — кого мы чтим как аруаха — духа наших предков: Кенгирбай.

Абай произносил эти слова медленно, обводя лица испытующим взглядом. При имени Кенгирбая Шубар вздрогнул и беспокойно взглянул на Абая. Все слушали в тяжелом молчании. Лишь Дармен не сдержался.

— Кого же мы чтим — аруаха или палача? — с горечью спросил он.

Абай посмотрел на него с видимым одобрением, но Шубар хмуро остановил юношу:

— Хватит, Дармен, думай что говоришь…

— Прошло сто лет, но аркан на шее казахской девушки затянулся еще туже… — снова заговорил Абай, внимательно вглядываясь в Дармена. И внезапно оборвал свою речь: во взгляде юноши он увидел просыпающееся вдохновение. Глаза Дармена горели и искрились, как у ястреба, сидевшего на его руке; казалось, молодой акын так же рвется в полет.

— Абай-ага, — взволнованно начал он, — у меня есть просьба. Наверное, всякий, кто проходил мимо этих могил, произносил поминальные слова из Корана. Пусть их молитвы утешают дух безвинных жертв. Но позвольте мне по-своему помянуть этих несчастных и тех, кто и теперь страдает, подобно им. Можно?

Слова Дармена как будто и не удивили Абая. Ласково кивнув, он сказал:

— Конечно.

— Вот моя поминальная молитва Енлик и Кебеку… И Дармен запел протяжную, звучную песню.

Он пел с вдохновенной печалью, и пение его совсем не походило на то, что все привыкли слышать в дружеском кружке или на больших сборищах. Оно было как скорбное, полное раздумья жоктау — песнь, которую поют об умершем, рассказывая людям о его жизни и восхваляя его достоинства. Лицо певца-поэта и все оттенки его звучного голоса выражали волнующее его душу сокровенное и глубокое чувство. Он изливал печаль двух юных сердец, рвущихся друг к другу и готовых легко расстаться с жизнью, если она не соединит их:

Без ума — бия нет.

В доме тьма — дома нет.

Коль в душе нет огня,

Жизнь — тюрьма, жизни нет!

И хотя песня, которую он пел, была всем известна, она звучала у него по-новому — торжественно и трогательно. Это была сочиненная недавно Абаем песня любви: «Ты — зрачок глаз моих». Магаш и Какитай, вполне понимая вдохновенный порыв Дармена, восхищенно переглядывались.

Дармен пел недолго. Спев четыре строфы, он глубоко вздохнул и умолк. Абай молча тронул коня. Остальные двинулись следом. Ястребы на руках охотников с шумом встряхнулись; теперь они оглядывали степь хищными, отливающими золотом глазами, отыскивая дичь.

Абай, погруженный в мысли, течение которых не было прервано пением Дармена, продолжал то, что хотел сказать молодым акынам:

— А ведь аркан, который накинули на шею Енлик, задушил не только ее. Им задавлен отчаянный крик, не успевший вырваться в мир… Не пора ли хоть теперь поведать народу тайну этих двух могил? Нельзя ли голосом Енлик выразить тайну девичьего сердца, а устами Кебека — мятежный призыв мужественной души, встающей на защиту прав человека… Ведь вы поэты. Прислушайтесь: осенний ветер доносит к нам из мглы времен жалобы и стоны… Мне кажется, вдохновенье надо искать не только в радости и в счастье, но и в горькой доле народа, в подавленных порывах его смелых сынов. Если слово берет поэт, пусть оно выражает всю правду жизни. Стих, рожденный правдой, подобен ручью, чей исток на высокой горе: он всюду найдет себе дорогу. Почему бы вам не создать стихи из того, что мы пережили вместе сегодня? Кто из вас возьмется за это?

Дармен, понявший мысль Абая еще до того, как тот закончил, хотел назвать себя, но Шубар опередил его:

— Абай-ага, я напишу об этом!

— Шубар сказал то, что было у меня на языке! — воскликнул Дармен. — Напишу я.

— У тебя на языке? — насмешливо повторил Шубар. — Я сказал то, что было у меня в мыслях. Я говорю только свои слова, и стихи будут только мои. Писать буду я!

— Нет, я!

— Нет, не ты! Я первый ответил Абай-ага…

Абай улыбнулся. Засмеялись и остальные. Дармен обратился к суду друзей:

— Пусть решит большинство! Но не забывайте, что свое намерение я выразил песней там, у могил, еще до того, как Шубар сказал об этом словами…

Магаш сочувственно кивнул головой.

— Вот так довод! — с издевкой сказал Шубар. — Ну, скажи сам по совести: разве в песне была хоть одна твоя строка? Песню сложил Абай-ага! А я еще тогда подумал обо всем этом и первым сказал слово «напишу»!

— Ты подумал, а я почувствовал это всей душой! — страстно возразил Дармен. — Ты первый выговорил это слово языком, зато я сказал его всем сердцем! Пусть то была песня Абая-ага, но разве ты не понял, что все мои чувства, все вдохновение обращены к памяти тех двоих несчастных?

Ербол, который только что смеялся вместе с Абаем над горячностью спорящих, поднес ко лбу ладонь и, вглядываясь прищуренными глазами куда-то вперед, перебил их:

— Эй, жигиты, сами вы ничего не решите! Дайте я скажу, кому из вас писать!

— Говорите! — отозвались оба сразу.

— Смотрите, — начал Ербол, понижая голос почти до шепота, — вон там у горки притаилась стая дроф. Ястребы ваши уже видят их. Спустите птиц! Чья первой схватит дрофу — тому и писать стихи.

Абай одобрительно улыбнулся. Шубар и Дармен, зная, как чутки дрофы, также шепотом ответили Ерболу:

— Ладно…

— Согласен!

И, отъехав в сторону, они взмахнули руками, выпуская ястребов. Шубар, проследив полет своей птицы и убедившись, что она, взмыв, сразу же направилась к стае, быстро обернулся к Абаю:

— Значит, так, Абай-ага? На этом и решили?

Абай не спеша ответил:

— Ербол хорошо придумал… Но я добавлю еще условие: пока ястребы летят к цели, сложите на скаку несколько строф!

И он первым тронул коня крупной рысью. Шубар и Дармен поехали рядом с ним по обе стороны, остальные за ними. Шубар, видимо довольный условием, весело сказал:

— Согласен и на это, Абай-ага! Значит, про наших птиц?

Молодежь, уже приготовившаяся мчаться вскачь, чтобы не пропустить удара ястребов, придержала коней, с любопытством глядя на Абая.

— Нет, не про них… Вы поэты, так покажите, что мысль ваша гибка и быстра! Старая бабушка в морозную зимнюю ночь убаюкивает внука под унылый вой холодного ветра… Вот ее слова и скажите стихами. Начинайте! — И Абай хлестнул коня.

Шубар, обманутый в своих ожиданиях, с укоризной взглянул на него.

— Ну, Абай-ага, это не состязание, а наказание! — растерянно воскликнул он.

Дармен, скакавший рядом с Абаем, с удивительной быстротой начал свою импровизацию. Необычные условия состязания привлекли внимание всех. Всадники забыли о птицах. Дармен, чувствуя, как внимательно все его слушают, продолжал говорить строку за строкой. Абай, довольно посмеиваясь, скакал, посматривая сбоку на Дармена; он даже снял шапку, чтобы расслышать каждое слово.

Дармен громкой скороговоркой читал рождавшиеся одну за другой строки:

Есть много на свете акынов таких,

Кто быстро слагает заданный стих,

Но много быстрей полет мыслей моих —

Ястреба крылья нынче у них!

Следите, друзья, как стих мой летит

В зимнюю ночь, где вьюга свистит,

Где лютый мороз за стеною трещит,

Где старая бабушка с внучком сидит,

Где тихая песнь над ребенком звучит:

Спи, ягненочек мой, спи,

Вьюга рыщет там, в степи,

Не залезет к нам в окно,

Не найдет нас все равно…

Баю-баюшки, бай-бай,

Спать нам, вьюга, не мешай,

Зря ты внучка не пугай,

Не возьмешь нас, так и знай!

Уходи ты в степь — гуляй,

На просторе поиграй,

Никого ведь нет в степи!

Спи, ягненочек мой, спи,

Ребенок под песенку эту уснет,

А бабушка тихо поет и поет,—

Найду ей слова на сто лет вперед,

Покуда мой ястреб окончит полет…

Дармен приподнялся на стременах и вдруг, обернувшись в седле, закричал в восторге:

Но ястреб мой в когти зажал врага!..

Победа! Стих кончен, Абай-ага!

И, вытянув коня плетью, он во весь опор помчался к горке. Все со смехом устремились за ним.

Первым доскакал Магаш и резко осадил коня возле крупной, с козленка, дрофы, в спину которой вцепился ястреб Дармена, терзавший ее так, что пестрые перья взлетали в воздух. Магаш сорвал с головы тымак и, размахивая им, закричал догонявшим его всадникам.

— Дармен, Дармен, суюнши!..[2] Тебе писать о Енлик!

Дармен, примчавшись к нему, кубарем скатился с коня и побежал к своему ястребу. Кокпай, Акылбай и всюду поспевающий Баймагамбет тотчас окружили его.

Шубар в стороне возился со своим ястребом. Издали никому не было видно, поймала ли птица добычу.

Увязав убитую дрофу в тороки Ербола, молодежь направилась к Шубару. Тот сидел на корточках, прикрывая ястреба полами чапана.

Кокпай первый понял, в чем дело.

— Какой позор! — закричал он, покатываясь от хохота. — Покажи, покажи всем!

Он отдернул полу Шубара, и тогда все увидели ястреба. Весь мокрый, дыбом подняв взъерошенные, перепачканные перья, он гневно вертел головой. Кокпай, всегда нещадно высмеивавший Шубара, дал себе волю и на этот раз.

— Ай-яй-яй, ну и подвел тебя твой ястреб! — издевался он. — Да еще в таком благородном состязании. И дрофы не схватил и сам в беду попал. Бедняжка, всего обгадила проклятая дрофа! Плохой признак для тебя, Шубар, подвела тебя дрянная птица!

Шубар только презрительно взглянул на Кокпая и под общий смех стал садиться на коня.

— Не говори так, Кокпай, — примиряюще сказал Абай. — Ястреб вовсе не дрянная птица, не зря его считают символом мужества. Взгляни, в каком он гневе! Что же, с каждым может случиться неудача. Чего же издеваться над Шубаром? Но стихи, видно, придется писать Дармену! — закончил он.

Дармен, счастливый, взволнованный, хлестнул своего белого коня, крепко натянув поводья. Конь взвился на дыбы, перебирая передними ногами, вытянувшись вверх белой свечой. Широкая улыбка сияла на привлекательном лице Дармена, озаренном чистым пламенем юности и счастья. И серый ястреб, сидевший на его руке, тоже напряг отливающее стальным блеском тело в стремлении в небо, в вольный полет.

Солнце, прорвавшееся вдруг сквозь серые облака, осветило розоватыми лучами коня, всадника и ястреба, охваченных единым порывом, и Абаю показалось, что он видит перед собой прекрасное изваяние, высеченное из мрамора.

Тревожный топот копыт, раздавшийся за спиною, заставил всех обернуться. Повернул своего коня и Абай, все еще продолжая восхищенно улыбаться.

По склону горки к ним мчался одинокий всадник. Видимо, он очень спешил: лишь подскакав вплотную к путникам, он сдержал своего коня. Под ним был вороной стригунок по второму году, маленький, но крепкий. Ноги рослого жигита свисали почти до земли; уздечка, позвякивая кольцами, свободно болталась на голове скакуна, а сам он был облит потом от ушей до копыт.

Еще издали всадник отыскал взглядом Абая и, едва остановившись, обратился к нему с почтительным приветствием:

— Ассалау-малейкум, Абай-ага!

Как ни старался жигит казаться спокойным, во взгляде его узко прорезанных глаз, слегка покрасневших от долгой скачки, Абай уловил гнев и обиду.

— Уагалайкум-ассалам! — ответил он. — Куда спешишь, жигит, что случилось?

Но всадник решил, видимо, доказать, что умеет владеть собой. Он обстоятельно и неторопливо поздоровался с остальными, начиная с Ербола, как со старшего, и лишь тогда заговорил, устремив на Абая свой острый взгляд:

— Абай-ага, я спешил к вам с жалобой. Только к вам. Дело спешное, а догнать вас удалось лишь теперь. Кроме этого стригунка у нас и коня не нашлось.

— Какое же дело? Говори! — сказал Абай, внимательно глядя на него.

— Меня зовут Абды, я из рода Жигитек.[3] Меня послали к вам все наши семь аулов. Наши земли на Шуйгинсу и Азбергене.

— Я знаю эти аулы.

— Все семь аулов терпят жестокую обиду: насилие и разбой! А насильник — Азимбай.

Абай нахмурился. Когда при нем называли это имя, неразрывно связанное со злом, с несправедливостью, Абай чувствовал себя ответчиком: ведь Азимбай — сын его родного брата Такежана, племянник, или, как считается у казахов, младший брат. Абай невольно вздохнул, и Абды, уловив этот вздох и тень, пробежавшую по лицу Абая, заговорил смелее:

— Опять забирает себе половину наших покосов. Косарей нагнал. И в позапрошлом году и в прошлом отнимал у нас сено, и теперь снова грабит — в третий раз. А для нас это сено — большая подмога. Своего скота в наших аулах нет, так мы брали на зимний прокорм скот у крепких аулов. А он накидывается на наше добро каждый год. Без спросу скосит и увезет. Обманет поодиночке каждый аул, пригрозит, запугает. До костей пробрала нас обида, нынче и решились: все семь аулов сговорились сказать, что не дадим косить. Пошли к нему, а он нас прогнал. Вот и послали меня к вам, Абай-ага: состоим в тяжбе, ждем вашего решения.

Спокойно изложив обстоятельства дела, Абды дал наконец волю своим чувствам:

— Вот с какой слезной обидой скакал я к вам, Абай-ага. Меня послали голые, голодные люди семи аулов. Разве Азимбай не единоплеменник наш? А он хуже самого лютого врага! Живое тело народа клюет, рвет на части клыками! Топчет нас, грабит каждый год, каждый день! Удержу не знает! Будет ли тому конец, увидим ли мы когда-нибудь в жизни свет?

Смуглое лицо его подергивалось, как от боли, голос прерывался, на глазах выступили слезы, весь он кипел возмущением. Шубар насмешливо подтолкнул Кокпая.

— Вот болтун, еще разревется! — негромко сказал он, презрительно морща нос.

Абай всей душой понимал жигита. Яркая вспышка справедливого гнева восхищала его, а в горьких, печальных словах Абды он услышал стон множества обездоленных и ограбленных людей своего народа. «Искать, искать неустанно, где же в жизни тот свет, о котором мечтают безвинные жертвы!..» — думал он, продолжая смотреть на взволнованного, Абды. Потом выпрямился в седле и быстро заговорил, оглядывая спутников:

— Видели вы такое самоуправство? Накинулся на бедных людей, подмял под себя, терзает, не слушая воплей и криков!

— Ну, они с Такежаном соседи, — примирительно заговорил Шубар. — Нынче дружба, завтра ссора, между соседями всегда так… Пусть этот жигит едет к Такежану, договорятся сами…

Абай испытующе посмотрел на него.

— Что ты предлагаешь? У них тяжба с самим Такежаном, а ты посылаешь их к нему? Они у нас ищут защиты, просят быть посредниками.

— Но это значит — вам снова ссориться с Такежаном. Снова обиды, тревоги… Все опять ляжет на вас… Нарушится ваш мирный труд, оборвутся стихи и песни… Вот чего я боюсь.

— Пусть вовсе сгинут стихи, если им нужен покой и тишина! — оборвал Абай, окидывая Шубара сердитым взглядом. — Что ты мелешь? Вот как вы рассуждаете, глядя на коварство и насилие! Тогда не зовите себя акынами!

— Ну, воля ваша, — коротко ответил Шубар, насупясь.

Абай, повернувшись к другим, уже приказывал властно и гневно:

— Магаш, Дармен! Скачите сейчас же вслед за Абды! Скажите Азимбаю, чтобы прекратил разбой! Пускай остановит косьбу, пусть не ввергает народ в слезы!

И, проводив взглядом юношей, Абай, тронул коня и молча поехал впереди остальных, погруженный в горькие думы.

Когда жигиты подъехали к Азбергену, Дармен удивился, что трава на спорной земле, рослая и густая, уже пожелтела и высохла.

— Что же вы так тянули с косьбой? — упрекнул он Абды.

— Мимо нас осенью много аулов проходят на зимовья, — объяснил тот. — Покосы нужно охранять днем и ночью, не хватает рук на уборку. А когда все стада прошли и мы собрались косить, Азимбай оказался тут как тут… Мы просили: «Подождите косить, пусть нас рассудят сторонние люди». Я поскакал к Абаю-ага, а Азимбай все-таки начал косить. Разве есть над ним власть? Какой суд он признает? Насильничает как хочет! Вон поглядите! — И он показал на край луга, где, взмахивая косами, размеренно продвигались вперед восемь косарей.

Возле них стоял десяток мужчин, в большинстве молодые жигиты. Среди них Дармен узнал знакомых ему Сержана и Аскара. Лица всех выражали гнев и возмущение.

Сам Азимбай был тут же. Верхом на сытом гнедом коне он медленно проезжал за спинами косарей, как бы подгоняя их. Коричневый чапан раздувался ветерком на боках и спине, и сзади Азимбай казался много толще, чем был на самом деле. Взглянув на него, Магаш невольно подумал, что такую тушу не прошибить ни мольбами, ни слезами.

Жигиты подъехали к кучке бедняков. Те приветливо поздоровались с приезжими. Лица их прояснились надеждой. Люди узнали сына Абая и почувствовали, что юноша привез им защиту и опору.

Магаш обратился к Азимбаю.

— Что ты тут натворил, Азимбай? — спросил он спокойно. — Почему затеял тяжбу с нищими соседями?

— А что я сделал? Я подбираю с земли то, что они бросили. Бедняки заволновались. Громче других заговорили Сержан, Аскар и Абды:

— Как это — бросили?.. Разве мы отказались косить? Кто тебе это говорил?

Азимбай бросил на Абды холодный взгляд из-под набухших красных век и, повернувшись к Магашу, лениво заговорил:

— Врут они. Вовсе и не собирались тут косить. Где это видано, чтобы некошеная трава стояла до морозов? Увидели, что я за нее взялся, вот и завопили, что сами собирались косить. Просто хотят сорвать с меня за брошенный покос.

Абды не вытерпел.

— Ты отлично знал, почему мы не косим! — возмущенно крикнул он. — И сам тоже ждал, когда пройдут другие аулы, чтобы никто не видел твоего разбоя. Останови, мирза, косарей!. Дай разобрать дело!

— Прекрати косьбу! Начнем разбор! — добавил и Сержан. Азимбай прикрикнул на них:

— Приказывать мне взялись? Ну, глядите у меня!

— Прекрати разбой! Эй, люди, бросьте косить, кладите косы! — закричал Абды, спрыгивая со своего стригунка.

— Косите, не останавливайтесь! — разъяренно кричал Азимбай, взмахивая плеткой. — Косите, говорю вам!

Абды, Сержан и Аскар, как бы сговорившись, одновременно кинулись к косарям и решительно встали перед ними.

— Для нас трава на этой земле — что волосы на голове! Коси нас вместе! — отчаянно крикнул Абды.

Косари заколебались. Первым перестал косить Иса, сын старухи Ийс из такежановского аула.

— Коси! — зарычал Азимбай.

Но Иса не послушался окрика. Глядя на него, остановились и двое других косарей, дошедших до Сержана и Аскара. За ними нерешительно опустили косы и остальные. Лишь один чернобородый табунщик продолжал косить, испуганно оглядываясь на Азимбая.

Тот подскакал к Исе, осыпая его бранью.

— Будешь ты косить, собака?

— Что же, мирза, значит, ты велишь мне убить человека? Такого же голодранца, как я…

Азимбай не дал ему договорить. Тяжелая плетка с размаху опустилась на спину Исы. Тот, сверкнув яростным взглядом, стиснул зубы и кинул свою косу далеко в сторону.

— Не буду убивать! Убей лучше меня, кровопийца!

Азимбай уже не помнил себя от злости. Он подозвал чернобородого косаря и приказал ему встать на место Исы.

— Иди вперед! Коси по ногам! Посмотрим, как они устоят! Чернобородый табунщик взмахивал косой, все ближе подбираясь к ногам Абды.

Магаш и Дармен не выдержали. Хлестнув коней, они поскакали к косарю, крича:

— Стой, с ума сошел! Стой, говорю!

Но тут Абды высоко поднял ногу и наступил на лезвие косы, сверкнувшее возле носка его сапога. Стремительно нагнувшись, он вырвал у чернобородого косу и одним ударом о землю сломал черенок. Подняв косу за обломок черенка, он взмахнул ею, как саблей. Сейчас он был готов на все.

Сержан и Аскар тоже кинулись на стоявших против них людей Азимбая и, отняв у них косы, высоко подняли их. Теперь всем было ясно, что если кто-либо посмеет скосить хоть одну травинку, начнется настоящее побоище.

— Стойте, опустите косы! — крикнул Дармен. Магаш поддержал его:

— Дайте сказать слово! Абды, брось косу! Азимбай, укроти своих людей!

Абды и его товарищи послушно опустили косы, но все же не выпускали их из рук. Бледный и разъяренный Азимбай безмолвно осадил коня.

Теперь Магаш заговорил нарочно негромко, неторопливо. Неожиданно спокойный его тон невольно действовал на людей, только что кипевших в яростной вспышке, заставляя их приходить в себя.

— Мы приехали к вам от Абая-ага. Он просил вас разрешить спор миром. У меня поручение к тебе, Азимбай: отец требует, чтобы ты не насильничал. Если хочешь взять сено, купи, договорись. А разбой мы все осуждаем. Вот мнение посредника, к которому обратились эти люди. Объяснись при мне с ними, договорись, как быть!

Эти рассудительные слова Магаша, за которыми чувствовалась уверенная сила, подействовали и на Азимбая. Он не решился на открытое столкновение. Но и от своего отступать не хотел:

— Пусть Абай посредничает в нашем споре, я не возражаю. Но если Абай мне дядя, то Такежан мне отец. Абай приказывает мне не косить здесь, а отец велел скосить эту траву. Для этого и оставил меня тут, а сам откочевал. Кого же мне слушать: отца или дядю? Думаю, что отца. Он старше Абая, а слушают приказ старшего.

— Но ведь этот приказ несправедлив! Абай затем и послал нас, чтобы ты не выполнял такого приказа!

— Если приказ несправедлив, пусть Абай и уговорит отца отменить его.

— Ну, а ты? Пока они договорятся, ты будешь косить?

— А как же? Я только исполняю повеления отца. Ведь ты, Магаш, не нарушаешь воли своего отца? На что же ты подбиваешь меня? Напрасно послал тебя Абай ко мне, тебе надо было ехать к Такежану. Вот мой ответ, другого у меня нет. Траву эту я скошу. Кончено!

И, не желая слушать возражений, он тронул коня и поехал в сторону. Бедняки жигитеки растерянно молчали. Наконец первым заговорил седобородый Келден:

— Ну, жигиты, поняли? Дорогой Магаш, ты сам видел все своими глазами. Просим лишь об одном: расскажи подробно Абаю. А Азимбай пусть кончает свое дело. Пусть скосит траву, соберет в стога. А потом мы оплатим ему работу и заберем наше сено на свои зимовки. Верно ли такое решение, люди?

Все одобрили его:

— Ничего другого не остается! Раз он сам говорит «кончено» — пусть и будет кончено.

И лишь один Абды, кипя сдержанным гневом, горько сказал:

— Э, жигиты, так нам не видать света! Развернуть бы сейчас плечи да одним ударом ответить за все многолетние обиды! За это и кровь пролить-можно… Эх, нет среди нас Базаралы! Как был бы ты кстати сейчас, родной мой батыр! Горе нам без тебя, заступник наш! — И Абды, вздохнув, низко опустил голову, опершись лбом на обломок черенка отнятой им косы, и замолчал.

Теперь заговорил Магаш. Он согласился с бедняками, что иного решения быть не может. Тупой и злобный Азимбай все равно настоит на своем. Магаш обещал рассказать обо всем Абаю и просил потерпевших не предпринимать ничего до решения отца.

Попрощавшись с бедняками, Магаш и Дармен поехали, обратно. Проезжая мимо косарей, Дармен остановил коня и дружески обратился к Исе:

— Ну и молодец ты, Иса! Я только теперь понял твои достоинства. Можно быть батраком, но не надо становиться цепным псом хозяина. Ты показал себя настоящим человеком!

Иса, все еще не успокоившийся, коротко ответил:

— Мало злодею, что грабит, чужое, еще на убийство толкает! Нет, лучше мне самому погибнуть, чем повредить хотя бы ноготь такого отважного, жигита, как Абды!

Магаш и Дармен пустил» коней вскачь торопясь рассказать все Абаю.

2

Небо и сегодня в серых низких облаках. В юрте Абая и его второй жены Айгерим уютно горит очаг. Служанка Злиха, заложив в котел мясо, подкладывает в огонь плитки прессованного кизяка — желтого кыя.

Юрта устроена уже по-осеннему. Кереге — нижние решетчатые части ее остова — завешаны кошмами и коврами; пол покрыт толстым войлоком, поверх которого на почетном месте юрты лежит кошма, отделанная сукном, и разбросаны одеяла из мерлушки и шкура архара. Высокой кровати уже нет: постель, застланная стегаными одеялами и заваленная подушками, сделана из мягкого войлока, наложенного рядами и покрытого периной.

Завтрак только что окончился. Абай, накинув на плечи тонкий чапан и надев легкую козью шапку, взял очки (теперь он уже не мог читать без них) и протянул руку к стопке книг, лежащих у постели. Там, рядом со всегдашними его спутниками — Пушкиным и Лермонтовым, — нынче появились Байрон и Гете в русском переводе.

Эту ночь Абай спал плохо, ворочаясь в тяжелых думах, вызванных рассказом Магаша и Дармена.

Когда юноши с возмущением передавали ему то, чему были свидетелями, Абай слушал молча, хотя в душе у него все кипело. Только сегодня рассказывал он молодежи о злодеянии, совершенном сто лет назад. И нынче сильные опять чинят насилие над беззащитными. Какими законами, какими обычаями оправдать произвол, не изменяющийся на протяжении ста лет? Переменились только имена хищников: одного звали Кенгирбаем, другого Кунанбаем, а нынешнего Азимбаем — да изменились способы насилия: раньше убивали камнями, а теперь нищетой и голодом. Мрачное, беспросветное время. Бежать бы куда глаза глядят. Но тут же горько усмехнулся. Нет, если в юности, когда было больше сил и решимости, он не сделал этого, теперь, в зрелые годы, он не мог бросить свой народ, бежать от его страданий и горя: ведь нет для него ничего ближе, дороже родного народа.

«Уйти… Как уйти от народа?.. Не от него надо уходить, а уйти от злодеев-насильников! Пусть они близки по крови. Те обездоленные, обиженные люди из народа ближе мне, чем родные. К ним влечет и сердце и разум. Для их блага должен отдать я все силы, их велений должна слушаться моя совесть…»

Но Магашу и Дармену, безмолвно сидящим перед ним, он высказал лишь часть своих дум и решений.

— Что за несчастная у меня жизнь! — горько сказал он. — Как же укротить насилие злодеев, когда самый злобный из них живет рядом с тобой, в твоей семье, и ты его не можешь остановить? Народ в слезах, а что толку, если и я плачу вместе с ним? Чем помогу я ему на деле?.. Они правильно решили увезти сено по своим зимовкам. Это урок таким людям, как Азимбай! Пусть только держат слово и выполняют его… А я поговорю с Такежаном, поддержу их. Не так часто бедный народ решается на отпор, такому делу нельзя не помочь…

С этими словами Абай отпустил сына и Дармена. Они тут же рассказали о своей поездке остальным. Все единодушно осуждали Азимбая, возмущаясь его бессердечностью и алчностью, а Какитай с негодованием припомнил и поведение Шубара:

— «Пусть едет к Такежану»… Что это за совет? И что это за опасения: «повредит вашим стихам»?.. Не человек, а лиса!

— Ты прав, именно лиса! — подтвердил Магаш. Акылбай, слушая их, усмехнулся.

— Неужели вы до сих пор не знаете, что такое Шубар? Разве делал он что-нибудь без тайного расчета? Ведь он быстро смекнул, что эта ссора далеко зайдет, и тут же поспешил подчеркнуть, что он ни во что не вмешивался. Когда между отцом и Такежаном начнется разлад, Шубар останется посредине. Конечно, выгоднее, чтобы обе стороны считались с тобой! А ведь в душе-то он только и ждет схватки отца с Такежаном и сам исподтишка, как говорится «из-за шести холмов», разжигает эту вражду. Уж если кто ставит здесь капкан, так это Шубар!

Акылбай верно оценил положение. Шубар действительно был одной из неисцелимых ран Абая. Эта рана глубокая, скрытая. Если Азимбай — жестокая, но открытая язва, которую можно прижечь или вырезать, то Шубар — тайная, липкая болезнь, грызущая внутренности, от которой нельзя избавиться. И оба они родственники Абая, связанные с ним общей жизнью. Попробуй убежать, куда от них убежишь? А Шубар вдобавок и сам неотступно вился вокруг Абая, преследуя свои тайные цели.

И так же, как его сыновей, самого Абая мучила мысль об этих врагах, стоящих рядом. Хмурая погода лишь усиливала эти мрачные мысли. И, достав томик Пушкина, Абай погрузился в чтение, стремясь хотя бы на время уйти мыслью от тяжелой действительности, найти в любимых стихах успокоение тоскующему сердцу.

Айгерим сидела у очага, склонясь над лисьим малахаем, который она шила мужу к зиме. На ней была крытая черным шелком шуба из лисьих лапок, отороченная бобром и украшенная серебряными пуговицами с вделанными в них кораллами. Головной убор, вышитый позументом, изящно повязанный, сверкал ослепительной белизной. В этой нарядной одежде Айгерим, несколько располневшая за последние годы, поражала своей созревшей красотой.

Абай порой отрывал от книги глаза и взглядывал через открытый тундук на небо. Он уже дважды спрашивал Злиху, которая то и дело выходила по хозяйству:

— Ну, как там тучи? Не расходятся?

В юрту вошли Магаш и Акылбай вместе с друзьями, с которыми они позавтракали в своих юртах. Появились Ербол, Кокпай, Баймагамбет и Муха — певец-скрипач. Они считались гостями самого Абая, тогда как молодежь — Какитай, Дармен и начинающий певец Альмагамбет были гостями его сыновей, Абай продолжал читать, и лишь когда рядом с ним сел на свое обычное место Ербол, он снял очки, отложил книгу и обратился к другу с тем же вопросом:

— Как погода, виден просвет?

Айгерим с улыбкой подняла глаза на мужа.

— Что вы все беспокоитесь о погоде, Абай, будто сейчас зима и грозит джут?[4]

Абай ответил ей долгим восхищенным взглядом. Румянец, вызванный огнем очага, еще больше подчеркивал чистую белизну ее лица, все оно сияло безмятежным спокойствием. Глядя на нее, Абай невольно улыбнулся и сам.

— И верно, что это я пристаю ко всем с погодой? — весело сказал он. — Не лучше ли глядеть на тебя и забыть о ней? Какой бы унылой она ни была, в нашей юрте сверкает свое солнце… Гляди, Ербол, как брызжет оно лучами! Ну какая осень может омрачить его сиянье?

Все шумно рассмеялись, Айгерим еще больше покраснела; смущенно прозвенел ее тихий смех, всегда напоминавший Абаю звон серебряного колокольчика. Она повернулась к Злихе и сказала, чтобы та подала гостям кумыс.

Служанка расстелила новую синюю скатерть, принесла большую миску и серебряный черпак с позвякивающими на ручке кольцами. Густой осенний кумыс наполнил желтые деревянные чашки.

Сегодня кумыс оказался особенно хорош. Иногда, не перебродив достаточно в такие холодные ночи, кумыс отдает прокисшим молоком. На этот раз гости, выпив по чашке, зачмокали губами.

— Настоящий, крепкий кумыс!

— Такой с ног свалит!

Яркий огонь очага, мясо, сварившееся в котле, отличный, густой кумыс — все это располагало к долгой беседе. Именно для этого и собрались в юрте Абая его друзья и молодежь.

То, что рассказал вчера Абай, каждого взволновало и навело на глубокие раздумья. Кокпай, Ербол, Муха и Баймагамбет, ночевавшие вместе, все утро говорили только об этом. Больше других знал о давнем событии Ербол. Он объяснил бесчеловечность приговора тем, что во времена Кенгирбая племя Тобыкты, еще малочисленное и неокрепшее, не смело спорить с сильным племенем Сыбан, из которого происходила Енлик. А старейшины его требовали самой жестокой казни.

Слова Ербола ни у кого не вызвали возражений, обсуждались лишь подробности события.

Не так говорили о нем в юрте Магаша, младшего сына Абая. Там горячие и пылкие споры начались еще с вечера и продолжались за утренним чаем. Акылбай, Магаш, Какитай и Дармен всякий по-своему искали объяснений жестокому насилию. Они строили множество догадок, приходили к самым различным выводам. Страстные чувства волновали их: презрение к палачу, жалость к его жертвам, гнев и стыд. Один вопрос занимал юношей более всего: что хотел сказать Абай, говоря о правде жизни и о том, что поэт должен именно выражать своими стихами?

Дармен попытался разрешить загадку:

— Мне кажется, Абай-ага намекал тут на Кенгирбая… По-моему, он хотел сказать: «Не воспевайте его как безгрешного аруаха. Ищите правды. И если в нем есть пороки — не молчите о них, говорите прямо!»

Эта мысль пришла Дармену в голову ночью, когда он размышлял о своей будущей поэме. Если бы ему дали волю, он показал бы Кенгирбая таким, каким тот был в день страшного приговора, без тех покровов, которыми его благоговейно окутали.

Магаш возразил ему:

— Как ты будешь говорить о пороках Кенгирбая, если его считают почти святым. Давайте сперва решим, как понимать, что такое правда. Если это то, что на устах у многих, нам остается лишь смиренно ставить на могилу Кенгирбая парные свечи и проводить на ней ночи в молитве. По-моему, нельзя слепо верить тому, что твердят люди, покорные обычаям. Наоборот, надо обличать заблуждения, направлять народ на новый путь…

В разговор вмешался старший сын Абая Акылбай. Он размышлял всегда неторопливо и обстоятельно, отчего казался тяжелодумом. Однако он глубже других вникал в суть вопроса. Так и теперь Акылбай повернул беседу в неожиданную для всех сторону.

— Я тоже думаю не о Кебеке и Кенгирбае, меня занимает другое, — заговорил он своим резким, хрипловатым голосом, напоминавшим голос его матери — Дильды. — Вот вы скажите мне: может ли быть на свете вечная истина? Такая, которая оставалась бы общей для всех народов, неизменной для всех времен? Бывало ли так, чтобы все поколения одинаково понимали справедливость, жестокость, коварство?

— Верно, Акыл-ага, — улыбнулся Какитай. — Немало мудрецов так же ставят вопрос в своих книгах. И кто знает, может быть, во времена Кенгирбая кое-кто считал такой приговор не бесчеловечным преступлением, а справедливой карой? Что вы думаете об этом? — И он посмотрел на Магаша.

Обычно, беседуя о сложных вопросах, которые выдвигала перед ними жизнь, друзья приходили к общему решению. Но часто споры их не рождали ясного ответа, а иной раз приводили к выводам, явно противоречащим взгляду на жизнь, установленному мусульманским учением. И тогда друзья, не в силах выбраться из дебрей, куда сами забрели, бывали вынуждены обращаться за помощью к Абаю.

Слова Какитая заставили Магаша призадуматься. Некоторое время он молчал, а потом взглянул на него и улыбнулся.

Если б мне пришлось судить, как настоятелю мечети, то… он рассмеялся, — то я обвинил бы вас обоих в кощунстве!

Какитай тоже засмеялся, видимо ничуть не испугавшись такого обвинения.

— Ну, что же, пусть так! Только не говори этого при Кокпае и Шубаре! Они всегда морщатся, когда мы осмеливаемся в своих спорах уходить от восточных книг…

Но на Акылбая слово «кощунство» произвело впечатление. В отличие от Магаша и Какитая он, как и Шубар с Кокпаем, крепко держался мусульманских убеждений. И Магаш, зная это, не стал продолжать спор.

И теперь, сидя у Абая за кумысом, молодежь с нетерпением ждала, когда беседа перейдет на то важное и значительное, о чем говорилось в юрте Магаша. Наконец, воспользовавшись удобным случаем, Магаш начал рассказывать отцу о незаконченном споре. Абай слушал внимательно, пристально глядя на него. Но когда юноша замолчал и Абай хотел было уже отвечать, возле юрты залаяли собаки, послышались топот коней и громкие голоса. Абай невольно посмотрел на дверь.

Войлок приподняли снаружи и дверь некоторое время держали открытой, видимо, в ожидании, пока какой-то почтенный гость сойдет с коня. Порыв холодного ветра ворвался в юрту, огонь в очаге взметнулся, едкий дым кыя сизым клубом пыхнул на сидящих. Они зажмурились, закашлялись и, протирая слезящиеся глаза, не очень-то радушно повернулись к двери, пытаясь разглядеть гостя, так некстати прервавшего интересный разговор.

Вошедший в юрту старик, не здороваясь, обвел всех прищуренными глазами. Важно поглаживая седую окладистую бороду, он сам ожидал приветствий, соответствующих его преклонному возрасту. Все, кроме Абая, встали и отдали ему салем, освобождая дорогу к почетному месту. Абай холодно поздоровался и неприязненно проследил взглядом, как усаживался гость.

Это был Жуман, троюродный дядя Абая. Несмотря на его годы (Жуману было уже под семьдесят), Абай считал его самым никчемным из всех своих родственников и вполне соглашался с прозвищем, под которым старик был известен в племени Тобыкты: «Жуман-болтун». Жуман и сам знал, что Абай недолюбливает его. Но ни это, ни осенняя непогода не помешали ему явиться в гости: причина для приезда была, слишком уважительной.

Еще вчера он узнал, что в ауле Абая зарезали жеребенка от кобылы, которая в эту осень ходила яловой. Жеребенок такой кобылы обычно сосет мать по второму году, и нежное мясо его особенно ценится. Жуман с самого утра ждал, когда же можно будет поехать к Абаю. Он приказал сыну держать коней оседланными и не спускать глаз с юрты Абая, пока над ней не появится дым, означающий, что мясо заложено в котел.

Гостеприимный аул Абая привлекал к себе многих людей, которые и зимой и летом приезжали без всякого приглашения под благовидным предлогом послушать Абая. Они появлялись прямо к обеду и раскрывали рты лишь для того, чтобы запихнуть туда куски мяса. Покончив с угощением, они молча разъезжались по домам, не интересуясь тем, что будет говорить Абай, беседуя с молодежью, которая шла к нему совсем не ради кумыса и обеда. Таких гостей Абай даже не замечал, желая лишь одного: чтобы они не мешали его разговорам с теми, кто был ему близок по духу.

Так и теперь: едва Жуман и его сын Мескара, коренастый смуглый парень, прильнули к кумысу, он уже забыл о них и обратился к молодежи, отвечая на слова Магаша. Он начал сразу с того, что затрудняло Дармена:

— Вчера мы решили: если слово берет поэт, пусть оно выражает всю правду жизни. Что это означает? Прямой и ясный ответ вы найдете у русских писателей. Они говорят: поэтическое слово не только повествует о том, что происходит в жизни, но дает этому свою оценку. Другими словами: поэт должен выносить свой приговор… Если не ошибаюсь, эту мысль высказал Чернышевский… Это значит, что если бы будете, например, рассказывать о таком правителе давних времен, как Кенгирбай, то повторять привычные для других слова — «блаженной памяти», «святой предок» — будет бессмысленно. Надо пристально вглядеться в те времена, понять, что же действительно произошло, и тогда смело вынести свой приговор…

И, как бы поясняя сказанное, Абай заговорил о казни Енлик и Кебека. Жестокость Кенгирбая нельзя оправдывать тем, будто народ был возмущен дерзостью Кебека, похитившего просватанную невесту. Наоборот, люди сочувствовали несчастным жертвам. Нельзя оправдывать Кенгирбая и тем, что он якобы не мог бороться против племени Сыбан, требовавшего суровой кары. Это неверно: племя Тобыкты и тогда было уже достаточно сильным. Правду об этом деле надо искать в самом народе, у стариков. Те знают, сколько скота пригнали Кенгирбаю из племен Сыбан и Матай, чтобы он вынес приговор, отвечающий их жажде мести.

Юноши и старшие друзья Абая внимательно слушали его. Жуман, вволю напившись кумыса, давно уже был поглощен другим: по выражению лиц Злихи и Айгерим, присматривавших за котлом, он старался угадать, скоро ли поспеет мясо. Разговор Абая о таких непонятных вещах быстро утомил его. Недовольно чмокая губами, Жуман удивлялся: о чем только не болтают люди! Порой он клевал носом, погружаясь в дремоту, и пропустил даже то, что говорилось о Кенгирбае.

— Вы пытались решить, что же такое истина, — донеслись до него слова Абая. — На этот вопрос коротко не ответишь…

Услышав это, Жуман знаком приказал сыну подать подушку и уткнулся в воротник чапана.

Абай начал с того же, о чем говорили юноши в утреннем споре.

— Вы правы, что это слово понимается различно. Ислам, например, говорит в имане — символе веры, который наизусть знает каждый мусульманин… — И Абай сказал по-арабски — «Верую в единого бога, в его ангелов, в пророков его и священные книги его, в коран, изреченный самим создателем…» А раз так, значит — в коране и заключена вся истина. Какова же она? Я не буду приводить множества других мнений, а передам вам только слова одного мыслителя, который вступает в спор с кораном…

Кокпай, взглянув на Абая с некоторым испугом, беспокойно кашлянул, как бы предупреждая, что разговор заходит слишком далеко. Остальные отодвинули чашки с кумысом и подсели ближе к Абаю, слушая его с жадным вниманием.

— Мыслитель этот говорит: «Допустим, мы верим, что коран — это собственные слова создателя, записанные последним его пророком. В таком случае все сказанное в коране должно быть более правильным и более глубоким, чем то, что за много веков высказано людьми, пусть даже мудрецами. Стало быть, наука всех наук, высшая истина, вершина мышления заключена именно в коране». Но почему же получается иначе? — спрашивает этот мыслитель. — Почему эта книга менее глубока, чем книги индийских мудрецов или греческих философов? У человечества есть множество неразрешенных вопросов: в чем суть истины, кто создал мир, что такое вселенная, что такое душа? Разумеется, на все эти вопросы яснее всего и вернее всего должен был бы ответить коран. Но почему же ответы его неясны, запутанны и не так убедительны, как ответы, которые дают на эти вопросы мыслители прошлого и современности? Все, что сказано в коране о строении вселенной, о человеческом обществе, о теле человека и об его сокровенной тайне — душе, ничего не объясняет. Более того, говорит он, иногда получаются даже смехотворные выводы…

Абай помолчал, обводя взглядом слушателей. Ербол и Акылбай сидели нахмурясь, опустив головы, а Кокпай даже приложил руку к груди жестом покаяния, будто повторяя про себя «Астапыр, алла» («Господи, прости мое согрешение»). Дармен, Магаш и Какитай, наоборот, улыбались и, не решаясь высказать одобрение вслух, всем своим видом показывали, что слова Абая нашли в них живейший отклик.

— Мудрец этот указывает, что сказкам, которые есть в коране, просто трудно верить, — снова продолжал Абай, — что там с детской наивностью говорится о бесах всякого рода и о прочем колдовстве, чему человек, постигший науки и обладающий разумом, поверить уже никак не может. В самом деле, вспомните стих из корана «Алям тара кайфа…», «Посмотрите, как господь покарал за гордыню племя Филь». Толкователи корана поясняют, что с неба слетело множество необычайных птиц, несших в клювах камни, и каждая птица бросила на голову каждого человека камень господней кары… Ну можно ли этому поверить? Или возьмите короткую молитву из корана, которую пять раз в день повторяет тот же Кокпай во время намаза: «Куль агузи би раббиль фалях», где просят господа, чтобы он охранил от нечестивых козней старухи колдуньи, умеющей насылать на людей порчу… По мнению мыслителя, коран, давая такую молитву, ничем не отличается от шамана или знахаря, которых мы нынче считаем суеверными невеждами. Вот вам пример того, что, желая найти в коране истину, мы находим суеверие и невежество! — закончил Абай.

Кокпай и Акылбай, не в силах слушать дальше, поднялись и молча пошли к выходу. Какитай, Дармен и Магаш проводили их громким хохотом.

— Они спасают свою веру бегством! — шутливо заметил Магаш.

Какитай повернулся к Абаю.

— Немудрено, что Кокпай сбежал! Ваш мудрец, Абай-ага, прямо за глотку хватает! — Потом, перестав смеяться, он добавил в раздумье: — Но если согласиться с ним, что же остается от вашей веры? Чем тогда жить?

Смех юношей разбудил Жумана. Он взглянул на котел. Огонь, видимо, давно потух, а Абай, все говорил и говорил; сейчас он отвечал Какитаю, Жуман с негодованием и презрением взглянул на Абая, который совершенно позабыл о том, что пора приступить к обеду.

Тревога, прозвучавшая в вопросе Какитая, была понятна Абаю, и он, ласково глядя на юношу, сказал:

— В книгах других мыслителей ты столкнешься с более горькой правдой. Но не отворачивайся от нее, не беги, как это делал Кокпай… Взвешивай, сравнивай, думай и, если окажется нужным, выбирай…

И Абай снова вернулся к тому, что занимало молодых акынов.

— В поисках ответа, что же такое истина, где должен искать ее поэт, мы увидели, как в разные времена, в разных обществах по-разному понималась истина. Но оставим далекое прошлое, посмотрим на то, что окружает нас сейчас. Подумайте хотя бы о том, о чем рассказали нам вчера Магаш и Дармен…

Какитай, несдержанный и пылкий, воскликнул:

— Что можно увидеть рядом с Азимбаем кроме злодейства и насилия?

Абай взглянул на юношу.

— Вдумайся: разве всякие Азимбаи и Такежаны свое насилие над слабым именуют насилием? Разве свои дела они понимают как разбой? Нет, они понимают это как свое право, как преимущество сильного рода Иргизбай над другими. Они говорят: «Раз мой дед Оскембай властвовал над людьми, раз мой отец Кунанбай устанавливал свой закон для народа, то, если мы не пойдем по их стопам, значит, мы недостойные потомки!» Пусть другие называют это хищничеством, волчьим законом, насилием, им это все равно. Они держатся за это… Ну, а разве убедите вы обездоленные и ограбленные аулы, что истина — в таком волчьем законе? У этих аулов настоящая истина — стремление защищаться, сопротивляться. Разве все это не источник для мысли поэта? Пишите о прошлом, судите его, пойте о сегодняшнем, но проверяйте все самой жизнью. Каждую истину проверяйте думами, мечтами, судом самого народа. Вот что я посоветовал бы вам. Несчастье этих бедняков велит мне бороться за них, посылает меня к Такежану, требует, чтобы все мои, мысли, мои стихи и песни служили народу. Вот что повелевает мне жизнь!

Абай говорил теперь все более взволнованно, повышая голос и увлекаясь. Было видно, что он не раз думал обо всем этом. Подчеркивая свои слова широкими движениями рук, он продолжал:

— А вот обратимся к России. Как думает о ней казахский народ? И что видят в России такие люди, как Уразбай, Жиренше или, скажем, наш Такежан? Для Уразбая Россия — это только власть белого царя. Он и покоряется ей, и боится ее, и угождает ей. Для него самое важное — выпросить для себя или сына место волостного управителя, чтобы нажиться самому и прижать своих соперников. Для всех, подобных ему, понятие «Россия» только в этом и заключается. Он и не друг России и не враг ее, он связан с ней лишь расчетом, выгодой. Да он и не знает ни России, русского народа, он знает лишь чиновников да урядников. А что такое на самом деле Россия для молодого поколения казахского народа?

Абай обвел взглядом слушателей.

— Россия — это прежде всего страна с высоким уровнем жизни, неизмеримо более высоким, чем у нас, в нашей глухой степи. Россия — это мудрые книги, написанные настоящими мыслителями; это бесчисленные школы, библиотеки, лечебницы; это многолюдные города, где жизнь идет совсем иначе, чем в нашей пустыне; это железная дорога, пришедшая нынче в Сибирь; это пароходы, плавающие теперь по Иртышу; это и русские фабрики, заводы, мастерские. И мы, казахи, получаем от России часть того, что рождается в ней ее высоким уровнем жизни: мы получаем и одежду, и обувь, и упряжь, и топоры, и пилы. Это видят все. Но мы можем получить и то, что важнее этого: знания, просвещение, уменье вести борьбу против насильников так, как ведет ее давно уже русский народ. Вот это все и есть для нас Россия! Лучшие русские люди зовут казахов к себе, говорят: «Идите к нам, учитесь у нас, будьте такими, как мы…» Ну, значит, как же должны мы рассказать о России нашим сородичам, если мы честные сыны нашего народа? Понятно, мы скажем, что Россия — наш друг, это будет истиной и нашей и общенародной. Для народа эта мысль будет правдой, важнейшей и нужнейшей. Но, конечно, Уразбай или Такежан, выслушав наши слова, завопят, что в них нет и крупицы истины…

Слушая Абая, Ербол удивлялся, какие смелые мысли владеют нынче его старым другом. Он искренне сочувствовал тому, что говорил Абай. Невольно вспомнились ему слова Кокпая. «Уж очень наш Абай-ага восхищается всем русским, — говорил тот, с упреком покачивая головой. — Неужели только на них и смотреть?» Чего же можно было ожидать от Уразбая или Жиренше, если даже Кокпай враждебно принимает слова Абая?

На этом беседа закончилась. Котел, который так долго испытывал терпение Жумана, был наконец снят. Кокпай и Акылбай вернулись в юрту, все начали мыть руки и усаживаться. Жуман вытащил из ножен большой нож с желтой роговой рукояткой, готовясь крошить желанное мясо, и наконец вступил в разговор. Негодование все еще кипело в нем, и, пользуясь правами старшего по возрасту, он громко заговорил, не слушая никого:

— Ну и никчемные люди эти тобыктинцы! О чем они думают, на кого они смотрят? Не понимаю, чем я досадил им, что они все время неотступно преследуют меня, донимают тем, что я много говорю, называют меня «Жуман-болтун», «Жуман-пустомеля». А почему именно меня? Уж если болтуном называть того, кто много говорит, то и без меня найдутся болтуны! Вот хотя бы этот Абай, говорит один без умолку. Целый котел мяса успел свариться, пока он тут болтал! Вот уж кого надо прозвать пустомелей!

Молодежь снова засмеялась. Айгерим, поливавшая воду на руки Абаю, тоже залилась своим тихим, серебристым смехом. Сам Абай, весь трясясь и расплескивая воду, хохотал до слез и наконец, махнув мокрой рукой на Жумана, едва сумел выговорить:

— Эх, аксакал… Чтобы прослыть болтуном, вовсе не нужно много говорить… Достаточно сказать: «Жена, как хорошо, что я утром…»

Новый взрыв общего смеха не дал ему докончить: каждый отлично понял, на что намекает Абай. Однажды зимой Жуман, проснувшись, вышел облегчиться. Днем поднялся сильный ветер, начался буран, все заволокло снежной пылью. Жуман долго стоял у окна, посматривая на буран, потом подозвал жену и сказал ей важно и значительно: «Жена, погляди, что делается! Как разумно было, что я утром успел сходить на двор!» Слова эти облетели всё Тобыкты.

Жуман, не обращая внимания на смех, деловито накрошил мясо и начал пожирать его. Акылбай, сидевший рядом с Айгерим, наклонился к ней и зашептал, расплываясь в улыбке:

— Женеше[5]…— Он звал ее «женеше», а отца — Абай-ага: воспитываясь с малых лет у своего деда Кунанбая и его жены Нурганым, он привык относиться к отцу, как к старшему брату, а к жене его, как к невестке. — Женеше, с кем он вздумал состязаться в насмешке? Сам ищет, где бы повернее сломить себе шею!

Айгерим, считая неприличным смеяться над старшим родственником, обернулась к Злихе как бы по хозяйству, борясь с душившим ее смехом. Тем временем Жуман успел уже справиться с порядочной горой мяса и потянулся за сорпой — бульоном. Прихлебывая из большой деревянной чашки, раскрашенной узорами и цветами, он снова заговорил:

— Ну, посмеялись надо мной достаточно. А теперь я скажу вам кое-что, что заставит вас прекратить смех. Вот я все думал, размышлял, никак не мог понять: с чего это вдруг жигитеки так обнаглели? Я ведь рассказывал тебе, Абай: недавно один из их аулов, кочуя мимо Кольгайнара на осеннее пастбище, прогнал коней через мой покос. Помнишь, я говорил тебе: «Как смеют жигитеки идти по нашим землям! В чем они силу почуяли?» Говорил я это? И вчера еще я удивлялся, как эти голодранцы осмелились тягаться с Азимбаем из-за спорного покоса. Кто с кем вздумал спорить? Самые дохлые из жигитеков с самым сильным из иргизбаев! Кричат, мычат, как коровы, увидев волка! Неспроста, думаю, опять жигитеков какое-то бешенство охватило, говорю…

Абай, явно показывая свое нежелание слушать вечные кляузы, отвернулся от Жумана, нахмурившись. Но тот повысил свой скрипучий голос и с важностью продолжал:

— Так вот послушай теперь. Послушайте и вы, какую новость привезли из города. Нынче утром через наш аул проскакал верховой и так кричал: «Суюнши! Суюнши!» — что мы его остановили: откуда скачет, куда, что за радость? Оказывается, скачет из города к жигитекам. И знаете, кто это был? Большеносый сын Тусипа, тот, которого зовут Мадияр, вот кто! И что, думаете вы, он говорил? Он говорил: «Суюнши, суюнши! У белого верблюда брюхо распоролось![6] Сам аллах сжалился над жигитеками! Вернулся, говорит, заступник, который высушит мои слезы!» А знаете, о ком он это кричал, волнуя и тревожа народ, скача через аул что есть духу? О Базаралы, вот о ком! «Бежал, говорит, из ссылки, вернулся!»

Новость поразила всех сидевших в юрте Абая.

Базаралы, бедняк из рода Жигитек, был отважным борцом против насилий и зверств Кунанбая, сыновей его Такежана и Исхака и внука Шубара, ставших волостными управителями. В свое время он встал во главе бедноты рода Жигитек и прочего угнетенного люда Чингизской волости и не раз оказывал серьезное сопротивление этим правителям. Сильные враги его подкупили уездного начальника Казанцева, и оклеветанный Базаралы был сослан в глубь Сибири. Несколько лет он находился вдали от родины, и о нем не приходило никаких вестей.

Абай обернулся к старику:

— Что вы говорите? Дай бог, чтобы ваша весть была верна!

Молодежь оживленно и радостно зашумела:

— Значит, Базеке жив!

— Выбрался из могилы.

— Вот и примчался на крыльях!

— Невредимым вернулся. Вот счастье!

Жуман никак не ожидал, что слова его будут так встречены. Лицо его выразило досаду.

— Будь сейчас волостным Такежан или Шубар, этот разбойник не только не появился бы, но и во сне не увидел бы степь, — проворчал он. — Наверно, узнал, что волостным сейчас Кунту, почуял, что власть теперь уже не в руках сыновей хаджи Кунанбая. А чему вы радуетесь? Думаете, веселье вернулось? Нет, беда с кровавыми глазами вернулась, вот увидите!..

— Довольно, перестаньте, аксакал! — перебил его Абай, сдерживая возмущение. — Что сделал вам Базаралы? Какая неотмщенная обида осталась за ним? Вернулся — и слава богу, пусть ждет его удача!

И, обращаясь к своим молодым друзьям, Абай закончил:

— Месть и злобу я отдал другим. А мы эту весть встречаем радостью. Базаралы — честь моего народа! Кто думает, как я, пусть завтра же едет в Семипалатинск и передаст ему мою братскую радость!

3

Догадка Жумана была верной: Базаралы бежал из ссылки именно потому, что волостным управителем Чингизской волости стал нынче Кунту. Будь управителем Такежан или Шубар, он не решился бы вернуться на родину, где у власти были те же люди, которые добились его ссылки. Но летом прошлого года власть была вырвана из рук сыновей Кунанбая и перешла к роду Бокенши, а следовательно, и к жигитекам. Событие это было совершенно неожиданным и изумило все племя Тобыкты.

Выборы проводил сам Казанцев — семипалатинский уездный начальник, в течение многих лет покровительствовавший сыновьям Кунанбая. Но даже и он до самой последней минуты не подозревал, что управителем окажется не один из них, а кто-то другой. Избрание Кунту явилось для него такой же необъяснимой и неприятной неожиданностью, как и для них самих.

Началось все это со съезда аткаминеров,[7] происходившего весной прошлого, 1888 года, на зимовке Оспана, младшего сына Кунанбая, в Жидебае.

Шубар, занимавший тогда должность волостного, устроил в доме Оспана съезд аткаминеров всей Чингизской волости. Тайной целью этого сбора, известной лишь Шубару, Такежану и его дяде Майбасару, было выяснить настроение родовых воротил перед выборами: не таит ли кто-либо из них вражды против кунанбаевцев, нет ли таких, кто будет выступать против намеченного ими кандидата? Равнодушных, колеблющихся, сомневающихся следовало привлечь на свою сторону, а против тех, кто может навредить, заранее принять меры. Именно для этого Шубар и созвал в Жидебае около сотни аткаминеров — родовых старейшин, биев, аульных старшин, елюбасы[8] — и, подчеркивая значительность встречи, заколол для них кок-каска — серую кобылицу с отметиной на лбу. В древности такую лошадь закалывали перед началом какого-либо важного дела и давали торжественную клятву в верности друг другу, опуская пальцы в ее кровь. Впоследствии угощение мясом кок-каска стало символом единомыслия и верности общему делу.

Внешним поводом для этого съезда послужила необходимость распределить между аулами Тобыкты налог на покрытие издержек волостного, связанных с его должностью. Под предлогом расходов на поездки в город, на прием и угощение начальства в ауле, на подарки и подношения нужным людям волостной помимо обычных налогов в доход казны устанавливал свой собственный. По существу это было просто взяткой, которую управитель вымогал у населения вдобавок к казенному жалованью. Эти поборы не имели ни установленных размеров, ни определенных сроков. Народ окрестил их «черными сборами».

Этой доходной статьей волостной не мог пользоваться один: волей-неволей приходилось делиться с теми, кто помогал ему выколачивать «черные сборы». Отобрав у народа множество всякого добра — овец, коней, денег, — аульные старшины, елюбасы, бии и родовые старейшины полюбовно делили с волостным добычу, получая каждый свою долю. И поэтому, когда Шубар, ссылаясь на предстоящие расходы по выборам, значительно увеличил в том году размер «черного сбора», аткаминеры согласились с ним без долгих пререканий.

Чингизская волость состояла из двенадцати административных аулов.[9] Представители их, разместившись группами в просторных комнатах нового дома Оспана, выстроенного после смерти Кунанбая, занялись распределением налога по юртам своих аулов — на каждый «дым». В этом деле все руководствовались одним правилом: не обижать своих родственников и друзей и всю тяжесть налога валить на других. А так как родственниками и друзьями аульных воротил могли быть только богатые и зажиточные люди, то само собой получалось, что налог раскладывался по юртам худородных бедняков.

Для оправдания этого было изобретено объяснение: когда в ауле проводится съезд или туда приезжает начальство, то львиную долю расходов несут именно зажиточные хозяева: им приходится и давать подводы, и выставлять гостевые юрты, и тратиться на угощение. «Ведь никто не останавливается у бедняков, — рассуждали аткаминеры, — никто не ждет от них ни кумыса, ни мяса. Все ложится на нас. Так пусть они примут на себя часть расходов, иначе как же могут они жить в нашем ауле и считаться нашими сородичами? Должны же они помочь старшим, если бога не забыли!»

Когда дело касалось простого народа, аткаминеры, обычно грызшиеся между собою, как аульные собаки, и здесь вели себя как собаки, когда те завидят волка: они бок о бок кидались на общего врага. Народ отлично видел их грязные дела, но кому мог он жаловаться на «черные сборы», беспрерывно ложившиеся на него тяжелым бременем! Тем же биям, старшинам, волостному? «Какой с того прок? — толковали по аулам простые люди. — Обратишься с жалобой к одному — он пошлет тебя к другому. Воротилы всегда сухими из воды выйдут.

Крепка у них круговая порука, недаром говорится: «В своем ауле хвост у собаки крючком». Поддерживают, защищают друг друга, а твои слова уходят на ветер. Что же остается? Махнуть рукой и покорно отдать свое добро.

Однако распределить «черный сбор» на множество юрт было не так-то легко. Съехавшиеся и позавтракали и угостились мясом кок-каска, а разверстка все еще не закончилась.

Хозяин дома, уступив большие комнаты аткаминерам, сидел со своими друзьями в маленькой угловой. Тут собрались подобные ему самому охотники до веселой беседы за кумысом и бесбармаком, не занятые ничем, кроме праздных переездов из аула в аул.

После обеда приехал Дармен. Оспан обрадовался ему, посадил рядом с собой, угостил густым зимним кумысом, а потом подал домбру.

— Вот хорошо, что ты приехал! Меня тут совсем замучили. Твердят: «Расходы, сборы! А сами пекутся только о своих прожорливых глотках. Дочиста мой аул объели! Умоляю, припомни, нет ли у Абая или у тебя таких песен, которые бы с них живьем шкуру содрали? Спой хоть одну, отомсти этим шакалам за мои обеды и чай! — сказал он, рассмешив такой просьбой своих гостей.

Дармен тут же начал длинную песню, незнакомую слушателям. Это была новая песня Абая. Полная гнева и едкой насмешки, она клеймила степных воротил, хитроумных управителей, взяточников-биев, неугомонных сутяг.

Дармен пел все громче и смелее, все более вызывающе. Шумное веселье привлекало внимание степных аткаминеров, сидевших в соседней комнате. Двое из них подошли к двери и, вслушавшись в слова песни, позвали остальных. Дармен далеко не дошел еще до конца, когда появились Уразбай, Жиренше, Бейсемби и Абралы — старейшины родов, известные на всю волость сутяги и хищники.

Беспощадные стихи Абая поразили их. Песня, высмеивая вымогателей, хитрецов, клятвопреступников, обличая их тайные сговоры и темные дела, как будто называла по именам и их самих и тех, кто был с ними. Они слушали Дармена хмуро, ни разу не усмехнувшись.

Дармен закончил песню, насыщенную гневом и горечью. Кучка аткаминеров сидела недвижно в холодном молчании. Оспан, посмеиваясь, повернулся к Уразбаю:

— Ну, бай, что ты морщишься? Не нравится, как Абай нападает на тебя? И верно — прямо по темени бьет!

Уразбай заговорил, сдерживая кипевшую в нем ярость.

— Видно, ничего хорошего не ждать уже нам от нашего времени. Скоро совсем загниет. А испортите его вы, сыновья хаджи, — сказал он сурово, глядя не на Оспана, а поверх его головы, словно видя за ним еще кого-то.

Привыкшие хорошо понимать всякий намек аткаминеры одобрительно кивнули. Уразбай продолжал с нарастающей злобой:

— Чему учат? Собери в свой аул людей, почитаемых народом, и лупи их вот так по башке! Срами, пачкай всех, срывай одежду! Подавай пример молодежи и всякому нищему сброду! — Он раздраженно махнул рукой.

— Э, Уразбай, а что тебе обижаться? — ответил Оспан, хитро посматривая на него. — Если ты в самом деле почтенный и хороший человек, песня эта не про тебя! А если ты узнал в ней самого себя, так злись не на песню, а на бога, что он тебя сделал таким…

Дармен усмехнулся, оценив хлесткий ответ. Аткаминеры, не удостоив Оспана ни словом, лишь окинув его презрительным взглядом, как юродивого, вернулись в свою комнату.

День уже клонился к вечеру. Выйдя из дому подышать свежим воздухом, Оспан вдруг заметил, что возле зимовки, на том пастбище, которое он сберегал для скота, кормившегося еще прошлогодним сеном, пасется около сотни оседланных коней. Этого Оспан не выдержал.

Он гневно обернулся и, увидев одного из своих жигитов, рослого Сейткана, приказал:

— Бери курук и скачи к тем коням! Гони всех в загоны! Мало обжорам того, что на скатертях, еще и коням их отдать луг на потраву? Загоняй скорей, бей куруком, кто заартачится!

Сейткан схватил курук — длинную березовую палку с петлей на конце для ловли лошадей, — вскочил на стоявшего у дома коня и помчался во весь дух. Забияка по природе, Сейткан вдобавок отличался дерзостью и наглостью слуги сильного, знатного хозяина.

С гиканьем подскакав к пасущимся лошадям, он начал бить их куруком, выкрикивая во все горло имена тех родов, чье тавро было выжжено на крупах:

— Сактогалак! Жигитек! Котибак! Топай! Карабатыр! Торгай!…

Испуганные криками и ударами, кони шарахнулись в стороны, стукаясь седлами, наскакивая друг на друга, и наконец кинулись к зимовью, словно гонимые степным пожаром, неловко подскакивая на спутанных передних ногах. У ворот загона они сбились в кучи, сталкиваясь, взвиваясь на дыбы, опуская копыта на спины передних. И тут случилось то, чего ни Оспан, ни Сейткан не предвидели: перекладина ворот была очень низка, и спутанные кони, проскакивая в загон вприпрыжку, с силой ударяли по ней седлами, с треском раскалывая и даже разбивая в щепки передние луки…

Тем временем распределение «черного сбора» наконец завершилось. Общее согласие, с которым аткаминеры обсуждали, сколько нынче можно взять у народа, сразу же исчезло, едва речь зашла о доле каждого из них в будущей добыче. Шубар, как волостной, и поддерживаемые им другие кунанбаевцы показали такую жадную хватку, что остальные уходили обиженные, затаив злобу. Больше всех оскорбились Уразбай, Жиренше и Бейсемби.

Когда, закончив дела, аткаминеры гурьбой повалили из дома Оспана, чтобы сесть на коней, они увидели последствия озорства Сейткана. Почти все седла были исковерканы, словно кто-то нарочно разбивал их, решив поиздеваться над гостями. Были изуродованы седла и тех, кто считал себя цветом племени Тобыкты: Жиренше, Уразбая, Кунту, Бейсемби, Абралы, Байгулака, Байдильды. Тщеславные, самолюбивые, заносчивые, они были глубоко оскорблены тем, что на глазах у аткаминеров всей волости оказались в таком смешном и позорном положении. Не спрашивая объяснений у хозяина аула, Оспана, не удостоив взглядом даже Шубара, который провожал гостей, они уехали молча, не попрощавшись.

И только когда зимовье Оспана скрылось из глаз, Жиренше, Кунту, Уразбай и Бейсемби, ехавшие рядом, заговорили об этом.

— Что мы им сделали кроме добра? — мрачно начал Жиренше. — По первому зову Шубара примчались, чтобы помочь ему добиться неслыханного «черного сбора»… Озолотили и его самого, и всю его родню, и того же Оспана. А чем они отблагодарили? Этим, что ли? — И он ударил рукояткой плети по разбитому седлу Кунту.

— Сами мы распустили кунанбаевских щенков! — злобно отозвался Уразбай. — Совсем обнаглели, бога забыли… Даже сам Кунанбай не издевался так над нами! Но пусть покарают нас предки, если мы стерпим и на этот раз! Собаками мы будем, если и сейчас проглотим их дерзости. Надо действовать!

Бейсемби, расчетливый, спокойный и властный глава рода Жигитек, обычно говорил медленно, взвешивая каждое слово. Отлично поняв настроение обоих и прочитав на хмуром лице Кунту полное сочувствие им, он сказал, глядя в упор то на Жиренше, то на Уразбая:

— Не кричи так. Зачем это слушать другим? И не говори лишних слов. Если ты действительно возмущен, говори о деле. И говори открыто, свет мой…

В его внешнем спокойствии оба старейшины почуяли ярость, готовую прорваться.

— Клянусь всевышним, буду мстить! — ответил Уразбай.

— Клянусь кораном и духами предков, умру, но буду с тобой, скажи только, что делать! — поклялся и Жиренше.

Бейсемби, как бы убедившись в их решимости, заговорил быстрее обычного, даже взволнованно:

— Если вы оба говорите, что думаете, пусть гнев ваш не тонет в словах. Говорить много нечего, все и так ясно. Нет у нас больших врагов, чем те, кто нынче кричит громче всех, проклиная сынков хаджи, а завтра сам бежит к ним рассказывать, кто что говорил. Не время пустословить. Вот нас четверо. Возьмем еще троих — больше нам и не нужно. Поедем к могиле Кенгирбая, принесем торжественную клятву и примемся за дело.

— Пусть будет так. Едем! — отозвались Кунту и Уразбай.

Жиренше добавил:

— О создатель, пошли нам успех! Я первый поклянусь в мести, подняв над головой камень с могилы Кенгирбая… Называйте имена.

Они придержали коней, чтобы договориться, кого еще взять с собой. Жиренше подозвал Байгулака, Абралы, Байдильду, и все семеро незаметно отделились от толпы и повернули к могиле Кенгирбая, находившейся на расстоянии бега стригуна.

Зимние сумерки медленно опускались на степь. Покрытая снегом, она не темнела, а постепенно синела все гуще и гуще. Молчаливым холодом веяло от нее. В мутно-голубом просторе скоро стал виден высокий угрюмый мазар.[10] Сто лет уже возвышается над всей округой его мощный заостренный конус, нет в нем ни трещин, ни выпавших камней. И так же, как властвует над невежественными потомками Кенгирбая его мрачный дух, так и могила его царит над степью, застыв в вековой неподвижности, глухая ко всему миру. В узкой двери стоит густой могильный мрак, наполняющий мазар. Там безмолвие вечной ночи, стойкая тьма, отгороженная толстыми стенами от света солнца, от живых голосов жизни. Кажется, что застыло и самое время, что законы степи — суровые, косные, жестокие — так же вечны и неизменны, как неподвижный мрак могилы.

По степи с тонким свистом промчался порыв холодного вечернего ветра. Заснеженные стебли высокого чия покорно и обреченно пригнулись к земле, низкорослый кустарник задрожал всеми ветками. Угрюмый мазар в жестоком и равнодушном спокойствии по-прежнему непоколебимо вздымал свои крепкие темные стены над степью, где сильный всегда валил слабого.

Всадники остановились перед мазаром и сошли с коней. Первым заговорил Уразбай.

— Кто их ведет? Абай. У них один абыз[11] — Абай… А мой абыз не Абай! Святой предок, ты мой наставник! Покарай отступников, смутителей мира, Кенгирбай, родоначальник наш.

Эти слова, рожденные совсем не благоговением перед предком, а трезвым расчетом будущих выгод, звучали и как клятва и как призыв к заговору. Жиренше понял это раньше других.

— Не станет абызом Абай, не будут угодными богу богохульники нового племени. Отрубим негодный язык, преградим путь смутьянам! — сказал он и подошел к мазару.

Бейсемби пробормотал молитву из корана. Все провели ладонями по лицу и, сойдясь в тесный круг, поклялись мстить и хранить в строжайшей тайне все, о чем порешат они этой ночью.

Эти семь человек были старейшинами, биями, правителями семи крупных родов Тобыкты: Бейсемби был главою жигитеков, Кунту — бокенши, Жиренше — котибаков, Уразбай представлял род Есполат, Абралы — Сактогалак, Байдильда — Топай, Байгулак — род Жуантаяк. Они могли легко восстановить против кунанбаевцев, против рода Иргизбай население почти всей Чингизской волости. Но они решили действовать иначе, скрытно и осторожно.

Чтобы ничем не возбудить подозрения, было условлено относиться к Шубару, Такежану, Майбасару и другим иргизбаевским воротилам по-прежнему почтительно, уверять их с подобострастием, что те могут на них рассчитывать и получат все, чего желают. Гром должен был ударить лишь в самый день выборов, когда начнут считать шары, опущенные выборщиками — елюбасами. Именно этих людей, и только этих людей, которые буквально держат в своих руках судьбы будущего избранника, следовало привлечь на свою сторону. На них нужно было действовать уговорами, взятками и подарками, обещать выгодные должности после победы на выборах и добиться от них клятвы, что они опустят шары за того, кого им назовут.

Решив, как и кто будет действовать, заговорщики отправились ночевать на зимовье Жиренше. Там они еще раз подтвердили свою клятву, зарезав жертвенного белого барана— ак-сарбаса, чтобы очиститься от греха нарушения первой клятвы, данной над кок-каска в доме Оспана.

Все три месяца до волостного съезда прошли в полном спокойствии и тишине. Наконец настал день выборов. Их проводили в Большом ауле Кунанбая, на жайляу Пушантай, куда откочевал на лето Оспан.[12]

Из Семипалатинска, поражая всех своей пышностью, звоном бубенцов и колокольчиков, большой свитой урядников, стражников, посыльных, прибыл на жайляу сам уездный начальник Казанцев, ловкий и изворотливый приятель Шубара и Такежана, которого они задаривали в течение многих лет. На этот раз он приехал со своей женой Анной Митрофановной, пухлой, голубоглазой представительной дамой. Они остановились в богато убранной юрте, выставленной Оспаном около своей. В тот же день Анне Митрофановне была преподнесена соболья шуба, крытая черным шелком, а в железную шкатулку Казанцева легли пачки заботливо перевязанных кредиток.

Должность волостного кунанбаевцы нынче решили передать Оспану, который впервые выразил желание занять ее. Ему было уже под сорок, и среди многодетных потомков Кунанбая один он оставался без детей и переживал это очень тяжело. Кроме Еркежан и Зейнеп он взял себе третью жену — Торымбалу, но наследника так и не было. Рослый, плотный, могучий — этот великан, делясь своей печалью с близкими родными, порой всхлипывал, называя себя то однорогим оленем, то соколом с перебитым крылом. И как-то на одном из недавних сборищ родни он сказал Такежану:

— Может быть, дела отвлекут меня немного… Я просил бы вас уступить на этот раз должность волостного мне.

Заправилы рода Иргизбай тут же единодушно порешили: пусть Оспан будет очередным волостным управителем, а как отнесется к этому народ, хочет ли он этого — их совершенно не интересовало. Они рассматривали эту должность как некую собственность прямых потомков Кунанбая, право на которую им дано свыше, самим богом.

И, помещая Казанцева у Оспана, кунанбаевцы дали начальнику понять, кого они прочат нынче в волостные управители. Со своей стороны и Казанцев, вполне оценив прием, который оказал ему Оспан, и богатые дары, поднесенные им, заверил своих друзей, что они вполне могут рассчитывать на поддержку начальства.

Как обычно, на жайляу были выставлены гостиные юрты для размещения прибывших и большая «выборная юрта», составленная из трех, соединенных между собой и образующих как бы три сообщающихся круглых зала. В этой юрте, стоявшей невдалеке от юрт Оспана и Казанцева, проходили деловые собрания елюбасы. По установившемуся обычаю до начала выборов распределяли казенные налоги и сборы, взимаемые с населения. Налоги эти определяются в городских канцеляриях для всех административных аулов в равном размере, но один аул имеет больше юрт, другой меньше, количество скота в них также не одинаковое. Поэтому суммы налогов на каждый аул окончательно уточняются на таких собраниях выборщиками — елюбасы и крестьянским начальником. Этой работой и были заняты два дня подряд все тридцать выборщиков из двенадцати административных аулов Чингизской волости под руководством крестьянского начальника Семипалатинского уезда Никифорова, прибывшего с Казанцевым.

Сам уездный начальник даже не заглядывал в «выборную юрту». Грузный, седоусый, молчаливый, он держался важно и хмуро. Многолетний правитель этой обширной части степи, Казанцев не забывал своего высокого положения — представителя царя — и всем своим суровым видом, холодным взглядом, редко улыбающимся каменным лицом внушал казахам представление о грозной власти. Разговаривал он с немногими — со своим толмачом, городским казахом, и с писарем волостного управления Захаром Ивановичем, низеньким юрким человеком. Из аульных казахов начальник удостаивал внимания лишь Такежана, Шубара и Исхака, но, став гостем Оспана, он теперь вступил в разговор еще и с ним — через переводчика, так как Оспан совсем не говорил по-русски.

Впрочем, Оспан расположил его к себе не только радушием хозяина. Весь его внешний облик невольно привлекал к нему людей. Широкая улыбка показывала ряд крепких, ровных зубов, поражавших своей необыкновенной белизной, ярко-красные губы под черными усами были как-то по-детски свежи и сочны. Большие, несколько навыкате, глаза широко раскрывались при волнении, выражая истинную горячность. Он не таил ни радости, ни гнева, ни дружеского расположения, ни недовольства. Тучный, грузный, огромный, он, ухаживая за милыми его сердцу гостями, становился проворным и легким, двигаясь по-юношески быстро, поражая расторопностью и неутомимостью.

Все эти качества расположили к нему Казанцева и в особенности Анну Митрофановну, а также и Никифорова, и переводчика, и даже урядников и стражников. Правда, этому способствовало еще одно обстоятельство: Оспан щедрой рукой осыпал подарками всю свиту Казанцева, начиная с крестьянского начальника Никифорова и кончая последним стражником, не забывая и посыльного уездной канцелярии — рябого Акымбета.

Наконец к концу второго дня съезда Никифоров и елюбасы закончили распределение налогов, и аулы облетела весть: «Завтра выборы волостного! Выборы биев!» Множество людей, конных и пеших, повалило со всех концов к юртам, поставленным для начальства. Урядники, стражники, посыльные широким полукольцом оцепили «выборную юрту», не допуская к ней напиравшую толпу. Важно помахивая сложенными пополам щегольскими нагайками, рукоятки которых были обвиты медной проволокой, они рассаживали людей в почтительном отдалении от двух столов, поставленных перед «выборной юртой» и покрытых пестрым бархатом. То и дело слышались их короткие, внушительные окрики:

— Не лезь вперед!.. Не галдеть! Садись в ряд, в круг!..

Из всей огромной толпы ближе к юрте были допущены только тридцать елюбасы. Они сели вблизи столов: одни — поджав ноги под себя, другие — на согнутых коленях, некоторые — боком, опираясь на локоть. Урядники поставили на стол небольшой ящик, покрытый бархатом. Наконец из юрты вышло начальство — Казанцев, Никифоров, два городских переводчика и несколько чиновников, все в белоснежных кителях, — и расположилось за столами. Чуть поодаль села и Анна Митрофановна. Урядники и стражники встали в ряд за начальством. Белые кители и рубахи, золотые и серебряные погоны, сверкающие пуговицы и кокарды, блестящие эфесы шашек придавали всей этой группе, как бы выставленной у юрты напоказ, необычайную пышность и торжественность.

Когда в толпе наступила тишина, Казанцев глухо пробасил в свои седые усы несколько слов. Никифоров, поднялся, тотчас же встал с места и его толмач, толстомордый парень с жесткими черными усами, торчащими, как свиная щетина.

В это время Такежан, Шубар, Исхак, Оспан и с ними еще трое-четверо из иргизбаевских заправил вышли из переднего ряда круга и спокойно, с полным сознанием своего достоинства, подсели к группе елюбасы с правого края. Жиренше и Уразбай, следившие за ними с тем вниманием, с каким борцы во время борьбы ловят каждое движение противника, тоже встали со своих мест, подтолкнув соседей. Шепотом подбадривая их: «Иди, иди не робей», — они смело подошли к выборщикам с другой стороны и также уселись возле них. Это были те самые семь человек, которых связывала общая клятва, данная на могиле Кенгирбая.

Обычно во время выборов урядники не позволяли никому переходить с места на место, а тем более подсаживаться к выборщикам. Но Шубар был еще волостным и поэтому мог позволить себе такую вольность. Что же касается семерых других, то такое благоволение стражи было вызвано иной причиной.

Как только час выборов стал известен, Жиренше пригласил к себе черноусого толмача, состоявшего при Никифорове, и передал ему солидную пачку крупных кредиток.

— Надеюсь, дорогой, у тебя легкая рука, — прошептал он ему в самое ухо. — Вот тебе небольшой подарочек на счастье… А если ты огласишь приятную для нас весть, мы в долгу не останемся. А это, — продолжал Жиренше, давая вторую пачку кредиток помельче, — для тех голосабельников, которые вас окружают. Попроси их, дорогой, не обращать внимания, если я случайно пророню лишнее слово или, скажем, встану от волнения и начну прохаживаться… Передай им этот подарочек и объясни, что даже если они погрозят пальцем, это будет оскорбительно для моего достоинства.

Подарки, видимо, дошли по назначению. Во всяком случае, Жиренше и его друзья беспрепятственно перешли к группе елюбасы, а черноусый толмач даже подождал пока они усядутся, и лишь после этого подал Никифорову список выборщиков. Тот начал читать по очереди их имена и фамилии, которые толмач громко повторял, обращаясь к толпе.

— Я!.. Здесь!.. Есть!.. — откликались елюбасы.

Закончив перекличку, Никифоров снял бархат, покрывавший ящик, который оказался выкрашенным в два цвета — одна половина его была белой, другая черной. Положив на него руку, Никифоров обратился к елюбасы:

— Ну, выборщики Чингизской волости! Кого вы назовете кандидатом в волостные управители? Говорите имя!

Есиргеп, елюбасы первого административного аула, обернувшись, вопросительно посмотрел на Шубара. Привыкнув, как и все кунанбаевцы, задавать тон на выборах, тот держался очень самоуверенно. Снисходительно кивнув головой, Шубар буркнул:

— Ну что ж, называй первым! Говори!

Есиргеп, приподнявшись, громко крикнул:

— Ваше благородие! Называю кандидатом в волостные Оспана! Оспана, Кунанбаева сына!

Никифоров склонился над столом, записывая имя. Все были уверены, что второго кандидата названо не будет. Волостной писарь Захар уже подвинул к толмачу шкатулку, в которой лежали шары. И вдруг на другом краю группы выборщиков раздался громкий голос жигитековского елюбасы, смуглого безбородого Омарбека:

— Ваше брлагородие! Запишите еще одного! Казанцев и Никифоров переглянулись. И в толпе и в кучке Такежана раздались удивленные и встревоженные возгласы:

— Кого там еще? Что это значит! Кто сказал?

Но Омарбек оказался не одиноким: несколько выборщиков из Жигитека и Бокенши поддержали его. Дружным хором они повторяли одно и то же имя:

— Кунту! Кунту, сын Шонка! Кунту!

Никифоров снова наклонился над бумагой, записывая.

Имя второго кандидата вызвало среди иргизбаев веселое оживление. Они так были уверены в своем успехе, что неожиданное появление соперника ничуть не встревожило их. Насмешки, злые шутки, пренебрежительный смех вспыхивали там и здесь. Кто-то из остряков крикнул:

— Видно, этот Шонка хочет стать онка![13]

И вся группа Такежана и Шубара расхохоталась.

Тем временем Никифоров через толмача подзывал выборщиков по очереди к столу. Здесь каждый елюбасы расписывался или, если не знал грамоты, отпечатывал палец, получал из шкатулки по красивому гладкому шарику и возвращался на место. Наконец шарики были розданы, шум толпы утих, все замерли в ожидании. Наиболее нетерпеливые выражали свои чувства тем, что ерзали на месте и поминутно сплевывали.

Никифоров объявил, что по порядку записи кандидатов сперва будут опускать шары за Оспана, сына Кунанбая, и повторил давно известное всем правило: тот, кто хочет выбрать Оспана, должен положить свой шар в правую сторону ящика — ту, которая окрашена в белый цвет. На крышку ящика снова накинули желтый бархат, скрывающий отверстие, и толмач опять начал вызывать елюбасы к столу.

Каждый из них, подойдя, называл свое имя Никифорову для отметки в списке, потом придвигался вплотную к ящику и просовывал руки под бархат. Тая свои помыслы, елюбасы для верности заранее опускали на руки длинные рукава чапана.

Наконец все тридцать выборщиков опустили свои шары. Никифоров и Казанцев встали, подошли к ящику и приказали толмачу открыть его.

— Считай сперва белые шары! — приказал ему Казанцев.

Толмач, опустив руку в ящик, усмехнулся и начал выкладывать на стол шарики, громко считая:

— Раз! Два Три! Четыре!..

Все начальство и группа Такежана, улыбаясь, следили за толмачом. Конечно, нельзя было ждать, что он дойдет до тридцати, но всем было ясно, что цифра будет близка к этому.

— Семь! Восемь! Девять! — кричал толмач и вдруг остановился, словно споткнувшись.

— Что с ним такое? Камень, что ли, застрял в этой проклятой глотке? Считай дальше! — злобно зашипели в кучке Такежана.

Но толмач вынул руку из ящика, подвинул белые шарики к Никифорову и начал считать черные. Их оказалось двадцать один.

Казанцев резко повернулся и пошел к своему стулу, коротко бросив жене сквозь зубы:

— Провалили!

Анна Митрофановна ахнула.

Но прерывать выборы было нельзя. Помрачневшее и растерявшееся начальство, пошептавшись, снова село за стол. Снова роздали выборщикам шары. И на этот раз елюбасы так же таинственно колдовали у ящика, тщательно пряча руки под желтым бархатом, и когда толмач вынул все шары, положенные за Кунту, он насчитал их двадцать один.

Кунанбаевцам был нанесен страшный удар. Им показалось, что самое небо разверзлось над ними, что вселенная рухнула в прах. Они сидели молча, ничего не понимая. Но уже ничего нельзя было исправить: в волостные был избран Кунту.

Дальнейшее еще более усилило разгром кунанбаевской клики. Группа выборщиков, вырвавшая у них власть, теперь по своему усмотрению избрала биев двенадцати административных аулов. Она действовала уверенно и сплоченно, как будто управляемая чьей-то невидимой рукой: двадцать один шар был положен за каждого названного ими кандидата. Лишь два-три ставленника кунанбаевцев с трудом набрали больше половины шаров.

Когда выборы закончились и толпа стала расходиться, шумно обсуждая это невероятное происшествие, шестеро виновников его окружили Кунту, поздравляя его с победой. Не стесняясь тем, что они находились еще в ауле кунанбаевцев, они заливались громким смехом, откровенно торжествуя. Жиренше, довольно посмеиваясь в усы, толкнул в бок Уразбая:

— Только сейчас я понял, что означает имя моего волостного, дай бог ему долгую жизнь! Порядком ты заставил нас ждать, дорогой Кунту![14] Наконец-то ты поднялся и стал освещать все вокруг! Взошло солнце моего счастья, моей победы!

Эти поздравления, восторженные возгласы, общая радость шести воротил, которые сделали Кунту управителем, были по-своему искренними. Теперь и печать волостного и его власть попали в их руки. Все приговоры, жалобы, кляузные письма будут составляться так, как хотят они. А если понадобится отнять у кого-нибудь землю или скот, то дубинкой будет Кунту с печатью волостного в руках и с управительским знаком на груди.

И они разъехались по своим жайляу, гордясь тем, что их тайный тонкий и сложный расчет увенчался такой решительной победой.

Елюбасы и многочисленные зрители разнесли по волости весть о неслыханном разгроме сыновей Кунанбая, которые так долго властвовали над всем Тобыкты. Они привезли в свои аулы множество острот, шуточных изречений, веселых рассказов.

Потерпев столь тяжкое поражение, сыновья Кунанбая ломали себе головы, пытаясь найти объяснение тому, как же это они попали впросак. Проводив начальство, они дни и ночи обсуждали, что же предпринять дальше.

Из всех сыновей и потомков Кунанбая одного Абая ничуть не огорчало то, что другие называли «позором», «ударом по достоинству», «общей бедою». Он отлично понимал, что должны были переживать жадные до власти его братья и племянники, неожиданно потеряв свое положение в Тобыкты, а главным образом возможность беспрепятственно обделывать темные, но выгодные дела. Теперь и печать волостного и его власть попала в руки других. Все приговоры, жалобы, кляузные письма будут составляться так, как захотят другие. Если понадобится отнять у кого-нибудь землю или скот, это будет делать Кунту для выгоды тех, кто дал ему пост управителя. И даже мстительная радость Уразбая, Жиренше и их приспешников, везде и всюду хваставших, что вот, мол, они усадили, наконец, кунанбаевцев в грязь, не задевала самолюбия Абая.

Он был весел больше чем когда бы то ни было. И, застав как-то у Оспана всех недавних властителей Тобыкты, в десятый раз обсуждавших план действий, Абай насмешливо покачал головой и язвительно сказал:

— Эх вы, жирные сурки, никак опять точите зубы? Начали уже рыть новую нору? Впрочем, что говорить: сурки всегда будут сурками, им всегда надо рыть свои темные ходы!..

Засмеявшись, он махнул рукой и тут же уехал от брата.

4

Весть о поражении кунанбаевцев, тотчас разлетевшаяся по всей степи, до Базаралы, отбывавшего ссылку за Иркутском, дошла почти через год. Несомненно, она и послужила толчком к осуществлению давно задуманного им побега.

Преодолев долгий и опасный путь, он добрался к осени до родных мест, еще раз подтвердив справедливость пословицы: «Кто в саване — не возвращается, кто в рубище — с тем еще повстречаемся».

Когда измученный и усталый Базаралы попал наконец в Семипалатинск, ему показалось, что он уже дома: в городе было полно тобыктинцев, и они встретили его так, что ему стало легче дышать.

Близилось время, когда аулы снимаются с осенних пастбищ, находящихся не так уже далеко от города, и уходят на дальние зимовья, в горы Чингиза. И как всегда почти из всех аулов Тобыкты в город пришли караваны верблюдов и телег со шкурами, с войлоком, с шерстью осенней стрижки. Тобыктинцы разместились в домах казахов на «той» и на «этой» стороне (так назывались части города, разделенные Иртышом), не спеша занимаясь продажей привезенного и закупкой на зиму муки, чая, мануфактуры. И вот все дома, где жили приехавшие из аулов казахи родов Жигитек и Бокенши, внезапно облетело волнующее известие — о благополучном возвращении Базаралы. Он и сам не ожидал, что его встретят с такой радостью.

Уже больше недели сородичи, близкие и дальние, не выпускали его из города, наперебой приглашая в гости. В эти дни Базаралы, согретый оказанным вниманием, совсем забыл о годах ссылки. Всю тяжесть этих лет и трудных месяцев пути он как бы сбросил с себя одним движением могучих плеч, которые наконец смог расправить. К нему вернулась былая бодрость, сильный по-прежнему стан его распрямился, на бледном, исхудавшем лице снова заиграл яркий румянец. И хотя в длинной темно-каштановой бороде были уже отчетливо видны серебристые пряди, пережитые страдания ничем больше не сказались на его облике, невольно привлекавшем к себе скрытой могучей силой.

В один из вечеров Базаралы был приглашен к Жиренше. Там собрались Уразбай, Бейсемби, Абралы и новый управитель Чингизской волости Кунту. В тесный круг новых хозяев племени Тобыкты был допущен лишь один посторонний гость — красивый представительный жигит с золотистой бородкой и румяным лицом. Это был Арип, молодой акын из племени Сыбан.

После обеда акын пропел несколько песен, потом началась беседа. Первым заговорил Уразбай.

Доверительно наклоняясь к Базаралы и заглядывая ему в глаза, он завел речь, полную многозначительных намеков.

— Вот ты и вылетел на волю из своей дали, — начал он. — Когда ты уходил, народ твой оставался с надломленными крыльями. Не только жигитеки — все наше племя Тобыкты было придавлено гнетом. Ну что ж, мы боролись. Боролись — и с помощью аллаха победили… Оставленные тобой друзья повергли в прах давнишних врагов — и своих и твоих — и теперь окружают тебя, принимая с почетом. Но враги никогда не признают себя побежденными: придави их пятой — они будут стараться ужалить в ногу. Ты раньше всех нас понял, что противника побеждают не мольбами, а борьбой. Они тоже готовятся к новой борьбе. И если каждый из нас не будет бить врага, пока власть еще в наших руках, мы можем проиграть все. Недаром давно говорят: «У самого аллаха курук короче курука кунанбаевцев…» Если мы не добьем их, пока у нас есть возможность и силы, мы не разделаемся с ними. Они уже начинают приходить в себя и могут свалить нас поодиночке, если мы не будем держаться вместе, плечом к плечу. Надо готовиться к борьбе… И мы подумали, что теперь же, пока печать волостного еще в руках Кунту, надо перечислить кое-кого из Чингизской в Мукурскую и Бугалинскую волости. Тогда одни из нас будут бороться с кунанбаевскими волками здесь, в нашей волости, а другие — вне ее пределов. Так мы охватим их со всех сторон, будем держать в тисках…

Не первый раз Базаралы слышал такие речи. То Жиренше, то Бейсемби, то Кунту, встречаясь с ним в гостях, заговаривали о необходимости борьбы против сыновей Кунанбая. Уразбай нынче лишь повторил это. Нового в его словах было только то, что, призывая его бороться плечом к плечу с ними, сами они стремились, очевидно, перейти в другие волости. Это не понравилось Базаралы, и он с обычной прямотой высказал то, что думал:

— Эх, Уразбай! Не собираешься ли ты кинуть в пасть медведя жигитеков и бокенши, а сам держаться поближе к его хвосту. Выходит так, что в этой борьбе кто-то из вас найдет удобное местечко в чужой волости…

Базаралы сказал то, что многие не осмелились бы выговорить.

Его слова задели Кунту. Он целиком разделял мысль Уразбая о необходимости окончательно разделаться с кунанбаевцами. Для него это было, может быть, более важно, чем для остальных: чем больше ударов наносить кунанбаевцам, не давая им поднять голову, тем спокойнее и прочнее сам он будет чувствовать себя на должности волостного. Но если когда-нибудь его свалят с этой вершины, лучше подстелить солому заранее. Для перечисления в другую волость требовалось иметь «приговор» старшин всех двенадцати административных аулов, и Кунту уже подготовил все документы на себя и своих сородичей. Однако пока что он помалкивал, не говоря об этом даже Уразбаю, который не догадался еще сделать то же самое.

Слова Базаралы были опасны: если мысль, которую он высказал, дойдет до народа, ничего хорошего не получится. Она может породить подозрение и недоверие к тем, кто призывает к борьбе, — начнется раскол.

И Кунту поспешил вмешаться, чтобы обойти острый угол и направить внимание Базаралы на другое.

— То, что говорит Уразбай, имеет совсем другую цель, Базеке, — начал он. — Цель далекую и важную. Перевести кое-кого в другие волости мы хотим лишь для того, чтобы создать сразу две опоры для нашей борьбы. С одной стороны, это помешает кунанбаевской своре искать союзников в соседних племенах, а с другой — если здесь нам придется туго, мы будем иметь помощь со стороны. Если ты вдумаешься, то и сам оценишь это. Вот что мы имели в виду, начиная такой ход.

— Кунту говорит верно, только так мы и думали, — поддержал его Абралы.

Заговорил и Жиренше.

— Зря ты обвиняешь нас в каких-то хитростях, Базым! — сказал он с подозрительной горячностью. — Не будет для нас большего позора, если месть загниет и истлеет в нашей груди! Лишь сейчас мы и можем действовать! Чего только мы не пережили, чего не натерпелись! Час мщения пришел. Сейчас в наших руках карающий меч. Чего же ждать? Взмахнуть им — и тогда в будущем нам ни о чем не придется сожалеть. Вот в чем суть! Надо бить врага, бить скорее, бить всем вместе!

Холодно посмотрев на Жиренше, Базаралы махнул рукой и нахмурил широкий лоб:

— Ладно, Жиренше, хватит, пожалуй… — Мужественное лицо его помрачнело. Он с трудом сдерживал гнев.

Было понятно, что эти люди стремятся втянуть его в свою грызню с сыновьями Кунанбая. Они хотели, чтобы Базаралы боролся за их власть и чины, за «черные сборы» и вымогательства. Этим хищникам, сцепившимся из-за добычи, он был нужен как увесистая дубинка, крепко зажатая в их руках.

Что мог он им ответить? Тяжкие годы провел он в ссылке. Он думал там об униженных, обездоленных — о множестве людей, влачащих в слезах жалкую, нищую жизнь. Он страдал при мысли о том, что на далекой родине оставил горемычный народ, который толкают в могилу вот эти хищники. Какой толк будет, если сейчас он выскажет все это?

Хмурый вид Базаралы не понравился Уразбаю.

— Видно, наших способов борьбы ты не одобряешь? Может быть, ты подскажешь нам другие? Хотя, пожалуй, то, чему научили тебя за эти годы, не подойдет нам, — зло усмехнулся он.

— Почему же не подойдет?

— А кого ты там видел? Те русские, кого держат скованными на каторге, — настоящие преступники. Не зря же заслужили они кару белого царя! Наверно, это все такие злодеи и совратители, что с ними и говорить не о чем. Не думаю, чтобы русский ссыльный или каторжник мог научить чему-нибудь путному.

— Так, по-твоему, в ссылке и на каторге — только убийцы, разбойники, грабители караванов? — спросил Базаралы со сдержанным гневом.

— Я говорю про русских, — уклончиво протянул Уразбай.

— А что же, у русских нет своих Базаралы, которых изгнали их Кунанбаи и Такежаны?

— А если бы и были — все равно. Чему можно учиться у людей другой веры? Не о чем тут и говорить, — сурово отрезал Уразбай.

Базаралы подумал, что он мог бы многое ответить, рассказав о тех русских, которых видел на каторге, — о крестьянах, боровшихся против насильников-помещиков, о студентах и учителях, пострадавших за смелое слово. Но говорить здесь об этом показалось ему бессмысленным, и, повернувшись к Арипу, он неожиданно сказал:

— Хороши твои песни, жигит. Спой еще, пожалуйста! Многие из родов племени Сыбан жили по соседству с племенем Тобыкты и вели давнюю глухую борьбу против Кунанбая и его наследников. Роды Жангобек и Салпы были так же влиятельны и сильны в своем племени, как род Иргизбай в Тобыкты. Арип, один из родовых воротил Жангобека, вполне разделял нанависть своих сородичей к кунанбаевцам. Он был из тех богатых байских сынков, которые предпочитали проводить больше времени в городе, собирая гостей и щеголяя перед ними и одеждой, и повадками, и уменьем писать стихи и петь песни. Уразбай и Жиренше пришлись ему по душе. Они тоже считали его полезным для себя человеком.

Внимательно слушая разговор, Арип безошибочно определил настроение и мысли каждого из собеседников. И когда Базаралы резко оборвал беседу, он, слегка усмехнувшись, тотчас взял домбру и заиграл с такой готовностью, что могло показаться, будто он совсем не думает о том, не обидит ли это его почтенных друзей, настроившихся на серьезный разговор.

Но когда он начал свою песню, стало ясно, что хитроумный акын лишь воспользовался создавшимся положением, чтобы помочь Уразбаю в том, чего тот добивался. Румянец волнения выступил на его красивом лице, глаза устремились прямо на Базаралы, и он вместе с домброй повернулся к гостю, подчеркивая, что песня посвящается ему. Звучным голосом он запел:

Когда в цепях ты уходил,

Народ слезами проводил

Тебя туда, где жизни нет…

Но минул ряд тяжелых лет.

Дошел до бога жар молитв:

Услышав грохот новых битв.

Ты, словно лебедь, прилетел,

На озеро родное сел…

Песня увлекла и Жиренше и Уразбая. Одобрительно кивая, они восклицали вполголоса:

— Ай, молодец! Как начал! Вот акын! Продолжай, продолжай, дорогой!

Арип запел еще громче и быстрее, по-прежнему не отводя взгляда от Базаралы.

Кто был смелей, отважней вас,

Базаралы и Балагаз?

Два скакуна, два тигра, два

Могучих и бесстрашных льва,

Вы повергали в прах врагов!

Всегда, батыр, ты был готов

Вскочить на верного коня…

Благословляла вся родня

Того, кто был ее щитом.

Скажи мне, плачут ли о том,

Кто не привлек к себе сердца?

Тебя ж, как брата, как отца.

Оплакивал степной народ:

«Где он, вернейший нам оплот?»

Акыны пели о тебе,

О яростной твоей борьбе

И называли скакуном,

Летящим, словно божий гром…

И слышал я, что тот скакун

Ворвался раз в чужой табун

И кобылицу там познал,

Что так ревниво охранял

Кривой какой-то жеребец…

Не помню: чей он был отец?..

Жиренше толкнул Уразбая в бок и повалился в припадке неудержимого хохота, весь побагровев. Кунту и Абралы, тоже отлично знавшие о любви Базаралы к молодой жене Кунанбая — Нурганым, довольно защелкали языками, словно их беркут схватил лисицу.

Базаралы гневно положил руку на струны домбры, заглушая ее, и резко сказал:

— Не обливай грязью Нурганым! Она была дорога моему сердцу, и я никому не позволю поносить ее!

Жиренше и Уразбай притихли. Арип вспыхнул. Он посмотрел на Базаралы с надменной и злой улыбкой и, не пытаясь снять его тяжелую руку со струн, пропел без домбры четверостишие на другой напев:

Казался тулпаром,[15] а оказался клячей худой…

Не зря говорят, что в коне лишь порода ценна!

Пусть прадед был бий, но отец — табунщик простой,

И видим мы все, что коню — три барана цена!..

Акын, на частых состязаниях набивший руку в искусстве словесного поединка, поразил слушавших язвительностью и мгновенностью ответа. Жиренше, прищурясь, посматривал на Арипа и посмеивался в бороду, негромко выражая свое одобрение:

— Жемчужные слова! Какими тайными намеками переливаются! Правду говорят: если овладеть словом, парящим подобно орлу, оно насмерть сразит свою добычу…

Базаралы отлично понял скрытый смысл обеих песен так же, как и то, зачем его сюда позвали. Внутренне презирая и льстивые слова Уразбая и Жиренше и почет, с которым его встретили, чувствуя во всем этом тонкий яд, он, замкнувшись в себе, сурово молчал. И неизвестно, как закончился бы этот вечер, если бы не появились нежданные гости — Ербол, Кокпай, Шубар, Акылбай и Магаш.

Войдя в комнату, они кинулись обнимать Базаралы, наперебой восклицая:

— Дорогой мой Базеке, как добрался?

— Благородный брат наш!

— Драгоценный мой, добро пожаловать!

— Пусть ждет вас и дальше удача, Базеке!

Жиренше и его друзья холодно поздоровались с прибывшими. После первых приветствий и расспросов о здоровье и трудностях пути Ербол передал Базаралы дружеский салем Абая, приглашение посетить его и сказал, что Абай поручил им сопровождать дорогого гостя до аула. Горячо рассказал Ербол о том, как искренне обрадовался Абай при известии о возвращении Базаралы, какое глубокое уважение питает к нему. Всей душой разделяющий понятия Абая о добре, честности, справедливости, Ербол нашел особенно теплые слова и выразил главную мысль друга: осторожно и мягко, стараясь не раздражать Жиренше и Уразбая, он дал Базаралы понять, что радость Абая не в пример другим вызвана только дружеским расположением, за которым не таится никаких скрытых расчетов.

Впервые за все эти дни торжественных угощений и шумных встреч с сородичами Базаралы почувствовал волнение. Он выслушал Ербола, не проронив ни слова, но все заметили, что на глазах его выступили слезы. Магаш, лучше других знавший сердечное расположение отца к Базаралы, тоже не выдержал и, отвернувшись, достал из кармана платок.

Справившись с собой, Базаралы заговорил. Он засыпал посланцев Абая вопросами о его здоровье, расспрашивал, как он сейчас живет, что делает.

Тем временем перед гостями расстелили скатерть, появилась большая деревянная миска с «городским» кумысом — крепким, бьющим в голову. Беседа оживилась, стала общей.

Но Жиренше, Кунту, Бейсемби и в особенности Уразбай держались настороженно. Неожиданный приезд сыновей и друзей Абая навел их на тревожные мысли. Почет, который Абай оказал Базаралы, прислав за ним самых близких людей, поразил их. По своей привычке видеть во всем тайную цель они сделали из этого свои выводы. Однако они не решались вслух осудить Абая и лишь переглядывались друг с другом.

Подозрительнее всего казалось им появление здесь Шубара. Для них было вполне ясно, что Такежан, Исхак, Майбасар, которые в свое время добились ссылки Базаралы, могли видеть в его возвращении лишь недоброе для себя. Уразбай уже знал, что они не на шутку перепугались, но, лишенные теперь прежнего могущества, притаились, свернувшись как змеи, готовые ужалить при первом удобном случае. Будь волостным кто-либо из их шайки, они, конечно, не постеснялись бы прямо выдать Базаралы властям. Но и сейчас, пользуясь старыми связями с начальством, они могли донести на беглеца. Предупреждая это, Уразбай и Жиренше, желавшие сохранить Базаралы для своих темных дел, повсюду распространяли слух, что тот вернулся законно оправданным, что жалобы сородичей дошли до царя и царь сам освободил несчастного. Шубар был из того же кунанбаевского гнезда, и доверять ему было нельзя — наверное, он приехал разузнать, что и как.

Догадки и опасения эти были недалеки от истины. Действительно, Такежан, Майбасар и Исхак, боясь мести Базаралы, обдумали, как бы схватить его и вернуть в ссылку, не вызвав негодования народа. Они попросили Шубара съездить в город и, если он убедится, что Базаралы не освобожден, а сбежал, сообщить об втом властям через других лиц.

Но Шубар, предвидя, что скрыть свое участие в доносе все равно не удастся, приехал к Абаю посоветоваться. Тот, возмущенный до глубины души, гневно обрушился на племянника.

— А я-то думал, что ты — не они, что в тебе есть честь и совесть! Как ты не стукнул их по голове, услышав такую гнусность? И ты еще просишь моего совета? Поезжай вместе с Ерболом к Базаралы, окажи ему почет, проводи ко мне, пусть это послужит для тебя наказанием!

Шубар понял, что даже косвенным участием в злом умысле он навсегда лишит себя расположения Абая, что было бы для него крайне невыгодно. Да, в сущности, ему самому Базаралы ничего дурного не сделал, и приговор четырех волостных, обрекавших Базаралы на ссылку, Шубар подписал нехотя, под давлением Такежана и Исхака. Поразмыслив, он решил не впутываться пока что в их дела.

Таким образом, никто из посланцев Абая не имел никаких тайных замыслов.

Сумрачная настороженность Жиренше и его гостей не мешала оживленной беседе остальных. Крепкий кумыс, слегка туманивший голову, способствовал общему веселью и шуткам. Сердечные слова Ербола, участие Абая, радостные лица молодежи, приехавшей встретить Базаралы, вовсе разогнали его суровость. Встреча с людьми, в которых он чувствовал настоящих друзей, как бы окрылила его, заставила воспрянуть духом. Он смеялся, шутил, стал прежним Базаралы, разговорчивым и остроумным. Охотно рассказывал о пережитом. Он взял у Арипа домбру и протянул Кокпаю, шутливо попросив показать свое искусство. Тот, повернувшись к Базаралы, начал песню.

Протяжная и неторопливая, она совсем не походила на быструю, блестящую импровизацию Арипа.

Кокпай повторил в стихах привет Абая, переданный Ерболом, высказал и свое глубокое уважение к вернувшемуся изгнаннику. В песне его не было ни преувеличенных похвал, ни пышных сравнений. Затем он запел песню Абая, осуждающую сынков степных правителей. С первых же слов ее Базаралы понял, кто сочинил песню:

Подлый смех у них в глазах,

Злые шутки на устах…

Базаралы, одобрительно кивнув головой, искоса, холодно посмотрел на Арипа. Стихи били прямо в цель.

Уразбай придвинулся к Жиренше и стал шепотом переговариваться с ним. Обоим было не по нутру, что в их доме поют стихи Абая.

Когда Кокпай замолк, Базаралы задумался и потом сказал:

— Хорошо сказал об этом Абай. А еще лучше, что ты заучил эти стихи и несешь их в народ.

— А как их называть: поучением, что ли? — с издевкой спросил Жиренше, приподымаясь на локте.

— Абай достиг уже зрелых лет. Какое же ему дело до молодежи? — подхватил Уразбай. — Зачем он вмешивается в их шутки, в веселье жигитов и девушек?

Базаралы окинул обоих насмешливым взглядом.

— Э, Уразбай, неужели, если человек, узнавший жизнь, наставляет младших, это плохо? Вот ты-то уж, наверно, заберешь с собой в могилу все, что познал и понял в жизни! Какая польза будет народу, если отцы не оставят детям ничего ценного и доброго?

Уразбаю не хотелось вступать с ним в спор перед сторонниками Абая. Махнув рукой, он проговорил загадочно и угрожающе:

— Ну, пусть… Хорошо, если это добрый пример. Лишь бы он не породил нечестивых смутьянов…

Базаралы поторопился перевести беседу на безобидные шутки. Магаш и Акылбай, мало знавшие его раньше, быстро свыклись с ним и к концу вечера обращались к нему свободно и смело. Шубар тоже освоился со своим несколько странным положением и даже начал, как когда-то, подшучивать над Базаралы. Тот взволнованно рассказывал о том, каких примечательных русских людей встретил он в ссылке, и Шубар, усмехнувшись, перебил его:

— Э, Базеке, ты, наверно, и по-русски научился там говорить?

Базаралы резко повернулся к нему, глаза его сверкнули опасным огоньком.

— Свет мой! Вы-то сами постарались заслать меня туда, где наверняка можно выучить русский язык… Будь я там подольше, я бы его уже, конечно, хорошо узнал!

Взгляд, которым он сопроводил эти слова, пылал и гневом и насмешкой. Все расхохотались. Шубар и сам растерянно улыбался, хотя язвительный ответ, внезапный и мгновенный, как выстрел, свалил его с ног.

МЕСТЬ

1

Вот уже месяц, как Базаралы вернулся в родные края. За это время у него побывало множество людей. Ближайшие по родству аулы жигитеков поговаривали даже об устройстве торжественного пира в его честь, но Базаралы, увидев, что бедные сородичи по-прежнему бьются в нужде, убедил их отказаться от этого. Первые две недели его возили из аула в аул, наперебой угощали, поздравляя с возвращением. Не одни жигитеки — сердечную радость высказывали ему и бокенши, и котибаки, и кокше.

У иргизбаев Базаралы погостил лишь в ауле Абая. Когда Ербол и молодежь привезли Базаралы из города, Абай сам выехал ему навстречу, обнял с горячими слезами радости и увез к себе.

Юрта Айгерим была украшена коврами, узорными кошмами. Праздничное убранство подчеркивало почет, оказываемый дорогому гостю. Базаралы сразу почувствовал, какой любовной заботой он здесь окружен. Молодежь ловила каждое его слово. Абай и Айгерим чутко следили за малейшей переменой в настроении гостя.

До обеда Базаралы, отвечая на вопросы Абая, рассказывал о краях, которые ему пришлось повидать, о встреченных людях. Но о страданиях, перенесенных им, он здесь, при всех, не говорил ни слова, как будто в прошлом не было мук, а в настоящем — усталости от них.

Вечером в юрте зазвучали песни. Абай решил, что воспоминания, вероятно, тяжелы для его друга, — лучше отвлечь его, помочь ему забыть эти годы. И он попросил молодежь перейти к развлечениям и песням.

Базаралы заметно оживился и, взяв домбру, протянул ее Кокпаю. Тот начал отговариваться:

— Нет, Базеке, я давно уже не пою. Да и грешно портить песню моим голосом, когда тут сидят такие певцы, как Муха и Альмагамбет!

— Новые певцы сами собой, их тоже послушаем, но и ты спой, — настаивал Базаралы.

Абай поддержал его:

— Кокпай, мы встретим Базеке вместо подарков песнями! Не ты один — все, кто тут сидит, все споют для него. А ты начни.

При этих словах Абая все молодые певцы оживленно переглянулись и с улыбкой посмотрели на Айгерим: они давно не слышали ее пения и соскучились по нему.

Кокпай запел одну из песен, которые пел когда-то знаменитый музыкант и певец, друг Абая Биржан:

В стае вожак первым идет,

Песню Биржан первым начнет…

Когда Кокпай закончил, Базаралы восхищенно воскликнул:

— Какая песня! И какое было то лето, как счастливо оно начиналось! — Вздохнув, он с грустью закончил: — Промелькнуло — и исчезло…

Уходят годы, уносят молодость… Но не только об этом подумал Базаралы. Вспомнился ему младший брат Оралбай — прекрасный певец, загубленный преследованиями сильных врагов. Острой болью кольнуло сердце.

А домбра уже перешла к Муха. Как бы желая рассеять грусть Базаралы, он затянул высокий, звучащий бодростью запев. Чистый, звонкий, какой-то прозрачный голос сразу возвестил о большом искусстве мастера. Зачин вскоре перешел в мелодию, поражающую своим строгим изяществом. Это была песня Абая «Красавица, привет тебе…».

Пламя любви, пылающее в этой песне, страстные мольбы и упреки, наполняющие ее, отвлекли Базаралы от его печали. Спев три строфы, Муха прервал пение, но Базаралы не дал ему положить домбру.

— Пой, душа моя, пой! Спой все до конца! Муха спел все послание жигита.

Потом домбру взял Альмагамбет. Он тоже запел песню, сложенную Абаем: «Ты—зрачок глаз моих…». Чуткие сердцем молодые друзья Абая как будто решили лечить душевную рану Базаралы — каждый выбирал песню, уводящую от этой серой, блеклой осени к ласковым дням мая, солнечной поре жизни.

Наконец Базаралы повернулся к Айгерим, протянув ей домбру.

— Айкежан, придется тебе ответить этим влюбленным! Я понимаю, что причина их любовных мук не ты, но все же кто-то из вас, красавиц… Спой же одна за них всех! — сказал он шутливо и добавил задушевно и ласково: — Спой, родная, солнце мое, разве можно нынче не послушать тебя!

Айгерим покачала головой.

— Я давно уже не пою, Базеке…

— Тогда, значит, передо мной не Айгерим… Я знаю лишь ту Айгерим, которая поет, другой никогда не видал… Спой, дорогая, утоли мою жажду! — снова попросил он с подкупающей теплотой.

И Айгерим запела «Письмо Татьяны». Она и теперь пела, как прежде, — с тем же глубоким душевным волнением, с той же трогающей сердце нежной тоской, как в те далекие дни, которые вспомнил Базаралы. И он сам и все в юрте слушали ее, сдерживая дыхание, покоренные пением. По молчаливому знаку Абая Айгерим допела длинную песню всю до конца.

И «Письмо Татьяны» и все песни, которые прозвучали в этот вечер, были неизвестны Базаралы. Как бы сговорившись, певцы исполняли нынче только те песни Абая, которые родились за годы ссылки Базаралы. Кокпай шепотом пояснял ему происхождение каждой новой песни.

Все это было для Базаралы совершенно ново, и он принял это как нежданный богатый дар, которым его встретила родина.

— Тту-у-у! — протянул он в восторженном изумлении. — Как все изменилось без меня — и песня и стих… Какая правда, какая глубина! Какие напевы! За душу хватают! Видно, и песня и слово расцвели во всю силу, Абай. Да будет благословен твой песенный дар!

В этот же вечер Магаш сообщил еще одну новость:

— Отец, Дармен успел уже много написать про Енлик и Кебека. Может быть, пора его послушать?

Ербол и Кокпай поддержали Магаша — обоим не терпелось узнать, как выполнил юный поэт свое обещание. Абай окинул Дармена внимательным взглядом.

— Не беда, если не закончил, хорошо, что ты начал. Не попробуешь ли спеть?

Дармен не заставил себя уговаривать. Он сыграл на домбре быстрое, нетерпеливое вступление и с жаром запел свои стихи.

Юношей-поэтом можно было залюбоваться. Красивое его лицо, со смуглой матовой кожей, с щегольскими тонкими усиками, бледно от волнения. Большие черные глаза, белки которых чуть налились кровью, сверкают живым блеском вдохновения. Чувствуется собранная, настороженная сила, жаркий огонь чистого сердца, кипящего справедливым гневом. Молодой, горячий акын охвачен благородным порывом. Он готовится произнести приговор юного племени старому, косному миру. Он чем-то похож на сокола, взвившегося над степью. Этот сокол — из благородного гнезда, из гнезда Абая. Он парит над целью широкими кругами, новый заступник обиженных, новый воин справедливости народной.

Он начал свою поэму описанием красоты и достоинств девушки Енлик. Ее отец — старый Ыкан. В горах Чингиза, у подножья вершины Хан, они жили мирной и честной трудовой жизнью. Девушка — радость и счастье стариков, опора семьи. В аул их часто заглядывают жигиты, охотящиеся в горах Чингиза. Они рассказывают о вражде племен, о коварстве врагов, об отваге воинов, любимцев народа. Называют жигитов, прославленных доблестью. И все чаще до слуха Енлик доносится имя одного-единственного, достойнейшего. Все, кто спасаются в ауле Ыкана от зимней непогоды, говорят о нем. Это имя тревожит мечты Енлик, одинокой, задумчивой, порой гонит прочь девичий сон.

Однажды зимним вечером, когда с хмурого неба падал густой снег, а по земле крутила поземка, из белой мглы явился незнакомый одинокий всадник. На руке его сидел ловчий беркут, к седлу была приторочена огненно-красная лисица. Хотя жигит прибыл в чужой аул не в пору, в буран и к ночи, он вошел весело и просто, как близкий человек. Он принес в тихую юрту приветливую шутку, веселый смех, захватывающий рассказ об охоте. С невольной улыбкой засмотрелась Енлик на красивого жигита.

И вдруг гость назвал свое имя: Кебек.

Кебек! Это он!.. Не сиди она так близко к очагу, все заметили бы, как запылало ее лицо…

— Сердце дрогнуло, будто тронутое неведомым прикосновением. На миг похолодев, оно забилось так дико… — На этих словах Дармен умолк и, замедляя переборы струн, прервал свой рассказ. — Вот докуда я пока что добрел, Абай-ага.

Базаралы посмотрел на него с укором.

— Эх, жигит, дал бы ты ему хоть шагнуть к ней!.. Взбаламутил меня всего — и оборвал!

Не скрыл своей досады и Магаш.

Абай долго смотрел на Дармена, как бы припоминая всю его поэму. Лицо его выражало сердечное одобрение. Но заговорил он о другом:

— Подумай, Дармен, вот о чем. Пусть рассказ о девушке, о горячей страсти не будет главным в твоей поэме. Окрыли сердце, зови думы вперед, вдаль… И второе: о прошлом ты поешь или о настоящем — выскажи то, что тяжким камнем давит грудь народа. Помни, что проклятия кипели в душе народа, но уста его не часто произносили их… А ты дай им выход! Пусть твои юные герои плачут слезами всего народа. И заклейми продажных судей, жестоких насильников!

Молодежь с глубоким вниманием слушала Абая.

— Абай-ага, ведь этот перевал у Дармена еще впереди! Доберется, выскажет все! — заступился за друга Какитай, и Дармен кивнул головой, подтверждая.

Базаралы понял все, о чем говорил Абай, но слова его оценил по-своему.

— Больше всего я люблю, когда ты говоришь вот так о насилии и насильниках, Абай!

— Дармен хочет раскрыть одну тайну Кенгирбая, — пояснил ему Кокпай.

— Расскажет о прошлом, а мы увидим настоящее, — серьезно и вдумчиво сказал Базаралы. — Наверно, для народа Кенгирбай был не лучше нашего Кунанбая… Хоть он и мой предок, не отступлюсь от своих слов!

— Конечно! Иначе ты не был бы Базеке! — подхватил Абай и перевел взгляд на Дармена. — Вот голос нашего времени, голос разумного поколения. Истинный поэт не может глядеть только в прошлое.

В этих дружеских беседах Базаралы вспоминал о своей жизни на каторге. С особенным уважением рассказывал он о встреченных там русских людях:

— Когда я задумал бежать, я раскрыл свою тайну двум старикам. Один из них был Керала, русский крестьянин, убивший бая-помещика, второй, Сергей, у себя на родине учился, думал лечить людей, а попал в ссылку. Они и спасли меня: и кандалы распилили и бежать помогли. Сказали: «Лети вольной птицей, неси наш привет своему народу!» Ничего не побоялись. Ведь если б я попался, их бы жестоко наказали… Как назвать такой поступок людей?

Благородство русских друзей Базеке вызвало общее восхищение. Абай начал расспрашивать Базаралы, как пробирался он по Сибири среди русских. Вопрос этот вызвал новые благодарные воспоминания.

— В первой же деревне русские меня научили подходить только к бедным домам. Несчастного поймет тот, кто сам знает беду. И от самого Иркутска до наших краев я так и делал: подходил в сумерках к русской деревне, стучал в окно крайней бедной избушки, и меня пускали в дом, как родного. И накормят, и напоят, и на дорогу с собой дадут. Объяснят, где лучше пробраться, а если идти опасно — оставят до ночи. И стар и млад не только пожелают удачи, но и всячески помогут. Вот когда я понял, как смел и добр русский народ. От меня им ни выгоды, ни пользы не было, а по правде сказать, я даже от сородичей своих, жигитеков, не видел столько добра, сколько от этих людей… И как укрепляла мне крылья такая бескорыстная доброта! — взволнованно закончил он.

Все эти дни пребывания у Абая Базаралы чувствовал себя в каком-то ином мире. Будто на середине безлюдного, унылого озера оказался чудесный мир, маленький, как глазок…

Накануне отъезда гостя Абай спросил, увезли ли к себе его земляки, бедняки жигитеки, сено, скошенное Азимбаем на Шуйгинсу и Азбергене. И Базаралы удивился, узнав, что все обстоятельства спора известны Абаю в подробностях.

Это и было как раз то дело, о котором земляки просили Базаралы поговорить с Абаем. Когда они уже собрались перевозить спорное сено по своим зимовьям, пришла весть о возвращении Базаралы. Семьи всех этих семи аулов были в близком родстве с ним. Абды, Сержан и старик Келден были его преданнейшими друзьями. Они решили: «Не стоит встречать Базаралы распрей! Осень долгая, подождем. Перевезем и после». Кроме того они ожидали, чем кончится разговор с Такежаном, обещанный Абаем. Еще в городе посланные от них просили Базаралы узнать от Абая, ждать ли им ответа или действовать на свой страх и риск.

Абай еще не повстречался с Такежаном — аул того кочевал на дальних осенних пастбищах. И теперь Абай обещал переговорить с братом, как только аулы их сблизятся, и тотчас сообщить об этом Базаралы.

На следующий день Базаралы простился с гостеприимным аулом Абая и вернулся к себе.

Внешне Базаралы казался веселым и беспечным, однако в душе его не было покоя. Черная печаль давила его. Покончив с разъездами по гостеприимным аулам родных и друзей, Базаралы засел дома. Чем больше раздумывал он о судьбе близких людей, тем тяжелее ему становилось.

Своего отца, горемычного Каумена, он в живых не застал. Старик умер прошлой зимой после долгой болезни. Потеряв одного за другим всех троих своих сыновей, он впал в глубокую тоску. Балагаза и Оралбая он давно считал погибшими и горевал, что прах их не покрыт хотя бы горсточкой родной земли. Долго не получая вестей о Базаралы, он потерял всякую надежду и на его возвращение, решил, что третий сын тоже погиб. За несколько дней до смерти он звал к себе то Оралбая, то Базаралы. «Скоро… скоро буду с вами…» — говорил он в забытьи. И в самый последний миг он повторил эти слова уже беззвучным движением холодеющих губ.

Услышав от своей жены Одек этот грустный рассказ о смерти отца, Базаралы целые сутки провел в безмолвном уединении.

Стояла поздняя осень. А она не тешит сердца, не рассеивает хмурых мыслей. Уже перевалило за середину сентября, степь, выгоревшая и посеревшая, стала унылой. И тепло не держалось в юрте. То ветер, то дождь — пора тоскливого беспокойства. Старый, обветшалый войлок, давно уже нуждающийся в замене, весь в прорехах. Ночная стужа свободно врывается в юрту, дождь проникает туда, и если закрутит ветер, юрта вторит ему глухим завыванием. Неприглядным и жалким стал нынче кров Базаралы.

Аул его, расположенный на Шоптиголе, одном из самых дальних урочищ осеннего кочевья жигитеков, находился поблизости от зимовок оседлых земледельцев, бедняков жатаков.[16] Нынче с зарею оттуда приехал старый друг Базаралы — Даркембай. Весь день они провели в уединенной беседе. Базаралы с горечью рассказывал, в каком жалком состоянии нашел он свою семью и близких родичей. Глядя на изможденное лицо жены, которая, выпросив у соседей на топку таволги и кокпека, кипятила чай и варила пересохшие куски вяленого мяса, он начал разговор с нее:

— Вот Одек… Высохла, почернела. И одежда ее и сама она вконец износились. Сетует на голод, плачет… Глянешь на единственного сына — вытянулся мой Сары, высох, как тростник. Тымак весь изодран, сапоги стоптаны. Что ему делать? В наймиты идти?.. Оба моих брата погибли. Балагаз так и умер в ссылке, жена, дети его разлетелись, как птицы, кто куда. Оралбай был сильнее, смелее и меня и Балагаза! Однако и он пропал безвозвратно, юный побег подсекли под корень. Где он скитался, изгнанный и проклятый правителями Тобыкты, где нашел себе могилу? Кто скажет?… Невольно подумаешь: нет ли у бога какой-то неотмщенной обиды на потомков Каумена? Скажи сам: разве за злодейство, подлость, разбой потерпел я кару? Нет! Вся моя вина была в том, что я не мог жить под пятой. «Снимите мне голову, но волю к свободе в сердце моем вам не подавить, огня чести моей вам не загасить!» — так говорил я. А теперь? Не только сыновьям Каумена, как я вижу, выпала такая судьба. Кругом расселись кучками пронырливые аткаминеры. Кичатся богатством, достатками. Ты знаешь, не бывал я ни в родстве с ними, ни в дружбе. Думы мои о таких, как ты, как я сам. О тех, в ком и под рваной одеждой горит неугасимое пламя гордости и чести, о благородном народе моем думаю я. Если гляжу на свепь, то вижу только его. Если горюю нынче, — из-за него горюю. Вернулся, вижу — еще больше стало несчастных. Кругом их обсели зеленые мухи, глаза залепили… Эх, горемычный старец мой, о них говорит печальный брат твой, только о них…

Так делился с Даркембаем Базаралы своими мыслями, угнетавшими его в одиноком раздумье.

Даркембай, понюхивая табак, то и дело понимающе кивал головой, полной тяжелых дум. За эти годы у него поседели не только борода и волосы, но и густые брови, однако в старческих глазах его еще не погас огонек прозорливого ума.

Многое переживший за свою долгую жизнь, старик не стал говорить о тяжелом положении семьи Базаралы, и так уже ясном из его горьких слов, а заговорил о тех, кто разбогател за эти годы. Немало нашлось таких, кто, злоупотребляя властью или прибегая ко всяческим мошенничествам в торговле, нажил огромные богатства. Нынче у Такежана восемьсот лошадей, у Жиренше столько же, а Уразбай довел свои косяки до полутора тысяч голов. Да и другие — Абралы, Кунту, Жакип — именуются нынче «тысяческотными» баями. Что же до жатаков, то число их возросло еще больше, а нищета их стала совсем беспросветной.

Заговорив о жатаках, Даркембай продолжал с горькой иронией:

— Не все ты еще увидал, Базеке! Ты говорил лишь о тех, кто бедствует в кочевой жизни. А посмотри на нас, оседлых, на тех, кому ты когда-то говорил, что «лучше сосать грудь земли, ковырять глину, чем ждать милости от врага». Мы, горемычные жатаки, и нынче живем так, как в те дни, когда ты нас оставил. Все еще ждем чего-то лучшего, думаем — вот заживем, как люди… Одно хорошо в нашей тяжкой жизни: ни у кого я не попрошайничаю, ничего не клянчу. Хоть и терплю нужду, тружусь, хлопочу, пусть иной раз и решетом воду таскаю, — зато не стою у чужого порога с протянутой рукой. Даже надеюсь, что когда умру, так завернут меня не в чужие, а в свои лохмотья. Богачи имеются над нами: мол-де, мы изменяем предкам и, как русские, ковыряемся в земле. А русские нас хорошему учат… И не умирать же нам с голоду. Всю мою долгую жизнь нужда давит меня, как ярмо давит измученного вола. Шея уж до крови натерта, а кожа на груди дубленой стала… И у многих так же проходит жизнь…

Даркембай заговорил об единственном утешении, скрашивающем его старость, — о Дармене.

У Даркембая был младший брат Коркембай, которого Базаралы почти не помнил, — тот давно ушел в далекие края, к русским, и стал жить среди них, нанимаясь в работники. Года два назад, когда Базаралы был еще в ссылке, Коркембай прислал извещение, что жизнь скоро оставит его и что он хотел бы проститься. Даркембай поехал к нему. Умирая, Коркембай поручил старшему брату заботу о своем единственном сыне. Это был Дармен. Даркембай привез его с собой, и юноша стал его утешением и радостью.

Рассказывая об этом, старик не скрыл от друга того, чего не говорил никому: Дармен не был родным сыном Коркембая — он был сыном Когадая, младшего брата Кодара, того самого Кодара, которого Кунанбай когда-то приговорил к страшной казни. Когда умер Когадай, мальчика взял к себе дальний родственник. Жилось ему там тяжело, сироту не любили, считали неисправимым упрямцем и даже так и прозвали — Кияспай.[17] В тот год, когда Кунанбай отправлялся в паломничество в Мекку. Даркембай привел к нему Кияспая, требуя выделить мальчику долю из захваченной Кунанбаем земли Кодара. Ничего не добившись, Даркембай решил отвезти сироту к Коркембаю, у которого не было детей, и тот усыновил Дармена. Мальчик оказался способным, умным и ласковым. Коркембай привязался к нему всей душой. В новой семье Дармен вырос смелым, честным юношей, и вдобавок в нем обнаружился талант певца и акына. Даркембай попросил Абая принять Дармена в среду окружающих его юношей. С тех пор Дармен половину времени проводил в ауле жатаков, половину — у Абая.

Базаралы рассказал старику о своей встрече с Дарменом у Абая, о том, как все восхищались его поэмой, искренне похвалил ее и сам. Даркембаю особенно дорого было услышать, как внимателен и ласков был к его приемышу Абай. Он признался, что вначале Дармен его сильно тревожил:

— Думал: вот, мол, привез Абаю пустого балагура с домброй. Все песни да песни… Потом слышу: в каждый приезд приносит все новые стихи Абая. И сам как будто идет по его следу. Вот это и согрело мою душу.

— Абай говорил с ним при мне очень сердечно, давал мудрые советы, — вспомнил Базаралы. — Похоже, что на него он возлагает больше надежд, чем на своих сыновей и на признанных акынов, которые там были. И меня это очень порадовало: я вижу, Абай и вправду стал сыном народа, а не сыном Кунанбая. Он с теми, кто обездолен, обижен. А в Дармене, мне кажется, он видит крылья свои. Я сам слышал, как он поучал его. Он говорил с ним как с настоящим акыном… Посылает с важными поручениями доверенным человеком. Вот и на разбор спора с Азимбаем послал вместе с сыном…

И, заговорив об этом, Базаралы глубоко вздохнул.

— Наш скот — земля, не шерсть стрижем мы, а сено, — сказал он горько. — И эта земля всегда была причиной наших бед, Даке… Раньше от Кунанбая народ терпел унижения и насилия из-за земли. Умер Кунанбай, а кунанбайство не сгинуло. Наоборот, обнаглело, умножилось, стало еще жаднее. Разве не унижение то, что терпят те семь аулов?

— И не говори! — покачал головой Даркембай. — Вся кровь закипает во мне, как вспомню. Жаль, что коса Абды не ударила по Азимбаю! Уж если нынче говорить о горе народа, надо говорить об этих семи аулах. Если кидаться за что в бой, так кидаться за них! Мстить — так мстить за их слезы! Ведь это самые обиженные, самые обезболенные люди, за них и поубивать злодеев не грех… Вот наши главные враги — Такежан с Азимбаем!

— Не только наши! — усмехнулся Базаралы и начал рассказывать о том, как встретили его в Семипалатинске Уразбай, Жиренше, Бейсемби и Кунту: — С утра до вечера приставали с душевными разговорами и дружескими советами. Не сразу я понял, чего они добиваются. Теперь-то я вижу, что они собираются втянуть меня в свои распри. Все равно, мол, Базаралы все видел, все перетерпел, что ему терять! Хуже того, что пережил, с ним не будет. Попробуем натравить его на Такежана… Вот и я хотел с тобой посоветоваться, Даке, как мне поступить, что им ответить?

Даркембай раздумывал недолго. Он предупредил Базаралы:

— Не откровенничай с ними! Не выдавай всех своих мыслей, сейчас они прикидываются твоими друзьями… Тебе надо быть со своим народом, с кем у тебя общая судьба, общее горе. Нынче кунанбаевцы потеряли силу, враждуют с другими баями, и если сейчас нанести им удар, они почувствуют всю его тяжесть… Но иди на них не один, а вместе с народом! Советуйся не с чужими людьми, а с теми, кто разделяет с тобой нужду и горе.

Слова Даркембая понравились Базаралы.

— Дельный ответ. И знаешь, что пришло мне в голову? Надо ударить врага, пока он ослаблен распрями. Крепко ударить, Даке. А потом скажу: «По вашим советам действовал, видите, как хорошо понял вас!» Погоди, Даке, ты еще увидишь! Мне сдается, что в беседе с тобой я нашел верное решение… Чего мне бояться? Я видел вещи и пострашнее! — И Базаралы, смеясь, взял со скатерти кусок сыра. — Вот, Даке, над этим кушаньем твой неугомонный бунтарь клянется устроить немалый шум в степи! — сказал Базаралы и торжественно, словно совершая обряд клятвы, положил в рот высохший сыр.

2

В эту осень аул Такежана, старшего брата Абая, как всегда, расположился на делеком урочище Кашама.

Одна половина тобыктинских земель представляет собой весеннее пастбище, жайляу, а другая — осенние, кузеу. Лучшие, наиболее отдаленные пастбища принадлежат роду Иргизбай, в том числе и аулам кунанбаевцев. Среди них аул Такежана — хозяина алчного, не упускающего ни малейшей выгоды, — занимает самые тучные угодья. Осенним кочевьем его многочисленных табунов служит урочище Кашама, граничащее с землями племени Уак.

И нынче аул Такежана стал здесь, на берегу небольшого озера. Юрты не были свободно разбросаны по лугу, как их ставят летом, — их придвинули почти вплотную друг к другу и соединили изгородью из переплетенных стеблей чия, образующей ночной загон для овец. Большая теплая юрта Такежана стояла на краю аула, у самого берега, за ней тянулась цепочка из восьми ветхих юрт его «соседей» — пастухов и работников аула.

У озера и возле аула не было видно ни лошадей, ни овец, ни верблюдов. Весь корм здесь был уже уничтожен, и многочисленные табуны и стада Такежана нынче паслись вдали от стоянки, в густых зарослях кустарника, в ложбинах с сочной травой. Богатый аул, не обращая внимания на холод, все еще не откочевывал с осеннего пастбища, дожидаясь, когда скот использует весь подножный корм в самых дальних уголках. Около юрт не было видно даже и собак: они разбрелись по степи, охотясь за полевыми мышами.

К этому угрюмому аулу в неприветливый, холодный день подъехали три всадника — Абай, Ербол и Дармен. Привело их сюда не очень приятное дело. Слезая с коня, Абай хмурился, как бы показывая, что приезд его вынужден.

В юрте их встретили Такежан, его жена Каражан и сын Азимбай. Юноша выглядел уже взрослым, розовое мясистое лицо его обросло густой черной бородой. Гости, входя, холодно поздоровались с хозяевами.

Такежан заговорил с братом о других аулах, расспрашивая, все ли спокойно, нет ли каких-либо смут, ссор, столкновений. Каражан и Азимбай сумрачно молчали, жестами приказывая слугам подать кумыс, поставить чай, варить мясо.

Хозяевам аула было отлично известно, что уж если Абай приехал, то их ждет какая-нибудь неприятность. Они не забывали о том, что Абай давно осуждает их семью, что он всегда с неприязнью присматривается к жизни их аула.

И Такежан и его жена были тепло и богато одеты. Юрта заботливо утеплена, стены изнутри сплошь затянуты толстым узорчатым войлоком и коврами. Яркий огонь желтого кыя пылал в очаге, но Абай заметил, что в котел положили вяленое мясо. Отлично поняв настроение Каражан, которая не нашла нужным послать в отару за бараном, Абай усмехнулся и сразу же начал деловую беседу.

Приехал он сюда поговорить о двух щекотливых вопросах.

Один из них—похищение лошадей, принадлежащих роду Бура, населяющему Семей-тау. Две недели назад тобыктинские конокрады угнали у них косяк яловых кобыл. В этом подозревают Серикбая. А Серикбай, как известно, — один из людей Такежана. Поэтому потерпевшие просили Абая повлиять на Такежана, чтобы тот заставил Серикбая возвратить лошадей.

Хотя Абай говорил об этом словами вежливыми и мягкими, не нападал и не обличал, но для всех было ясно, что они звучат тяжелым обвинением. Он как бы говорил: «Есть отъявленный вор, оголтелый грабитель, который похитил у честных людей их добро. Он прячется за твоей спиной. Иначе говоря, ты укрываешь вора и несешь ответственность за его дела. Значит, ты и призови его к порядку или отвечай за укрывательство».

Если бы с таким поручением к Такежану пришел любой другой казах, кроме Абая, то как бы осторожно ни было оно высказано, Такежан только раскричался бы. Но сейчас, изворотливый и хитрый, он не подал и вида, что в нем вскипела ярость. Помолчав некоторое время, он наконец заговорил с насмешкой:

— Кто-то из тобыктинцев украл коней. Стало быть, тобыктинцы — воры. Значит, глава тобыктинских аулов, аул хаджи Кунанбая, — аул воров. А старший по возрасту в этом ауле Такежан, выходит, и есть главный вор… И если начали искать похищенный кем-то скот, ведут следствие, стало быть, прежде всего надо взяться за Такежана! Ну, а ты, совесть нашего рода, конечно, и рад начать следствие с меня… — Он зло рассмеялся.

Абай спокойно на него посмотрел.

— Если ты способен думать, Такежан, подумай: могу ли я отделить свою совесть от твоей? Если ты совершишь постыдное дело, разве не буду и я стыдиться? Когда же перестанете вы подозревать меня в том, что, стыдя тебя, я нахожу в этом удовольствие? — И он бросил холодный взгляд на Каражан и Азимбая.

Азимбай, продолжая стругать ножом толстую палку, пренебрежительно скривил губы и ехидно усмехнулся. На лице его, вислощеком, с припухшими красными веками, можно было прочесть: «Плевать мне на тебя и на твою совесть».

Такежан снова заговорил:

— Ладно, Абай, не стоит нам залезать друг другу в душу. Ты говоришь о Серикбае. Кажется, уже больше полугода этой собаки в нашем ауле и не видно. Я не знаю ни одного человека, который сказал бы, где он сейчас шатается. Расправляйся с ним как хочешь, твоя воля, я вступаться не буду. Поймай его — и тогда хоть поджарь на костре и съешь! Вот все, что я могу сказать.

Выезжая к Такежану, Абай и сам знал, что от него многого нельзя добиться, ибо жалоба на Серикбая не подтверждалась ни уликами, ни свидетелями. Ответ заставил его отложить расспросы о похищенном скоте. Такежан дал понять, что в случае, если Серикбай будет уличен, защищать его он не станет. На сегодня было достаточно и этого.

После кумыса и чая Абай заговорил о другом деле. Оно касалось спора, возникшего между Такежаном и жигитеками по поводу сенокоса на Шуйгинсу и Азбергене.

Хмуро выслушав Абая, Такежан спросил о том, что больше всего беспокоило его:

— Кто это говорит? Люди из семи наших аулов? Видно, опять натравливает их Базаралы? Когда у него в голове не гнездятся черные замыслы, то и пища ему не впрок!

— А что же, если и Базаралы? Они самая близкая его родня, их земля — его земля, — возразил Абай. — По-твоему, если он требует возместить нанесенный ему ущерб, это тоже черный замысел?

— Какой он терпит ущерб? Я пользуюсь их землей, но я и даю возмещение.

— Разве это возмещение? И разве они по своей воле уступают тебе землю? Ты всегда отбираешь ее силой, а платишь гроши… Ни для кого не тайна то, что ты проделываешь каждую осень.

— Лучше бы ты прислал самого Базаралы с такими речами! И достойно ли тебе быть судьей в этом деле? Говорят, что Базаралы, не успев вернуться, сразу же начал хвастать, что расправится с нами, покажет себя… До меня все доходит! Я вижу, как он подымает голову и натравливает других!

— По-твоему, если тот, кого душат, кричит, он и в этом виноват, так, что ли? Насильничаешь ты, а упрекаешь того, кто жалуется на насилие?

— Базаралы желает совсем не того, чтобы ты был его ходатаем, Абай! Когда-нибудь ты припомнишь мои слова… Не думай, что я не знаю, о чем говорят в народе. Смотри, потом пожалеешь сам.

— Ты, видно, считаешь, что мало еще насолил ему?

— А ты, я вижу, берешь его себе в друзья? Нашел кого — оборванца… Правда, ты ни разу не почувствовал его зубов и когтей, хотя ты тоже из ненавистных ему кунанбаевцев. А у меня он и мясо прогрыз и до костей добрался!

— Я не видел ни одного честного казаха, которого обидел бы Базаралы! А вот ты и вязал, и ссылал, и заставлял скитаться по белу свету многих… А многих и вконец погубил. И все-таки не перестанешь твердить, что натерпелся от Базаралы! Твердишь, как знахарь свое заклинание!

Братья скороговоркой бросали друг другу эти резкие слова и наконец смолкли, хмуро поглядывая друг на друга. Азимбай, который при каждом гневном ответе Абая поворачивал к нему хмурое лицо, теперь вмешался:

— Оказывается, один лишь человек во всем Тобыкты ничего и не слыхал о грязных делах Базаралы, сеющего смуту. Это наш Абай-ага! Зато у него только и разговоров, что о добре да о нравственности!.. Если эти слова означают разврат и пренебрежение честью рода, пусть сгинет такая «нравственность»!

Строптивый и жестокий Азимбай с годами становился все более зубастым, упрямым и своенравным. Со всех сторон доносилось к Абаю мнение народа: «Он почище самого Такежана, крутой нрав у такежановского сынка». Доходили до Абая и слухи о том, что Азимбай обругал почтенных стариков, требовавших возмещения за убытки, а некоторых жалобщиков выгнал из юрты плетьми. Слова, вырвавшиеся у него сейчас, выразили сокровенные мысли кунанбаевцев о Базаралы, которыми те редко делились с Абаем: Азимбай намекал на связь Базаралы с Нурганым, все еще не забытую семьей Такежана. Воспоминание об этом жило в их сердцах, как неоттаявшая мерзлая земля. Устами черствого, тупого и злобного юноши была выражена их ненависть, обида за поруганную честь рода.

Слова Азимбая вызвали в Абае глубокое презрение к нему: видно, сын хорошо усвоил уроки родителей, он даже перещеголял старших. Резко поднявшись на подушках, Абай возмущенно крикнул:

— Замолчи! Ты решился на такую мерзость, на которую не осмеливался и твой отец! Нравственность не сгинет, а пусть сгинет тот, кто борется против нее! Шел ли ты когда-нибудь по пути добра? Когда ты успел устать от него? С рождения ты видишь только издевательства сильного над слабым, безудержную алчность, преступления, мерзости! А теперь, когда язык твой научился произносить слова, он говорит только грязные слова! Да и где видел ты добродетель? Здесь, у очага Такежана, в котле Каражан или в том сундуке, что стоит там? Добро состоит в том, что человек должен быть не только сыном отца, но и сыном народа. Нравственность требует, чтоб он был справедлив, сострадателен, честен, прям сердцем. Слышал ли ты когда-нибудь об этом? Нет, не добро пусть сгинет, а пусть пропадут ничтожные невежды и себялюбцы, вроде тебя, у которых все нутро наполнено бесчестием и корыстью!..

Азимбай, не дождавшись, когда Абай кончит говорить, пренебрежительно скривил губы и, тряхнув полами чапана, вышел из юрты.

Такежан вполне разделял чувства своего сына. Однако, не продолжая начатого тем разговора, он вернулся к делу. Ответ его был короток.

— В этом году дело уже сделано, сено я скосил, — сказал он. — Не так уж я виноват, чтобы унижаться перед жигитеками и отдавать им скошенное сено. О будущей осени поговорим после. А сена я, конечно, не верну. И если жигитеки вздумают свезти его к себе, пусть знают: возвращаясь на зимовье, я остановлюсь около их аулов и снимусь с места только тогда, когда мой скот сожрет все сено, которое они у меня увезут!

Абаю стало душно в этой юрте. Захотелось выйти на свежий воздух.

Холодное серое небо нависло над аулом. Все вокруг выглядело как-то особенно неприглядно. Абай заметил, что дети, бегающие между юртами, все босы; их грязные голые ножки покраснели от стужи. Прячась от ветра за изгородью загона, они негромко переговаривались, играли у сложенных вьюков. С одной юрты был снят большой кусок войлока, молодая женщина наклонила над ним обветренное, потрескавшееся лицо и латала прорехи. Сквозь обнажившуюся решетку юрты виднелась нищенская утварь. Дряхлая старушка, прикрыв полосатым мешком спину и надев на голову изодранный малахай, но все-таки дрожа от пронизывающего холодного ветра, взбалтывала малму — закваску из кислого молока для дубления кожи.

Глядя на эту нищую лачугу, Абай подумал: «Могут ли люди жить хуже, чем здесь? Какая нищета! Идет зима с лютой стужей, а тут полуголые люди в лохмотьях, без крова…»

Женщины, зашивавшей продырявленную кошму, Абай не знал. Лицо ее поражало болезненной худобой, сквозь бледную кожу просвечивали синие жилки, сухой кашель то и дело сотрясал ее плечи. Услышав шаги, она обернулась, смутилась, на щеках ее вспыхнул нездоровый румянец. Абай поздоровался с ней. На его голос повернулась старуха, взбивавшая малму.

Только теперь Абай узнал эту семью.

— Ойбай, разве это твоя юрта, Ийс? А я не знал, чья эта лачуга.

Войдя в юрту, он увидел, что полы ветхой, рваной шубейки старухи были раскинуты и под ними сидели, спасаясь от ветра, двое продрогших малышей. В больших черных глазах, поднятых на Абая, смешались испуг, смущенная мольба и привычная печаль. При виде постороннего дети еще теснее прижались к бабушке — худенькие, жалкие и беспомощные, как птенчики. Сердце Абая похолодело. Страшное видение нищеты, воплотившееся в этих безвинных страдальцах, поразило его. Он не слышал ни приветствий, ни жалоб старухи.

— Дорогой мой Абай, и собакам в байской юрте лучше живется, чем нам, — причитала она. — Мучаемся все эти годы… И невестка больна…

— А где же Иса? — вспомнил Абай. — Мне рассказывали, как мужественно он вел себя на покосе. Порадовался я за тебя: хорошим, честным человеком ты вырастила сына!

— Как бы не доконала его эта честность! Азимбай прощать не любит. В наказание погнал его пастухом в дальние отары. А у него теплой одежды нет…

Абай, не отрывавший взгляда от детишек, погладил их по головкам, обросшим космами волос, и спросил, как их зовут. Они ответили хриплыми, простуженными голосками. Имя старшего, пятилетнего, было Асан, а младшего, которому шел четвертый год, — Усен.

Ийс продолжала перечислять свои горести. Невестка совсем разболелась, Иса возвращается только к ночи, добывать топливо некому. Вот старая Ийс и греет собственным телом внуков.

— Так и сижу, как старая курица, прикрывая крыльями несчастных птенцов, — закончила она.

С тяжелым сердцем вышел Абай из этой юрты. Неподалеку от нее стояла другая, покрытая толстым войлоком, — такая же богатая, как такежановская, но меньших размеров. Это была Молодая юрта Азимбая. Возле нее седобородый пастух ставил на колени верблюда, навьюченного мешками кыя. Каражан раздраженно приказывала пастуху:

— Смотри не раздавай кый кому попало! Раздели между Большой и Молодой юртами. А то, как увидят топливо, так и начнут клянчить: на одну топку, на две… — И Каражан повернулась к подошедшим людям: — Убирайтесь! Проваливайте по домам! А ты еще куда приплелась? Вон отсюда! — зашипела она на жену табунщика и отогнала прочь оборванных детей.

Она распорядилась отпустить полмешка кыя только рябой старухе, которая робко подошла последней.

Абай издали наблюдал все это. Когда, сказав старухе: «Ну, и хватит с тебя этого», — Каражан пошла к своей юрте, он нагнал ее и решительно потребовал, чтобы полный мешок кыя отправили к старой Ийс. Каражан не посмела перечить. Затем он пошел рядом с невесткой.

— Ай да Каражан! — сказал он с насмешкой. — Пусть я ослепну, если видел где-нибудь байбише,[18] которая была бы так щедра к своим работникам! Неужели тебе не жаль— целые полмешка кыя отдала!

Каражан, щурясь, посмотрела на Абая.

— Почтенный мой деверь, а я не видела человека любопытнее тебя. Видно, ты всюду привык совать свой нос! — сказала она, открывая Абаю дверь в юрту.

Зрелище нищеты, окружающей богатую юрту, породило у Абая неожиданную мысль. Он быстро прошел к гостевому месту и, опускаясь на кошму, попросил у Дармена карандаш, бумагу и тут же склонился над листком.

В открытую дверь заглянули четверо дрожащих, закутанных в лохмотья детей с посиневшими от холода лицами. Они не осмеливались подойти к ярко пылавшему очагу и лишь жадно любовались издали его огнем.

— Убирайтесь вон, оборванцы! — крикнула Каражан.

Они отшатнулись от двери, а в юрту смело вошел маленький, смуглолицый, юркий Шопиш, старший внук Такежана, сын Азимбая. Это он привел к Большой юрте своих сверстников. Мясо в котле уже сварилось, и Каражан, выложив кость с кусками мяса, положила ее в ярко раскрашенную пиалу и протянула внуку. Дав ему в руки ножичек, она шепотом наставляла его:

— Сядь тут, кушай дома. Выйдешь на улицу — эти нищие выманят у тебя мясо. Не дадут спокойно поесть, приставать начнут, да будет им пища отравой… Не выходи, ешь около меня!

Шопиш с беспокойством оглядывался на дверь. За мясо он еще не принимался, но было ясно, что ему не вырваться из цепких рук бабушки. Абай с насмешливой полуулыбкой переводил взгляд с мальчика на Каражан, с нее на Такежана и потом снова опускал глаза на бумагу, где одна за другой возникали строки стихов.

Ербол и Дармен, сидя за спиной Абая, вполголоса говорили между собой. Ербол знал, что если после такой бурной стычки, какая произошла недавно, Абай начинает писать стихи, он насытит их ядом острой издевки. И он шепнул Дармену:

— Гляди, юноша, Абай взялся за стихи… Как, по-твоему, кого нынче ужалит его насмешка?

Во время разговора братьев Дармен все время думал о Базаралы, который вызывал в нем искреннее уважение. Поэтому он ответил:

— Мне кажется, Абай-ага пишет о жалобе жигитеков… Ербол, однако, предполагал другое:

— Нет, если я знаю Абая, он сейчас насаживает на копье скупость Каражан, которая пожалела барана и варит вяленое мясо… Я очень бы хотел, чтобы он писал об этом: вид этого унылого котла нагоняет на меня тоску!

Дармен негромко рассмеялся.

— Ну, вряд ли стоит обрушивать стихи Абая-ага на казанок Каражан ради того, чтобы у нас не сосало под ложечкой! Неужели мы не справимся с этой скрягой сами?

Ербол тоже не удержался от смеха. Абай, кончив писать, обернулся к ним и подозвал их поближе:

— Такежан, Каражан, послушайте и вы стихи!

Те встревоженно подняли головы. Абай начал читать:

Октябрь — ноябрь, осенняя пора…

Подуют скоро зимние ветра.

«В кочевье поспешишь— траву потравишь»,—

И медлит бай, а в путь давно пора.

Всем слушателям сразу стало понятно, о чьем ауле говорилось в стихотворении. Ербол и Дармен одобрительно закивали.

— Вот то-то и оно! — шепнул Ербол Дармену. — Что я говорил тебе, юноша? Погоди: будет и про казанок…

Дальше стихи описывали положение чабана в ауле Такежана, «соседей», зябнувших без топлива. Не были забыты и полмешка кыя. Вошли в стихи и расчеты скряги хозяина, намеревавшегося отделаться от Ербола залежавшимся мясом старого барана.

Язвительные, бичующие слова попадали прямо в цель. Слушатели узнавали и робких оборвышей, заглянувших в дверь, и Шопиша с куском мяса, и Каражан, обучающую его есть свой кусок втихомолку. Беспощадно правдиво были переданы в стихах презрение Каражан к детям бедняков, ее злобное шипение на них:

Ждут подаянья дети бедняков.

Но байский негостеприимен кров —

Толпятся на пригреве, не отходят

От юрты дальше нескольких шагов.

А мать своим любуется сынком.

Пускай, как ты, он будет жадным псом,

Балуй его! Он плохо ест при виде

Детей, объедков ищущих кругом.

Стихи хлестали Каражан, как плетью. В них говорилось также о непримиримой борьбе между богатым и бедным — даже дети разделены на два легеря…

Абай кончил читать, и только тогда к Такежану и его жене вернулся дар слова.

— Что же, ты приехал сюда, чтобы хулить нас? — начал Такежан.

— Хулить? Опозорить, осрамить нас — вот какая у него цель! — вскипела Каражан. — Старшего брата и невестку собаками обозвал!

Абай, посмеиваясь, передал стихи Дармену. Тот сложил лист и сунул в карман. Такежан, словно очнувшись, внезапно накинулся на юношу:

— Что ты прячешь стихи? Ишь какой ловкач! Кто научил вас есть в моем доме угощение и опрокидывать ногой блюдо? Дай сюда, разорву и брошу в огонь! — Он протянул руку к Дармену.

Абай и Ербол покатывались со смеху. Дармен вовсе не собирался отдавать стихи, наоборот, он еще глубже засовывал бумагу в карман. Такежан побагровел и повернулся к Абаю:

— Уничтожь стихи! Уничтожишь или нет? Тогда убирайся вон отсюда! — кричал он, бешеными глазами глядя на Абая.

— Дорогой мой, я же не о тебе писал! — ответил тот, по-прежнему весело смеясь. — Разве ты запретишь мне подтрунивать над Каражан, моей невесткой. Уж не хочешь ли ты быть для моих стихов более грозным судьей, чем сам ангел смерти Азраил? А может быть, твоя жена, вроде хаджи, превратится в неверного гяура, если ее обругают?

Абай отшучивался, но Каражан заплакала от возмущения.

— Слова, которые не осмелился бы сказать злейший враг, ты называешь шуткой? «Вся ваша семья — враг мой!» — вот что говоришь ты этими стихами! Разорви бумагу! Сейчас же!

Такежан продолжал требовать того же.

Во время этого спора Ербол взял у Дармена стихи и перечитывал их, весело улыбаясь. Видя, что братья могут всерьез поссориться, он быстро заучил наизусть те две строфы о детях, которые привели в бешенство Каражан, и, взяв из рук Абая карандаш, обернулся к Такежану.

— Такежан-ага! Уничтожить стихи было бы и насилием и несправедливостью. Но верно, что иногда слова стихов, даже шутливых, ложатся на сердце тяжелым камнем. Здесь есть строчки, которые задевают Каражан за живое, — давайте уничтожим их. Вот я зачеркиваю! — И он тщательно замазал карандашом две строфы.

3

Такежан, стараясь как можно дольше не трогать зимних кормов, все еще держал свой аул на осенних пастбищах, медленно кочуя к зимовью на Мусакуле. Спор о сене, скошенном на урочище Азберген и Шуйгинсу, перешел в открытую распрю.

Не добившись ничего от Такежана, Абай передал потерпевшим аулам жигитеков: «То, что делает Такежан, — насилие. Я убеждал его, но уговорить не сумел. Любой ваш ответ на его произвол будет справедливым. Сумейте постоять за себя, сородичи!» И жигитеки, решившись, развезли по зимовьям свое сено, скошенное Такежаном.

Тот узнал об этом, когда его аулу остался один переход до зимовья на Мусакуле. Он тотчас же разослал гонцов, вызвал к себе младшего брата Исхака и старших своих родственников Изгутты и Майбасара и, посовещавшись с ними, решил выполнить угрозу, высказанную Абаю в пылу гнева. И хотя все аулы уже расположились на своих зимовьях, аул Такежана, несмотря на заморозки, к Мусакулу не пошел: он повернул к зимовьям тех семи жигитековских аулов, которые увезли к себе сено с Шуйгинсу и Азбергена.

Впереди каравана ехали Такежан, Азимбай и Майбасар, с ними около дюжины наглых, готовых на все жигитов. Всадники остановились на небольшом холме, по склону которого тянулись низкие, сложенные из дерна загородки загонов для скота. Здесь же стояли и скирды сена, вызвавшего раздор.

За караваном на холм поднялись тысячные стада Такежана. Неумолимой лавиной они навалились на жалкие заросли чия, на заповедные пастбища небогатых аулов, сохраняемые на зиму. Овцы и коровы разбрелись по ним, уничтожая траву, верблюды и коровы покрупнее, вытянув шеи через низкие загородки, жадно пожирали сено из стогов.

У ветхих жигитековских построек показались люди. Потрясенные этим неожиданным и наглым произволом, они собирались в кучки, советовались, садились на своих кляч и скакали в разные концы, пытаясь отогнать скот. К тому времени, когда караван Такежана начал ставить юрты, около десяти всадников-жигитеков поднялись на холм к Такежану. Среди них были Базаралы, Абды, Сержан и Аскар.

Такежан и его свита в ожидании, пока установят юрты, объзжали стада. Базаралы, нагнав Такежана, заговорил спокойно, с достоинством, без крика и брани. В его скупых, но веских словах чувствовалась уверенность в своей правоте:

— Мирза Такежан, ты, видно, решил придавить коленом запуганных жигитеков? Хочешь показать свою силу, дойти до крайностей? Потравить все их корма, уничтожить все сено, может быть, и лачужки сжечь?

Такежан, положив перед собой на седло плеть и упираясь в концы ее широко расставленными руками, откинулся в седле, глядя на Базаралы с уничтожающей насмешкой. На вопросы его он ответил вопросами же:

— Разве это твое зимовье, сын Каумена? Ведь твой аул на Чингизе! Какой убыток терпишь здесь ты?

— Это мои сородичи. Моя кровная родня. У них нет смелых заступников, кто мог бы отстоять их права. Я ваш общий родственник. Неужели ты не примешь меня посредником между вами?

— Тебя же я не трогаю! К чему тебе совать нос в чужие дела? Занимайся своим делом, сородич!

— Стало быть, ты говоришь: «Не заступайся за них, даже если я растерзаю и сожгу их». Так, что ли?

— Мне не о чем с тобой говорить! Я не собираюсь состязаться с Базаралы ни в красноречии, ни в мерзостях. Я же сказал: держись подальше от меня, родственничек!

— Это все, что ты можешь сказать, мирза Такежан? Не желаешь отвечать за насилие и самоуправство?

— И не желаю и не буду!

— Так и не ответишь?

— Если и отвечу — не перед тобой!

— В самом деле не ответишь, Такежан-мирза?

— Не отвечу, не стану отвечать!

— Ну, довольно! И я спросил трижды, и ты сказал трижды. Видно, нам не договориться. Но теперь не мы уже будем виновны во всем дальнейшем. Пожалеешь! Я крепко взбаламучу твою мутную воду, Такежан, иначе не буду сыном своего отца!.. Дважды не рождаются, но дважды и не умирают! Я давно уже прозрел, терпя от тебя такое, чего и на каторге не видел… Ну что же, если ты не баба, продолжай свое!

Гневный взгляд больших выразительных глаз Базаралы переходил с Такежана на Майбасара. Громкие и внятные слова его были слышны всем. Он приказал своим спутникам повернуть коней. Кучка жигитеков, оборванных, жалких, сидящих на тощих клячах, направилась обратно.

Слова Базаралы не поколебали решимости Такежана.

Аул расположился здесь прочно, надолго; даже если повалит настоящий снег, он и не подумает сниматься. Юрты обложили снаружи завалинками из дерна, снова построили загородки из чия для защиты овец от ветра.

Сено и травы заповедных пастбищ жигитековских аулов стали безжалостно уничтожаться скотом днем и ночью. В юртах жгли заготовленные жигитеками на зиму скудные запасы кыя — Азимбай и Каражан посылали за ним по ночам отчаянных жигитов, и в хозяйских юртах горел жаркий огонь.

Новая беда, нагрянувшая на аул бедняков, и без того изнемогавших от нужды, привела их в отчаяние. Весть о наглом разбое Такежана облетела все аулы жигитеков, до самых дальних в горах Чингиза: «За горло схватил беззащитных, глумится над ними!»

В эти же дни внезапно исчез Базаралы, а с ним — около десятка молодых жигитов из ограбленных аулов Шуйгинсу и Азбергена.

Перед отъездом Базаралы вызывал к себе по ночам поочередно по четыре-пять человек, еще около тридцати жигитов из других жигитековских аулов, зимующих на Карауле. Каждой группе он давал одно и то же поручение:

— Если найдете в своем ауле хоть каких-нибудь куцехвостых кляч, годных, чтобы с них свешивать ноги, седлайте их и поезжайте к жатакам в Миалы и Байгабыл! Оттуда начнется поход. Годы мечтал я об этом. Мысль о нем давно уже горит в моей душе. Это будет поход бедняков, таких же, как я, как вы, поход мести! Не спрашивайте, чем это нам грозит. Когда я, вырвавшись с каторги, прибыл к вам, вы клялись: «Пойдем за тобой всюду, умрем рядом с тобой!» Я помню ваши слова, я принял их как клятву отважных. Если вы решительны по-прежнему, нынче настал день битвы! Не говорите, что кони ваши не годятся для нее: у вас будут лихие скакуны! Не я дам вам их — их даст нам сам поход. Не говорите, что у вас нет соилов:[19] жатаки с радостью дадут вам каждому по два соила! Но храните тайну, не проговоритесь! Пусть трусливые байские аулы нашего Жигитека, вроде аулов Бейсемби, Абдильды, Жабая, ничего не знают об этом! И второе мое требование: уезжайте из своих аулов не все сразу. Исчезайте по двое, по трое в ночь и добирайтесь до жатаков. Но чтобы через пять дней все вы, сорок жигитеков, встретились со мною у жатаков Миалы! Мы с Абылгазы будем ждать вас там.

О том, что делать дальше, как и на кого нападать, он не говорил еще ни слова. Дав наставление последним приехавшим по его вызову жигитекам, Базаралы вместе с его храбрым, воинственным другом и сородичем Абылгазы сам исчез из Шуйгинсу.

Следуя указаниям Базаралы, жигиты прибывали в Миалы к жатакам по четыре, по пять человек. Здесь их уже ждали и размещали по отдаленным одиноким аулам.

Базаралы вместе с Абылгазы жил эти дни у Даркембая, выжидая прибытия всех вызванных им жигитеков. Друзья делились сокровенными мыслями, обсуждали задуманное. Сидя у печки в маленькой землянке Даркембая, они вели беседы на самые различные темы. Пустая похлебка, сваренная женой Даркембая, казалась им изысканным и сытным кушаньем. Базаралы разговорился, беседа текла по прежнему руслу, направляясь все к той же цели — к предстоящему походу сорока жигитов. Теперь он говорил уже не о злодеяниях Такежана, не о раздорах среди тобыктинцев; он рассказывал о том, о чем еще не слышали казахи.

Базаралы вспомнил одного русского старика, с которым сблизился на каторге. У него была широкая белая борода, густые брови (такие же пышные, как и его седые усы) нависали над впалыми синими глазами, словно крылья сизого сокола. Ростом он был ничуть не ниже Базаралы. Тридцатилетняя каторга не сломила его силы.

— Редко встречал я таких людей, как Керала, — и душой и телом силен! — рассказывал Базаралы о своем русском друге, имя которого — Кирилл — он переделал на казахский лад. — Оказывается, и в России кишмя кишат свои Кунанбаи да Такежаны. Там они зовутся дворянами, помещиками. Керала рассказывал мне о том, что терпел он от своего бая — помещика Педота.[20] У Педота была свора борзых, которой он гордился перед соседними баями, а у одного из них была хорошая гончая, которую тот никак не хотел продать. Однажды этот бай увидел сестру Керала — она была красивой девушкой, еще двадцати лет ей не было. И этот бай сказал Педоту, что согласен променять свою гончую на эту девушку. Ее забрали в дом Педота. Керала тихо подкравшись, заглянул в окно. И, увидев, как бедная его сестра защищалась от старого бая, Керала кинул в окно топор и поразил бая. После этого он решил, что ему все равно несдобровать. Уж если гибнуть, так отомстив за все… У русских есть такое выражение: «красный петух» — это когда сжигают дом и имущество врага. Керала ночью пустил в дом своего помещика «красного петуха». Два месяца скрывался он, нападая на имения баев своей округи, мстил угнетателям. Два раза помещики устраивали облаву, но взять Керала не смогли. В третий раз храбреца окружили царские солдаты, поймали, заковали в кандалы. Вначале суд назначил ему смерть, но потом вместо быстрой казни сослали на пожизненную каторгу. Ему было двадцать пять лет, когда он стал мстить врагам. Вот уже тридцать лет, как он влачит на каторге свою жизнь…

— Ой, горемычный! Какая сила пропадает! — воскликнул слушавший с жадностью Абылгазы.

Даркембай пощелкал языком, сокрушенно кивая головой:

— Несчастный… Но он указал путь другим отважным!

— Да, и таких там много, — подтвердил Базаралы. — Видел бы ты, сколько молодых крестьян пригнали на каторгу за эти годы! Все они бунтовали против своих баев. И, оказывается, не только с ними вступили они в борьбу, а и с царскими слугами, с самим царством, и такая борьба кипит по всей России. Я видел отважных крестьянских вожаков, много наслышался от них. Вот кем восторгаться надо! Они борются не по-нашему, не в одиночку — собирают народ и обрушиваются на врага целой лавиной… Вот это легенды, — что там «Тысяча и одна ночь», что там «Бахта-жар!» Слушая их, я всегда терзался расскаянием: оказывается, я утонул в чашке воды — попал на каторгу, ничего не сделав… Я все время жалел о том, что не нанес врагам такого удара, который они помнили бы долгое время, который заставил бы их пожалеть о своих злодеяниях.

Даркембай слушал Базаралы с волнением, всей душой понимая, о чем сожалеет Базаралы. Жажда справедливой мести, накопившаяся в его старом сердце за долгие годы унижения и гнета, с особой силой вспыхнула в нем. Он с наслаждением слушал рассказ о дерзких бунтарях, смелых, непокорных русских бедняках и, кивая седой головой, удовлетворенно улыбался. Когда Базаралы замолчал, старик повернулся к нему.

— Я вижу, ты не зря вспомнил все это сегодня. Должно быть, ты хочешь подзадорить самого себя. А знаешь, что я тебе скажу, пока мы тут втроем? — И Даркембай в упор взглянул на Базаралы своими острыми серыми глазами. — Помнишь, мы ведь и раньше часто говорили о бедствиях народа, да говорили все без толку. Слова так и оставались словами. Одни из нас со слезами и стонами уходили в ссылку, другие безропотно давали связать себя по рукам и ногам. Известно, какая строптивость у казахов! Пошумят — и все равно аркан остается на нашей шее. Я хочу, чтобы ты наконец понял это! Подумай о себе: грозишься ты сильно, а бьешь слабо — вот эта досада и состарила меня! И сегодня опять то же? Выходит, дряхлому Даркембаю, уже свалившемуся от бессилия в постель, только и остается, что умирать без всякой надежды на будущее? Нет уж, хватит! Если хочешь действовать, так действуй! Уж если умирать, так умри, хоть раз взмахнув мечом!

Базаралы и Абылгазы удовлетворенно переглянулись. Слова Даркембая понравились Базаралы, и он даже повторил их:

— «Грозишься сильно, а бьешь слабо…» Что за слова! Метко и остро сказано! — воскликнул он.

— Это не слова, а удар дубинкой прямо по голове! И веский удар! — восхищенно подхватил Абылгазы и добавил — Что ж тут говорить, Базеке? Теперь надо только садиться на коней… Ну, доброго нам пути, да исполнятся желания наши!

И он быстро поднялся с места, словно продрогший путник, который хочет скорее согреться движением.

Абылгазы был человеком, у которого слово сопровождается делом, а подчас дело даже опережает слово. О таких людях говорят: «Впереди — гнев, а за ним — разум». Он давно понимал, что в походе, который замыслил Базаралы, его место впереди всех: кому же, как не Абылгазы вести в бой жигитов? И теперь, как бы показывая, что время действовать настало, он встал первым.

Была уже полночь. Друзья быстро оделись и вышли из землянки. Даркембай помог им сесть на коней и благословил на тот путь, о котором говорил Абылгазы. Старик взял прислоненные к низенькому забору два черных шокпара[21] и поднял их над головой.

— Я уже думал, что они истлеют вместе со мною, что никто не взмахнет ими… Возьмите их, жигиты! Пусть еще раз взлетят они вверх, пусть застывший мой гнев обрушится вместе с ними на давнишних врагов!.. Ну, доброго пути, тигры мои! Вперед! — сказал он.

И он долго еще смотрел вслед скачущим друзьям.

В это же время со стороны Байгабыла, из отдаленных аулов жатаков, выезжали и другие всадники. Двигаясь отдельными кучками по ложбинам, все они к рассвету собрались на осеннем кочевье бокеншинского рода Акеспе. Их было сорок пять смелых жигитов, вооруженных соилами и шокпарами.

Зимняя заря медленно вставала над равниной. Снег, шедший всю ночь, покрыл землю толстым покровом, доходившим коням до щеток. Абылгазы уже объяснил собравшимся, куда и зачем они направляются, и теперь давал последние распоряжения:

— Всего вас сорок пять жигитов. Пятеро — жатаки, люди из здешних аулов. Если бог пошлет удачу и замысел наш осуществится, вам, пятерым, незачем уходить вместе с нами к далекому Чингизу. Возьмите то, что каждому из вас достанется, и сразу же возвращайтесь сюда, в свои аулы. Дайте каждому из ваших домов свою долю и спокойно оставайтесь здесь!

Затем Абылгазы заговорил с жигитеками. Отделив пятнадцать всадников, он объяснил им их действия.

— Вы в схватку не кидайтесь. Ваше дело — только угнать коней. Будете гнать табун через Ойкудык, через Ералы к предгорьям Малой Орды. Не оглядывайтесь ни назад, ни по сторонам, гоните быстрей! Догоним вас после. Главным у вас будет Сержан. Слышишь, Сержан? Поняли?

— Поняли! Да будет по-твоему! — послышались быстрые ответы.

Абылгазы рассмеялся.

— Вот это ответ! Я вижу, вы нынче готовы к прыжку. Бодры, словно дикие звери, повалявшиеся на белой пороше!

Потом Абылгазы подъехал к остальным двадцати пяти жигитам. Под этими кони были покрепче, и сами они, один к одному, были молодые, сильные, рослые, как Абды и Аскар. Березовые соилы, которые одни держали под мышкой, а другие сунули под ремни стремян, глухо стукались друг о друга. Этим жигитам Абылгазы предназначил другое дело:

— Вы вступите в бой. Не попадайтесь в плен. Это — первое. Умрите, но не давайтесь в руки врагу! Если кто-либо попадется, остальные старайтесь выручить его! Врага же бейте так, чтобы никто не мог бежать и сообщить своим о набеге. Валите их подряд! Это — второе. Сбив с седла врага, не бросайте его коня: схватите поводья, ведите за собой! Чтобы ни одного коня не осталось у врагов, иначе они пошлют за помощью. Это — третье. Нападая, наваливайтесь на врага всей толпой, не рассыпайтесь поодиночке! Врагов бейте со всего размаху, бейте так, чтобы до ночи не очухались! И еще вот мое слово. Ведь под вами куцехвостые клячи бедняков, а путь наш сегодня не кончится. Не раз нам придется довести коней до седьмого пота. Поэтому, как только добьемся перелома в бою, быстро смените своих кляч на жеребцов, яловых кобыл, выбирайте коней покрепче!

Потом он снова обратился к первой группе:

— Вот еще что. Если бой будет удачен и мы уйдем без погони, берегите захваченные табуны! Путь долог, а земля покрыта снегом. Не гоните коней как попало. В табунах будут и молодняк и жеребые кобылы — им не выдержать быстрого похода. Берегите добро, которое пойдет вашим же братьям!

Абылгазы повернул коня к горам Шолпан и крупной рысью повел за собой оба отряда. Базаралы поехал рядом с ним.

За все время Базаралы не произнес ни слова. Достаточно было того, что он был здесь и что теперь скакал впереди всех. С каждым из жигитов в отдельности он говорил раньше, задолго до похода зажег пламенными словами их сердца, пробудил в них гнев и жажду мести.

Цель похода бедняков приближалась. Быстрой рысью всадники пересекли урочища Жокен-кудыгы, перевалили две-три возвышенности у подножья гор Шолпан и задержались у последнего холма, поджидая отставших. Когда все собрались, Абылгазы подал знак, и всадники стремительно взлетели за ним и за Базаралы на вершину перевала. Отсюда открылась вся долина. Множество коней паслось на снегу, растянувшись от подножья холма в направлении к горам Шолпан. Там и здесь виднелись всадники, вооруженные соилами.

Абылгазы резко затянул поводья и повернулся к жигитам. Взмыленный серый его конь, раздув ноздри, бил копытами снег, вертясь на месте. Подняв над головой черный шокпар, подаренный Даркембаем, Абылгазы указал всадникам на долину.

— Жигиты, мы добрались до цели! Вот табун заклятого врага нашего — Такежана. Восемьсот голов! Мы их сейчас угоним! Ни одного стригуна не оставляйте, ни одной самой лядащей лошаденки! Глядите, вон там такежановские табунщики. Вам ли бояться этих неповоротливых дурней с хворостинками в руках? Сшибайте их с седел, садитесь на их коней, а своим закиньте поводья на шею и гоните вместе с косяками! Ну, голытьба, вперед! Держитесь вместе, ринемся на врага плотной тучей! Да будет удачным поход бедняков! Вперед! Бей их! Бей! — выкрикнул он и ударил плетью своего серого.

Жигиты ринулись за ним. Взвихривая рыхлый снег, отряд лавиной покатился по склону холма. Топот, гиканье, боевой клич «кеу-кеу», свист, перестук соилов вспугнули мирно пасущиеся табуны. В косяках Такежана кони привыкли к вольной жизни на тихих, безлюдных пастбищах. Полудикие степняки, горячие и строптивые, не дали и приблизиться людям, храпя и фыркая, они понеслись во весь опор к горам Шолпан, развевая на скаку гривы и хвосты. Комья снега, вырвавшиеся из-под тысяч копыт, покрыли равнину белым туманом; казалось, внезапно поднялась пурга. Пятнадцать жигитеков и пятеро жатаков, выделенные Абылгазы для отгона табунов, едва поспевали за ними, гиканьем и криками наводя на коней еще больший ужас.

В то же время двадцать пять жигитов, тесной кучкой скакавшие за Абылгазы, ринулись на табунщиков, которые, завидев нападающих, тоже попытались собраться вместе. Около двух десятков их уже устремилось навстречу Абылгазы, крича и размахивая соилами.

Закутанные поверх чапанов в толстые балахоны из грубой шерсти и напялившие на малахаи для защиты от ветра широкие башлыки, табунщики казались сказочными великанами. И кони были им под стать: упитанные яловые кобылы, крупные жеребцы с волнистыми гривами, висящими до колен. Медленно шагая с самого утра в охране табунов, они ни разу не вспотели, мороз покрыл инеем их длинную шерсть, превратил челки на лбу в сосульки, и теперь они походили на огромных мохнатых чудовищ.

Среди табунщиков был и Азимбай, резко выделявшийся в своем лисьем малахае и в светло-желтой дубленой овчине. Багровое лицо его распухло от холода, веки еще больше покраснели.

Присутствие здесь Азимбая не было случайным. Еще с того дня, когда Базаралы пытался объясниться с Такежаном, он был настороже. Сын алчного, подозрительного и хитрого Такежана оказался умнее, прозорливее и своего отца и всей родни. «Если Базаралы задумал мстить, он начнет с того, что угонит скот», — решил Азимбай и принял свои меры. Он приехал на пастбище, расставил табунщиков в охрану и остался следить за ними.

Едва отряд Абылгазы появился на вершине холма, Азимбай сразу понял, что это означает. Он тотчас поскакал по косякам, собирая табунщиков.

— Это не путники, это враги! Умрите, но не отдавайте коней! Бейтесь смело!.. Нападайте сами! — кричал он.

Но табуны уже помчались. Азимбаю удалось задержать табунщиков, которые, делая вид, что пытаются догнать напуганные косяки, спасались от нападающих. Яростно ругаясь, он собрал вокруг себя больше двадцати человек.

— Не в табунах сейчас дело, пусть скачут! Надо отбить врагов! — кричал он и, вырвав из рук подростка-табунщика соил, повел своих людей навстречу Абылгазы.

Обе группы всадников, стремительно мчавшиеся друг на друга, столкнулись на снежной поляне у зарослей таволги. Базаралы раньше других узнал Азимбая и крикнул своим жигитам:

— Вот сынок Такежана скачет навстречу! Свалите сперва его, а за табунщиков приметесь после.

Азимбай скакал в середине своего отряда. С двух сторон его охраняли два огромных жигита на рослых конях — рыжем и вороном. Когда обе группы сшиблись, Базаралы и Абылгазы оказались прямо против Азимбая. Его телохранители одновременно взмахнули соилами.

Искусству биться соилами на конях Базаралы и его друг обучались с малых лет. Они легко отбили нападение обоих великанов, под могучим ударом Базаралы соил табунщика на вороном коне переломился, как тростинка. Но не успел Базаралы обернуться, как Азимбай, воспользовавшись удобным случаем, подскакал к нему, хрипло крича:

— Не успокоюсь, пока не уложу тебя!

Он со всего размаху хватил Базаралы соилом по голове и торжествующе выругался. Но тут же удар по затылку ошеломил его: это Абылгазы, справившись со своим противником, пустил в дело черный даркембаевский шокпар. Соил выпал из рук Азимбая. Потеряв поводья, он всем телом откинулся на круп коня. Базаралы, еще не оправившись от удара, врезался между ним и табунщиком, пытавшимся поддержать хозяйского сына. Крепко схватив Азимбая железной рукой за воротник тулупа, Базаралы потащил его с седла и, с силой ударив другой рукой по лицу, сбросил с коня, которого тотчас же схватили за поводья подскакавшие жигиты.

Чернобородый детина на вороном коне, тот, из рук которого Базаралы вышиб соил, теперь, подобрав другой, снова налетел на Базаралы. Это был тот самый жигит, кто на покосе в Шуйгинсу был готов ударить косой по ногам Абды. Он яростно размахнулся, но Базаралы изо всей силы стукнул шокпаром по его колену, не защищенному толстым тулупом. Чернобородый охнул, соил его скользнул по плечу Базаралы. Согнувшись от боли, словно переломившись пополам, огромный жигит свалился со своего жеребца. Базаралы сам не ожидал, что схватка с этим великаном закончится так быстро, и, несмотря на боль в голове и плече, невольно усмехнулся, обернувшись на поверженного противника. Огромный, закутанный вдобавок в толстый тулуп и балахон, он, пытаясь встать, бился на снегу, словно громадный беркут, раненный в крыло.

Рядом сражался Абылгазы. Даркембай не зря доверил ему свой черный шокпар: под ударами жигита с коней слетели еще три табунщика.

Силы противников были почти равными: табунщиков было немногим больше. Но стоило сбить с коней Азимбая и двух старших табунщиков, как остальные бросились в бегство, рассыпавшись по долине. Абылгазы приказал своим жигитам пересесть на всех оставшихся без всадников коней. Белого коня Азимбая он отдал силачу жигиту Месу.

— Не давайте никому удрать! Сбивайте с коней всех! Всех оставьте пешими! Если хоть один останется на коне, он даст знать в аулы о набеге! — кричал Абылгазы.

Он послал Меса с несколькими жигитами за одной кучкой беглецов, а сам с десятком других ринулся за остальными. Часть жигитов осталась около Базаралы.

К полудню все табунщики до единого остались без коней, часть из них лежала на снегу без памяти. К этому времени жигиты, гнавшие табуны, уже перевалили Шолпан, пересекли Ойкудык и достигли долины Ералы. Весь громадный табун, в восемьсот коней, был пригнан сюда, не оставили ни одного стригуна. Здесь их нагнали Базаралы и Абылгазы со своим отрядом и подозвали к себе пятерых жатаков.

— Получите вашу долю и раздайте своим, — сказали они и выделили для сорока семей жатаков сорок сильных коней. Кроме того им отдали двадцать отгульных кобылиц.

— Что будет дальше, увидим после. Конем больше, конем меньше — один ответ держать! — сказал Базаралы. — Своими руками я все это сделал, своей головой и буду отвечать. Пусть родичи мои, жатаки, ничего не боятся! Этих сорок коней оставьте на тягло, у вас их никто искать не станет. Будете возить на них в город на продажу сено, купите еды и одежды. А кобыл теперь же зарежьте на мясо! — закончил он и отпустил жатаков, передав привет Даркембаю.

К ночи жигиты пригнали весь остальной табун в Шуйгинсу, пройдя почти вплотную мимо спавшего аула Такежана. В эту же ночь Базаралы роздал коней беднякам жигитекам. Такежановский табун был поделен между неимущими аулами, раскинувшимися на широком пространстве урочищ Шуйгинсу, Азберген, Караул — до отдаленного Колденена у Чингизских гор. Посылая коней, Базаралы передавал каждому аулу строгий наказ: «Пусть вам и в голову не придет держать у себя хоть одного из этих коней для езды и работы! Их можно использовать только на мясо. В эту же ночь зарежьте присланных лошадей. Разорил Такежана я, один я, Базаралы. Всю тяжесть ответственности беру на себя. Пускай бедняки ничего не боятся и пользуются тем, что наконец попало им в руки!»

Начало зимы всегда бывало самым трудным временем для казахского аула: молочная пища уже сократилась, а резать на мясо скот еще не начинали — он мог еще нагулять вес. Скот резали позже, с наступлением настоящей зимы. Тогда шкуры и мясо посылали в город и на вырученные деньги покупали чай, муку, сахар. Осенью же даже богатые аулы резали только старый скот, которому трудно было перенести зиму. Про эти месяцы говорили: «Время, когда толстый становится тоньше, а тонкий и вовсе рвется».

В эти тяжелые дни, когда люди, дожидаясь наступления зимы, терпели лишения, неожиданная помощь Базаралы, приславшего бедным аулам скот, спасла их от голода. Приказ его был выполнен точно: во всех аулах жигитеков-бедняков, на Шуйгинсу, Карауле, в горах Чингиза, резали присланных коней.

Огромный табун Такежана исчез в одну ночь.

4

Весть о дерзком набеге с быстротой молнии облетела все Тобыкты. В следующие дни об этом стало известно далеким кереям и уакам, на западе — каракесекам, на востоке — сыбанам и найманам. Известие встряхнуло всю степь, как ударом землетрясения. Одни, хватаясь руками за ворот в знак удивления, слушали с нескрываемой тревогой, другие же — с удивлением, с радостью. Третьи повторяли в паническом страхе:

— Наши аулы постигло грозное несчастье, обрушилось кровавое бедствие!

Пересудам не было конца.

— Такого никогда не бывало! Ни в какие времена никто не решался на такой набег! Всегда бывали раздоры и вражда, но для такого пожара нужно неугасимое пламя ненависти…

В самом деле, не только нынешнему поколению Тобыкты, но и старикам не приходилось быть свидетелями такого разгрома. И прежде бывали жестокие набеги. Всем известны и «набег шоров», и «нашествие найманов», и «налет Буры», которые глубоко врезались в память. Но это было давно. Да и при этих набегах табуны только угоняли; никто не помнит случая, чтобы коней поголовно уничтожили, как это случилось теперь. Как бы сильна ни была вражда, как бы упорна ни была тяжба, коней обычно захватывали как залог — до вынесения приговора или до обоюдного соглашения, возвращая их после этого владельцу.

Степная знать — аткаминеры и старейшины — с возмущением говорила:

— Никто, кроме Базаралы, не смог бы решиться на это. Видно, на каторге научился он кое-чему у разбойников и убийц!

В бедных же юртах перешептывались:

— Как тигр на них прыгнул… Наконец-то побил как следует!

В глазах множества простых людей Базаралы предстал человеком, отомстившим богачам за обиды, оскорбления и лишения.

Первым узнал о набеге аул Такежана. Придя в себя, Азимбай послал одного из табунщиков на зимовку у подножья гор Шолпан с просьбой прислать трех коней. Поддерживаемый в седле двумя табунщиками, он к рассвету добрался до аула отца. Голова его была перевязана полотенцем, кровь, просочившаяся сквозь повязку, запеклась на лице. Когда бледного и ослабевшего Азимбая жигиты бережно снимали с коня возле юрты Такежана, на вопли и плач Каражан сбежались все, кто был в ауле. Такежан, обняв сына, громко зарыдал. И он и Каражан в ярости кричали о мщении врагам, об оскорблении, нанесенном не только кунанбаевцам, но и всему роду Иргизбай. Аксакалы и карасакалы[22] с гневом поддерживали их.

— Лучше б нам провалиться сквозь землю, чем терпеть такую обиду!.. Отомстите, не щадите разбойников! — кричали они.

В тот же день поскакали гонцы во все богатые аулы, ко всем крупным баям, биям, аткаминерам, старейшинам всех родов Тобыкты. Базаралы сразу же стали называть разбойником, грабителем. Такежану выражали сочувствие.

Набег вызвал гнев и возмущение не только в близких Иргизбаю родах Тобыкты: все богатые аулы соседних племен — Уака, Сыбана, Наймана, Керея, Буры, Каракесека — приняли весть о разгроме Такежана как личную обиду. Более того, злоба и зависть, которые внушал к себе и к кунанбаевцам властный и алчный Такежан, были забыты. Казалось, перед всеми этими богатыми аулами вдруг встал во весь рост один общий, равно ненавистный всем враг.

В ближайшие же три-четыре дня весть о неслыханном набеге дошла и до Семипалатинска. Городские торговцы-казахи, управители ближайших к городу волостей осаждали начальство, поддерживая прибывших из степи жалобщиков. Канцелярии крестьянского и уездного начальников были битком набиты волостными, переводчиками, торговцами, которые единодушно просили вступиться за кунанбаевцев.

Уездный начальник Казанцев тотчас выслал в аул управителя Чингизской волости «почту с пером». Прибытие русского стражника с шашкой и посыльного уездной канцелярии страшно перепугало Кунту.

Они не дали ему и опомниться:

— Садись на коня, скачи с нами в город! Уездный зовет!

В ауле Кунту находились Жиренше и Бейсемби, которых он пригласил к себе, как только узнал о набеге. Поступок Базаралы привел в смятение всех троих. Они не могли прийти в себя, не находили выхода. Кунту страшило больше всего то, что ему, как блюстителю порядка в волости, придется отвечать перед начальством.

Он пригласил также Уразбая, Абралы и Байгулака, которые еще вчера были его единомышленниками. Не они ли еще недавно подливали масло в огонь, подстрекая Базаралы? Кунту надеялся, что заправилы таких сильных родов, как Есполат, Сактогалак, Жуантаяк, будут все-таки на его стороне. Одно появление их в его ауле могло бы в значительной степени сдержать озлобленный натиск кунанбаевцев.

Однако за исключением двух-трех аткаминеров на стороне Кунту не оказалось ни одного из тех богатых и влиятельных людей, которые точили зубы на кунанбаевцев. На приглашение Кунту они не отозвались. Значит, бросили его одного. В решительный час они, вместо того чтобы показать клыки, предпочли шмыгнуть в кусты.

По правде говоря, Уразбай, Абралы, Жиренше да и сам Кунту не ожидали от Базаралы такого поступка.

— Разве на такое страшное дело толкали мы его? — негодовали они. — Базаралы начал не борьбу, а разбой! Что же будет, если завтра он натравит голытьбу на других аткаминеров и начнет поголовно резать их табуны и стада? Кого бы ни постигла такая беда, имя ей — погром, злодейство. Говорят, «от злодея сам святой бежит…»

В этот же день, еще до приезда «почты с пером», в аул Кунту прискакали двадцать человек из рода Иргизбай. Их возглавляли Исхак и Майбасар. Они говорили с Кунту грубо, вели себя вызывающе.

— Волостной — ты! За это злодейство ты ответишь своей головой, своим имуществом! — угрожали они. — Какое нам дело до оборванца Базаралы? Он хищный волк, одиноко рыщущий в поле. Но логово его здесь! За его дела мы взыщем сполна с тебя!

Не найдя ни защитников, ни опоры, не надеясь на силу своего малочисленного рода Бокенши, Кунту сразу сдался.

— Делайте что хотите! Никто не спасет меня от вас — подобострастно заговорил он. — Я не стану покрывать Базаралы… Только не судите вместе с ним, отделите меня от его кровавых злодеяний!

Майбасар и Исхак были полны давней злобы на Кунту: они не могли простить ему того, что вместо Оспана стал волостным он. И теперь они грозили ему:

— Не надейся вырваться из наших когтей! Если бы волостным был не ты, разве посмел бы Базаралы вернуться? И разве решился бы он напасть на такой могущественный аул, как аул Кунанбая, который боится одного только бога? Конечно, он рассчитывал на твою защиту!

Они требовали, чтобы Кунту выехал в город и попросил отставки. Всем было известно, что грозный Казанцев давно держит сторону кунанбаевцев. «Почта с пером» была тому лишним доказательством.

С толстого, здоровенного Кунту пот лился градом. Глаза его беспокойно бегали по сторонам, он побелел, на нем не было лица.

— Сниму с себя должность, печать отдам в ваши руки, только пощадите мою душу! — умолял он кунанбаевцев.

И тут же поскакал в город.

В самый разгар этих событий на Такежана обрушилась новая напасть. На этот раз причиной ее были не люди, а стихия.

Короткий осенний день уже клонился к вечеру, когда за далекими волнообразными гребнями Чингизских гор показались плотные черные тучи. Все выше поднимаясь тяжелыми клубами, как бы расширяясь и вспухая, зловещие облака скоро закрыли весь южный край неба.

Внезапно часть этих туч отделилась от общей массы и с угрожающей быстротой понеслась по направлению к урочищам Мусакул и Шуйгинсу, где расположились юрты и стада Такежана. Тучи, клубясь, неслись с упрямой яростью, как бы преследуя кого-то. Небо все темнеет и темнеет. По степи резкими порывами задувает пронзительный, холодный ветер. Подобно разведчику, он летит впереди наступающих туч, указывая им дорогу. Порывы его становятся все крепче, все чаще — и вот наконец начался непрерывный ураганный ветер, с каждой минутой все более и более холодный.

К этому времени весь скот уже сбился в ауле, ища защиты за тростниковыми изгородями, поставленными между юртами. Сумерки быстро перешли в ночную темень. Человеческий глаз уже не различал того, что творилось на небе. В полной темноте неистово бушевал ураган. Отчаянной жалобой стонали густые кустарники, со свистом склонялись стебли чия. Казалось, весь мир превратился во все уносящий с собой воющий поток адских звуков. Тревожный шум стоял и над самим аулом: напуганный ураганом скот мычал и блеял, возбужденно и яростно лаяли собаки, ржали кони.

Такежан и Азимбай, поняв опасность, давно уже одевшись потеплее, носились по аулу.

— Берегите скот! Смотрите, чтобы не погнал его ветер! — кричали они то там, то здесь.

— Следите за изгородями! Выходите все на улицу! Бегите к скоту!

— Главное дело, подпирайте изгороди, иначе не удержим скот!

Разогнав по отарам и стадам не только мужчин и женщин, но даже детей, Такежан скакал по аулу из края в край, беспрерывно приказывая:

— Больше шумите! Пусть скот чувствует, что его сторожат! Подавайте голос овцам, кричите: «Шайт, шайт!» Коз загоняйте!.. Громче галдите, во все горло, чтобы волки не налетели!

Пастухи, доильщики, истопники, служанки, ежась от дикого ветра в своих лохмотьях, забыв о себе, берегли байский скот. Спасать добро Такежана вышли все люди аула за исключением семьи старой Ийс. Такежан кинулся к этой ветхой лачуге.

Иса, весь день пасший на морозе овец, к вечеру свалился. Сейчас он лежал в своей дырявой юрте, стуча зубами от озноба, не в силах согреться. Стремительный ветер насквозь продувал черную лачугу; казалось, все в ней, содрогаясь от ужаса, сжалось в комок. Жена Исы, прижав к себе обоих малышей, прикрывала их подолом; старуха Ийс, собрав всю одежду и навалив ее на сына, пыталась согреть его глотком горячей воды, проклиная баев:

— Во всем их овцы виноваты!.. Почему они не сгинут, как их кони? Не умирать же тебе из-за его скота! Глотни хоть горячего!

Снаружи раздался грозный голос Такежана:

— А почему из этой юрты люди не выходят?! Что тут, все померли? Где Иса?

Старуха подбежала к двери:

— Иса свалился, обмерз! Целый день с овцами был.

— Пусть выходит скорее! Скот в опасности! Нечего тут валяться, когда беда идет!

Ийс в отчаянии крикнула:

— Я выйду за него! Не может он, лежит!

И, не слушая сына, который пытался ее остановить, на выскочила из юрты.

Иса попытался подняться, но страшная усталость сковала его. Малыши в страхе прижались к нему. Старший, Асан, испуганно заговорил:

— Отец, посмотри, как дрожит юрта! Не снесет ее бураном? Что с нами будет, если ее свалит!

В самом деле, все ветхие связи юрты угрожающе трещали, войлок то и дело с треском хлопал по остову. Казалось, эта жалкая лачуга пугливо содрогается под страшным натиском и жалобно взывает о помощи. Иса и сам подумал, выдержит ли юрта, но поспешил успокоить сына:

— Засни, родной, юрта у нас крепкая. Спи спокойно! — И, прижав к себе Асана, Иса неожиданно для себя провалился в глубокий сон.

Его разбудил тревожный голос матери.

— Ойбай, свет мой Иса! Сорвало изгородь, овец погнало бураном в степь… Азимбай там беснуется, ищет тебя, грозится… Что делать, родной мой?

Иса быстро сел и почувствовал, что сон подкрепил его. Он решительно встал.

— Ну, я пойду, а ты ляг тут! Смотри, вся закоченела! Лежи и грейся!

И, схватив черный шокпар, он выбежал на улицу и тут же столкнулся с Азимбаем и Такежаном.

— Как ты смеешь валяться дома, собака, когда мои овцы гибнут? — закричал Такежан.

— Из-за них я свалился, весь день был с ними, — попытался объяснить Иса.

— Еще оправдывается, негодяй! — возмутился Азимбай и с бранью кинулся на жигита. — Избить тебя мало!

И ударил Ису по плечу толстой палкой. Тот, мгновенно обернувшись, схватился за палку, и с силой потянул ее к себе. Голова Азимбая близко придвинулась к нему. Над широкой черной бородой, как из черной пучины зла, возникло бледное, искаженное злобой лицо с оскаленными хищными зубами, зловеще блестевшими во тьме. Белая повязка на лбу закрывала рану, полученную Азимбаем в схватке с Абылгазы; казалось, именно она и была источником бешеной ярости, сотрясавшей молодого хозяина. Всем своим обликом он напоминал хищного зверя, выползшего из ночного мрака, чтобы терзать беззащитных людей.

Невольно отшатнувшись от страшного лица Азимбая, но не сводя с него глаз, Иса крепко удерживал палку.

Такежан остановил сына, пытавшегося ее вырвать, и торопливо сказал пастуху:

— Бураном угнало много овец… Беги за ними! Догони, останови!.. Погибнут овцы…

Иса толкнул Азимбая и побежал. На нем был только ветхий, изодранный чапан, стоптанные сапоги зияли дырами. С первых же шагов он почувствовал пятками сырость и холод. Но мысль об этом уже не могла его остановить. Жалость к гибнущим овцам заставляла его бежать во всю мочь.

Он пробежал мимо загонов, где люди, окружив отару овец, крича, теснили их к юртам. Иса на бегу спросил, в чем дело. Никто не знал, сколько овец угнало бураном: среднюю изгородь внезапно сорвало, и часть овец исчезла.

Иса тоже побежал по ветру, то и дело громко крича: крик мог остановить овец, а кроме того, отогнать волков, если они учуют скот.

Только теперь он заметил, что льет сильный холодный дождь, смешанный со снегом. Лицо, шея и руки Исы чувствовали острые удары ледяных крупинок, точно сотни иголок впивались в тело. Каково же было терпеть это овцам? Опустив низко голову и подставляя урагану только спину, они стремятся спрятаться друг за друга и несутся наперегонки быстрой, неудержимой лавиной.

Наконец, запыхавшись и от быстрого бега и от непрерывных криков, Иса все-таки догнал овец. Успокаивая их окриком «шайт, шайт!», он попытался пробраться в середину, но овцы, прижимаясь на бегу одна к другой, не давали ему проходу. Задерживая шокпаром крайних овец, Иса наконец обогнал гурт и, впервые повернувшись против ветра, только теперь почувствовал всю силу урагана. Плотные ледяные струи воздуха раскрыли ворот его чапана, обожгли стужей грудь. Нельзя было поднять лица, нельзя было вздохнуть. Запахнув воротник и нагнув голову, с трудом держась на ногах, Иса стал на пути овец, успокаивая их голосом, останавливая шокпаром и руками. Испуганное стадо задержалось. Здесь было около пятидесяти овец.

Но в тот самый миг, когда Иса решил было, что овцы спасены, из снежной пелены выскочила какая-то темная масса, и все стадо испуганно кинулось врассыпную. Иса услышал лязг зубов, тяжелое дыхание и в ужасе понял, что это была стая волков. Бегущие с отчаянным блеянием овцы как будто молили у Исы защиты. Пусть это стадо злодея Азимбая, пусть эти овцы байские, но чем же они виноваты? Как можно отдать их на растерзание хищникам? Иса с детства находился среди этих мирных, безобидных животных, и сердце его сейчас сжалось. Неожиданно для себя он в порыве нерассуждающей отваги с грозным криком кинулся на волков. Безоружный, одинокий человек встал против четырех сильных зверей.

Даже не посмотрев на него и как бы не услышав его окрика, волки пробежали мимо и набросились на овец. Не успел он оглянуться, как белая матерая волчица быстро повалила рослую овцу, остальные рванулись к другим.

Поняв, что криком отогнать хищников нельзя, Иса бросился к волчице, терзавшей свою жертву. Когда он подбежал вплотную, она, разорвав горло овце, подняла морду, оглядываясь, на кого еще кинуться. Жигит изо всех сил ударил ее шокпаром по носу и тут же размахнулся для нового удара. Но, к его удивлению, волчица упала как подкошенная рядом с растерзанной ею овцой.

Исе приходилось слышать, что удар по кончику носа может замертво уложить и собаку и волка, но успех поразил его самого.

— Ага, получила! Ну и лежи!

И, стукнув для верности волчицу, еще раза два, он пустился за овцами.

А те мчались неудержимым потоком. До смерти перепуганные, они бессмысленно метались взад и вперед. И при каждом повороте волки хватали очередные жертвы, валили наземь и, торопливо разорвав им горло, прыжками кидались за новыми. Попадая в отару, волк не может удержать своей бессмысленной алчности. Он стремится убить одну овцу за другой, как будто рассчитывает забить овец про запас до конца своей жизни. Так же поступали теперь и трое оставшихся волков. Они лишь убивали овец, не отведав ни куска мяса, ни глотка горячей крови.

Овцы повернули к Исе, и один из волков, погнавшись за ними, набежал прямо на жигита. Тот снова со всего размаху опустил шокпар на кончик его носа, и хищник мгновенно перекувырнулся. Это был молодой волк, один из сыновей белой волчицы. Он и его брат сегодня впервые напали на целое стадо и поэтому расправлялись с овцами с алчной и беспощадной яростью. Добив и его вторым, смертельным, ударом, Иса снова кинулся за убегающим стадом.

Хотя ему еще не удалось спасти ни одной овцы, победа над двумя лютыми хищниками радовала его. В этой борьбе он забыл про буран и мороз, забыл и про недавнюю слабость. Сейчас он чувствовал такую стойкую, крепкую силу, такую отвагу, которых никогда в себе не знал. Ему и в голову не приходило отступить, хотя такая схватка с волками и грозила смертельной опасностью. Стиснув зубы, он был готов биться дальше, вытерпеть все, что бы с ним ни случилось.

Подбежав снова к овцам, он заметил, как третий волк повалил еще одну овцу. На этот раз Иса смог ударить зверя только по затылку. Волк зарычал, отпустил овцу и повернулся к Исе, чтобы кинуться на него. Однако ноги его подкашивались от сильного удара, и сделать прыжок он был не в силах. Иса вновь повторил испытанный удар по кончику носа, добив и этого волка.

Теперь овцы, как бы понимая, что жигит их защищает, бегали вокруг Исы, жалобно блея. В самую гущу их прыгнул огромный матерый волк, которого жигит до сих пор не замечал. Это был сам вожак стаи. Он один зарезал уже около десятка овец. Избрав себе новой жертвой крупного жирного барана, он могучим ударом повалил его на землю. Иса подбежал с поднятым шокпаром. Зверь, яростно рвавший в клочья загривок барана, не поднял даже головы. Иса изо всей силы ударил волка по темени. Грозно зарычав, хищник обернулся и мгновенно кинулся на жигита. Ударить зверя еще раз было уже поздно: он был слишком близко. Тогда Иса с внезапной решимостью протянул перед собой шокпар, зверь наткнулся на него грудью. Это ослабило яростный прыжок, и страшная пасть, лязгнув зубами, сомкнулась на левом плече жигита, не затронув тела, а лишь разорвав чапан. Иса рывком освободился от рукава и, отпрыгнув с громким криком, которого волки обычно пугаются, еще раз взмахнул шокпаром.

Но и теперь его торопливый удар пришелся не по носу волку, а по голове. Струя горячей крови залила волку глаза. Слабея, он все же снова прыгнул к жигиту, раскрыв пасть.

«Ну, видно, одному из нас не уйти, — подумал Иса. — Пусть будет так!» И, бросив бесполезный уже шокпар, он сам стремительно кинулся вперед и схватил волка за горло. Стоя только на задних ногах, огромный зверь никак не мог опрокинуть смелого жигита, а тот изо всех сил, как железными клещами, сжимал обеими руками его горло. Кровь, струившаяся из разбитой головы волка, липкими горячими струйками текла по рукам Исы; зверь хрипел, но продолжал крепко держаться на ногах, судорожно лязгая зубами перед самым лицом жигита.

Онемевшие пальцы Исы все больше слабели, он сам готов уже был в изнеможении свалиться, но страх ни на миг не закрался в его отважное сердце. Сколько времени простоял он так, сдерживая могучего зверя и пытаясь его задушить, он уже не понимал.

И когда он почувствовал, что пальцы его вот-вот разожмутся, пришла неожиданная помощь. Вслед за Исой из аула послали еще одного бедняка, чабана Канбака. Услышав крики Исы, он поспешил к нему. Иса мог только проговорить:

— Нож… бей в сердце…

Канбак вытащил свой длинный нож и нанес два смертельных удара в грудь стоящего на задних ногах волка. Огромный, величиной почти с жеребенка волк грузно повалился на землю, как срубленное дерево. Вместе с ним упал и Иса. Он и сам не понимал, каким нечеловеческим усилием воли он держался на ногах.

Увидев, что левое плечо Исы и весь бок были обнажены и закоченели на ледяном ветру, Канбак, сняв с себя свой чапан, быстро окутал им жигита. Как только Иса пришел в себя, они вдвоем собрали уцелевших овец. Оказалось, что из пятидесяти овец волки задрали около двадцати, но некоторых из них можно было еще спасти.

Уже наступило утро, ветер стал постепенно стихать. Земля белела снежным покровом. Канбак и Иса погнали овец к аулу. Убитых волков они связали попарно, каждый тащил за собой двух зверей.

Еще надавно у всех на устах был набег Базаралы на такежановский табун. Теперь все заговорили об угнанных бураном овцах и о нападении на них стаи волков. Но больше всего говорили о богатырской силе и отваге такежановского пастуха Исы, который один убил четырех волков, не имея при себе никакого оружия, кроме дубинки. Рассказ Канбака о единоборстве Исы с матерым вожаком восхищал всех; люди говорили, что ничего подобного они не слышали на своем веку, сулили Исе славу и богатство.

Но бедный люд, хорошо знавший скупость и алчную бессердечность Такежана и Азимбая, судил по-своему:

— Разве эти людоеды оценят его подвиг? Такой достойный жигит гниет у хозяйского порога!

— А что за подвиг защищать байский скот? — говорили другие. — Направил бы он свою силу против Азимбая, вот это был бы толк!

— Разве хороший пастух бросит в беде овец? Сжалился над бедными животными, забыл и самого себя, — говорили третьи, лучше других понимавшие Ису.

Но все эти пересуды уже не доходили до Исы. Сразу же после бурана он свалился в тяжелом недуге. Он лежал в тесной, узкой, как труба, землянке. Низкий потолок ее был затянут прокопченными дочерна тонкими жердями, между которыми грязными лохмотьями свисал старый камыш. Эта землянка рядом с овчарней именовалась в ауле Такежана жилищем пастуха. Ни одной свежей струйки воздуха не доходило сюда, в дверь врывался острый запах овечьего пота и вонь от навоза. Не было и пола, вместе него— сырая каменистая земля. Вместо окна — осколок стекла из байского дома, в углах вечно жили сумрачные тени, словно в мрачной камере каторги. Печи в этой землянке не было, имелся лишь полуразвалившийся низкий очаг с вмазанным в него казаном.

Но несчастная семья была довольна даже и этому жилью. По крайней мере малыши здесь были избавлены от постоянного сквозного ветра в юрте, от страшного воя осенних ураганов над головой. В эту землянку старуха Ийс попала на другой же день после бурана: боясь повторения бури и новых потерь в скоте, Такежан поспешно перекочевал на зимовку.

Еще в день перекочевки аула Иса чувствовал тяжесть во всем теле. Он едва ходил, его пригибало к земле. Сразу после переезда в землянку он окончательно слег. У него начался сильный жар, дыхание пресекалось, он корчился в мучительном кашле. Но больше, чем от болезни, Иса страдал при виде бедствий своей семьи.

Когда он находился на пастбище, ему редко приходилось заглядывать домой, а здесь все горе семьи проходило перед его глазами. Единственная кормилица семьи, тощая серая коровенка, уже перестала давать молоко. Старая Ийс утром грела воду, опускала туда затвердевший сухой творог, и это было единственной пищей на весь день. Малыши, напившись кипятку, забирались в угол и сидели молча, пугливо поглядывая то на мать, то на отца. Жена Исы кашляла все чаще и чаще. И каждый день все с надеждой ожидали возвращения Ийс из байского дома: старуха всю холодную осень дубила кожу, а теперь Каражан заставила ее трепать шерсть, вить веревки, плести арканы и недоуздки… И, приходя в сумерки домой после тяжелого, непрерывного труда, старая мать приносила в семью заработанную еду: остатки супа, обглоданные кости, испорченный творог, затхлую пшеницу, разные объедки. Но и это праздник для малышей и кое-какая поддержка для взрослых.

Порою Иса приходил в ужас при мысли о том, как живет его семья. Он вздыхал, метался на своей подстилке, в беспомощной ярости царапал грудь, терзаемую болезнью и неизбывным горем. И когда однажды Ийс присела к его изголовью, Иса не выдержал:

— Родная моя, как тяжело нам… Так и кончается жизнь, как прошла, — у чужого порога… Что станет теперь с тобой, с детьми, с нею? Неужели так и умру с этим горем? Если хотя бы знать, что оставляю вас у добрых людей, а не у этих зверей…

Женщины, напуганные словами Исы, громко зарыдали. Заплакали и малыши. Иса чувствовал горячие слезы, падающие на его руки, но сказать больше ничего не мог: он пылал в жестокой горячке, потеряв сознание.

Тяжкий бред мучил его, запекшиеся губы шептали что-то невнятное. Нагибаясь к нему, мать и жена улавливали какие-то бессвязные слова. Казалось, он с кем-то гневно борется, упорно и страстно спорит. Но понять, что с ним, они не могли.

А Исе мерещилось, что он ведет нескончаемую борьбу один на один с огромным матерым волком. Все время видит он перед собой наседающего на него лютого зверя. Пасть его открыта, зубы оскалены, кровожадный враг вот-вот схватит зубами его лицо. Потом кровь заливает всю морду волка. И сейчас же чудится, что кровавая рана на голове хищника повязана белым платком, а под раскрытой страшной пастью с острыми зубами вдруг возникает широкая черная борода… Красные губы шевелятся, волчья пасть произносит бранное слово… Кто-то ударяет Ису тяжелой палкой… он хватается за палку, тянет ее к себе, и волк превращается в Азимбая. Он ругает Ису, безжалостно гонит в холодную буранную мглу за овцами и сноза становится матерым волком… То волк, то Азимбай… То наполовину волк и наполовину Азимбай… Но все время наседает на него безжалостный, неотвязный враг, угрозы вырываются из страшной пасти…

Измученный этими ужасными видениями, Иса потерял сознание. Больше оно уже не возвращалось к нему. К утру его дыхание перешло в предсмертный хрип, и скоро он лежал без движения, безмолвный, постепенно холодея.

Так на шестой день болезни скончался безвестный человек с большим сердцем, отважный жигит.

Рядом без памяти лежала несчастная мать. Безутешно рыдала больная вдова. И надрывно плакали в углу маленькие Асан и Усен.

5

О разгроме такежановского табуна в ауле Абая узнали в тот же вечер.

Когда Азимбай и табунщики бились за коней, здесь, в Акшокы, друзья и ученики Абая с увлечением вели беседу о поэзии. В последнее время Абай часто перечитывал Лермонтова, особенно его «Вадима». Абая привлекал образ непокорного человека, пылающего мстительным гневом. И нынче он заговорил о нем:

— Казахи должны знать об этом Вадиме. Отважный, упорный, смелый герой… Я задумал воспеть его в стихотворном дастане.

И Абай прочел друзьям свои новые стихи. Мужественные, строгие, полные сдержанной силы, они начинались тревожным видением.

Темнеет свод неба. На западном крае

Пожар уходящих лучей догорает,

И на алеющем шелке заката

Дальняя башня, как сон, возникает…

Какитай, уже прочитавший «Вадима», по просьбе Абая пересказал акынам это произведение. Когда он закончил, Абай обратился к юношам:

— Просторный путь откроется перед вами, если будете писать дастаны, как Лермонтов… Магаш, Какитай, вы можете читать по-русски, так возьмите поводья других, поведите их! Расскажите о нем Дармену, Кокпаю, Акылбаю, пусть и они узнают, какой это поэт!

И молодежь, оставив Абая наедине с томом Лермонтова, до вечера просидела в угловой комнате над «Демоном». Одни прочли его сами, другие услышали поэму во взволнованном пересказе. Тотчас же возникла горячая беседа. Все новое всегда вызывало молодых акынов на споры, размышления, мечтания. Нынче мысли их занимали Демон и Тамара. Дармен и Магаш вспомнили о мусульманском Демоне — об Азраиле. Огненная страсть, которой наделила его фантазия русского поэта, поражала их.

— Какая отважная мысль… Только непокорная душа могла родить такой образ! — говорили они.

— Видно, истинное поэтическое вдохновение не считается ни с богом, ни с законами судеб! — восклицал Какитай.

Возбужденные разговоры не прекращались до самого вечера. Лишь к вечернему чаю молодые акыны вновь сошлись в камнате Абая.

Как раз в это время появился Акылбай. Он жил уже на отдельной зимовке, находившейся в урочище Миалы возле поселка жатаков, в половине дневного перехода от Акшокы, но часто приезжал к отцу. Поздоровавшись, Акылбай подсел к молодежи. Абай спросил, что слышно, все ли спокойно в аулах и на равнине.

Акылбай, как всегда, не спеша, обычным монотонным голосом сообщил поразившую всех весть:

— Да нет, не все. Нынче утром целая куча неведомых врагов напала на выпас Такежана-ага возле гор Шолпан. Всех коней угнали, до одного.

Со всех сторон на него посыпались вопросы:

— Когда?

— Откуда?

— Весь табун угнали?

Чай остался недопитым. Айгерим и Злиха, сидевшие у самовара за низким круглым столом, тоже придвинулись к Акылбаю. Жигиты нахмурились. Тревожное чувство охватило всех.

Акылбай по-прежнему медленно и не торопясь рассказал все, что знал: нападение было утром, в набеге участвовало около полусотни людей, больше двадцати табунщиков получили тяжелые ушибы, даже ранения, Азимбая нашли на снегу без памяти, из табуна в восемьсот коней на выпасе не осталось ни одной клячи. Сам Акылбай находился во время набега в шалаше такежановских табунщиков; он заночевал там по пути в Акшокы, и его конем, единственным уцелевшим в этом разгроме, воспользовались, чтобы послать за помощью. Пострадавший меньше других табунщик поскакал в ближайший аул и пригнал оттуда трех лошадей. Поэтому-то Акылбай и появился в Акшокы так поздно.

— Ну, а ты-то что делал, когда на выгоне шел бой? — спросил Абай.

Акылбай начал мямлить. Наконец выяснилось, что еще утром Азимбай, собираясь к табунам, предложил ему поехать вместе с ним. Акылбай отказался не столько из-за лени, сколько из-за своего пристрастия к горячему кавардаку — обычному кушанью табунщиков на полевом стане. Заметив, что поваренок как раз начал поджаривать в ковше мясо, Акылбай предпочел остаться в шалаше, чем мерзнуть на выгоне.

Несмотря на тревогу, которую вызвало сообщение Акылбая, молодежь не смогла удержаться от смеха.

— А как же ты узнал, что на табун напали? — спросил Ербол.

— Когда я принялся за кавардак, поваренок вышел из шалаша, но тут же вернулся и говорит: «На земле шум, на небе шум. Уж не волки ли напали на косяк? Или Азимбай вздумал гоняться за дикими жеребцами? Столько снегу подняли! Прямо как пурга!» Я хотел выйти посмотреть, но побоялся, что кавардак остынет, — больно хорош он вышел! Из бедра жеребенка… и порезан хорошо — мелкими кусочками… так в сале и плавает!

На полном лице Акылбая выразилось такое удовольствие, что Дармен затрясся от хохота. Засмеялся и Магаш.

— Ну, понятно! Куда же вам было торопиться? Должен же человек доесть кавардак! Узнаю нашего Акыл-ага!

Теперь расхохотались и остальные: вялость и лень Акылбая были всем известны. Акылбай, не обращая внимания на смех, продолжал свой неторопливый рассказ:

— Поваренок то и дело выглядывал из шалаша, видно ему не терпелось узнать, что там творится. Пришлось послать его посмотреть. Он вернулся с неистовым криком. «Акыл-ага, налетели враги, угоняют коней! На выгоне драка! — кричит. — Табун уже у гор Шолпан… Что делать?»

Абай внимательно посмотрел на него и спросил:

— Ну, и как ты поступил?

— Сели на коня и пустились в погоню? — нетерпеливо подсказал Магаш.

Акылбай откровенно ответил:

— Нет. Продолжал есть кавардак. Я ждал кого-нибудь с новостями.

Абай, потеряв терпение, грозно окрикнул его:

— Подумай, что ты там несешь? Опомнись!

— Не могу же я врать, Абай-ага. Не погнался я за ними!

— Почему? Что же, ты не мужчина?

— Если говорить правду, я поленился…

Взрыв хохота перебил его. Однако Акылбай, не смутившись, продолжал с удивительной искренностью:

— Косяки уже успели угнать за Шолпан, а снегу в степи навалило по колено. Как же мне гнаться за ними? Раньше, чем в Ералы, я их не догоню, куда же скакать в такую даль? И в зимней неудобной одежде? Это просто наказание! Ну, а потом, что я сделаю один? Смогу только умолять и просить… Да и вообще — зачем нужно мне быть лихим воякой и побеждать в боях?

Акылбай говорил то, что думал, напрямик, не беспокоясь о том, как примут его слова, не обращая внимания на смех слушателей. Магаш и Какитай первые перестали смеяться: оба они огорчились за брата, честного, но наивного, который своей бесхитростностью и откровенностью поставил себя в такое смешное положение. К тому же, заметив, как изменилось лицо Абая, они с опасением ждали, что тот сурово пристыдит сына. Но Абай с неожиданным любопытством уставился на него, как бы рассматривая его с удивлением, и вдруг от души рассмеялся.

— Услышал бы кто-нибудь чужой твой рассказ! Обязательно сказал бы: вот кто настоящий растяпа! И правильно сказал бы… «Когда один из внуков Кунанбая дрался с врагами, другой сидел в шалаше, уписывая кавардак!» Ну хорошо, а ты узнал хотя бы, кто же ограбил твоего дядю!

— Говорят, впереди нападающих видели Абылгазы и Базаралы.

— Базаралы? — переспросил Абай, быстро взглянув на сына. — Что же сразу не сказал?

Все оживление его разом исчезло. Притихла и молодежь, тревожно переглядываясь. Абай некоторое время молчал, насупив брови.

— Вот до чего довели людей насилия Такежана! — сказал он, словно раздумывая вслух. Потом поднял голову и обвел взглядом жигитов. — Ну, что вы скажете о таком набеге?

Молодые друзья Абая молчали, не зная, что ответить. Видно было, что они сами хотят спросить его об этом.

— Подобного дела в Тобыкты никто еще не совершал, — говорил он. — Оно означает многое. Это подвиг гнева. И, говоря по правде, законного гнева. Последствия будут, конечно, тяжелы. Надолго затянутся. Трудно и угадать, чем все это кончится. Но достоинства человека познаются не только по окончании дела, но и в начале его. Вы слышали, что Базаралы поклялся отомстить Такежану за ограбленных нищих жигитеков Шуйгинсу? Вот он и выполнил свою клятву. Видно, люди не могут больше терпеть насилий. Кунанбаевцы совсем бога забыли. Как же не кинуться тут в схватку? Пусть сегодня она не даст еще облегчения народу, но она как бы говорит: «Вот путь борьбы, только так в наше время можно рассчитываться с обидчиками!»

И Абай замолчал в раздумье. Ербол, слушавший его с напряженным вниманием, негромко сказал:

— Такого мы не слышали еще, Абай…

Остальные молчали, — казалось, они не совсем поняли Абая. Лишь на лице Дармена выразилось полное одобрение его словам, и Абай продолжал, обращаясь к нему:

— Вот что еще поразило сейчас меня. С каким удовлетворением читаешь в русских книгах о мужественной борьбе смелых людей против насильников, против целого общества! Я часто спрашивал себя: была ли в нашей степи такая борьба, возможна ли она теперь? Кто вел ее в прежние времена, и кто в наши дни смог бы ее вести? И всегда отвечал себе: Базаралы. И нрав его, и мысли, и дела показывают, что он может быть таким борцом за справедливость. А когда я услышал о его клятве на Шуйгинсу, я все эти дни ждал в душе, что он что-то совершит. И в этом ожидании увлекся «Вадимом», стал воспевать его дела. И поглядите: оказывается, Вадим и Базаралы — братья! Идут одним путем возмездия.

Вскипает гнев в сердце, зовет голос чести,

Рука бедняка над наглым злодеем

Заносит кинжал — орудие мести…—

закончил Абай, неожиданно перейдя на стихи-импровизацию, и снова погрузился в раздумье.

Вскоре стало известно, что уездный начальник вызвал Кунту в город. Сообщил это Шубар, остановившийся переночевать в Акшокы по дороге в Семипалатинск, куда он ехал по поручению Такежана. Он подробно рассказал все новости: иргизбаи потребовали отставки Кунту, тот согласился передать должность Оспану. Шубар рассказал и о том, что Кунту давно уже подготовил на всякий случай приговор старшин Чингизской волости, разрешающий ему перечислиться в Мукурскую волость вместе с пятьюдесятью семьями рода Бокенше. Он заручился также письменным согласием мукурского волостного, скрепленным печатью. Теперь Кунту решил использовать свои документы. Итак, волостной, обещавший Базаралы помощь, сам бежал, спасая свою шкуру.

По словам Шубара, Кунту готов был донести начальству, что Базаралы — беглый каторжник. Однако Майбасар и Такежан на это не соглашались: если выдать Базаралы как беглого, его опять сошлют в Сибирь, но тогда Такежану не удастся получить возмещение за своих коней. Жигитеки смогут ответить: «Если ты потерял свои табуны, то Базаралы, угнавший их, сложил свою голову. Ты потерял скот, а мы потеряли сына нашего рода». Поэтому кунанбаевцы добивались того, чтобы Базаралы был признан виновником набега, тогда скот можно взыскать с рода Жигитек.

Но это же отлично понимали и аткаминеры Жигитека. Допустить такой оборот дела они не могли. Им важно было выставить виновником только одного Базаралы и предложить Такежану взыскивать убытки с него самого. Поэтому они собирались сообщить начальству, что Базаралы — известный разбойник, но скрыть от властей то, что он бежал с каторги. Для этого нужно было именовать Базаралы не Кауменовым, а Кенгирбаевым.

Однако пока что не было ясно, как обернется дело. Такежан, Майбасар и Оспан уже собирались ехать в Семипалатинск. Такежан был в большой обиде на Абая.

— Недавно Абай приезжал ко мне и нес всякую чушь, заступаясь за Базаралы. Хватит с меня слушать его поучения о «нравственности», о «добродетели»! Если вы уважаете меня, держитесь подальше от Абая, — говорил он.

Ему удалось убедить в этом и Оспана. Что же касается Шубара — тот последние годы лишь прикидывался, будто только и слушает, что Абая. На самом деле он первый посоветовал Такежану и Майбасару добиваться обвинения Базаралы.

Абай, подозревая Шубара в двуличности, ни словом не обмолвился при нем о том, что все поступки Базаралы после возвращения радостно изумляли его. Несомненно, Шубар втихомолку передал бы об этом родичам, и без того озлобленным на Абая. Это могло лишь повредить Базаралы.

Но допустить, чтобы Базаралы отправили обратно на каторгу, Абай никак не мог. Поэтому, выслушав Шубара, он твердо сказал ему:

— Я прошу тебя добиться, чтобы Базаралы не выдавали властям как беглого каторжника. Пусть Такежан запомнит: если он опять пошлет на смерть такого благородного человека, как Базаралы, а потом станет взыскивать с жигитеков скот, то меня найдет на стороне жигитеков.

Но Шубару не пришлось передавать этого Такежану: тот сам неожиданно появился в доме Абая.

Он не собирался заезжать в Акшокы, но по дороге в Семипалатинск Майбасар посоветовал ему повидаться с Абаем, чтобы самому разгадать его намерения, а если окажется возможным, попытаться привлечь на свою сторону.

Увидев у брата Шубара, Такежан раздраженно сказал:

— А, вот где тот, кого мы просили спешить в город! Я думал, ты уже там, — оказывается, ты крутишься здесь! В прятки с нами играешь? — злобно усмехнулся он.

Несмотря на всю неловкость своего положения, Шубар не смутился:

— Пришлось заехать сменить коней, вот и задержался тут. Сейчас жигиты приведут из табуна новых, на них скорей доеду…

Теперь и Абай недовольно выпятил губы. Только что Шубар говорил, что нарочно заехал в Акшокы, чтобы посоветоваться с Абаем, а теперь юлил перед Такежаном. Покачав головой, Абай насмешливо улыбнулся.

Такежан сразу же объявил, что поедет дальше, не оставаясь обедать, но что ему надо поговорить с Абаем.

— Говори здесь! — ответил тот, не желая разговаривать наедине. Он даже не выслал из комнаты молодежь — Магаша и Дармена. Видя это, остались и Шубар с Майбасаром.

Такежан начал прямо с того, с чем приехал:

— Едем со мной в город, мне нужна твоя помощь!

— А у тебя мало своих ходатаев?

— Они — одно, а ты — другое. Что тебе объяснять? Для разговора с городскими властями ты нужнее всех.

— А разве я с ними в дружбе? Тебе ведь известно, как они на меня злы.

— Злы-злы, а считаются с тобой.

— И поэтому мне надо лезть в огонь?

— А я не горю в огне? Ты мне самый близкий родственник — и хочешь бросить меня в беде?

— А какую беду ты терпишь? Спасают тех, кто терпит без вины. А разве ты можешь сказать так о себе? Подумал ли ты хоть раз: по чьей вине ты терпишь беду?

Такежан начал терять терпение.

— А что мне думать, когда есть такой, как ты — все понимающий! — сказал он раздраженно. — Ну и отчего же, по-твоему, я пострадал?

— Оттого, что ввергал в слезы народ. За эти слезы и потерпел беду.

И Абай, опершись на стоявший перед ним круглый низкий стол, посмотрел брату прямо в глаза.

— Когда ты перестанешь называть народом нищий, ничтожный сброд? — вскипел Такежан.

— Никогда не перестану, потому что эти люди и есть казахи, мой родной народ. Их множество, а вас, такежанов, горсть. На таких, как вы, приходится по сотне обездоленных, униженных, бесправных. Они и есть народ. Они и нуждаются в настоящей помощи. С кем же мне быть, как не с ними?

Дармен с восторгом смотрел на Абая. В его твердых словах юноша видел правду жизни. Шубар сидел насупясь, явно недовольный тем, что говорил Абай. Такежан, окончательно обозлившись, закричал, задыхаясь в раздражении:

— Ну, коли так, объяви тогда всем, что ты не сын предков, не сын Кунанбая! Что ты враг всем достойным людям, что не отличаешь себя от степного сброда!

— А я не раз говорил об этом.

— Тогда скажи и остальное: что ты отступил от путей отцов, что совращаешь людей в нечестие, в смуту… Не зря тебя обвиняли в этом и Уразбай и Жиренше!

— Путь отцов стал путем насилия, коварства, это путь вражды с народом. А я выбрал дружбу с народом. Да, я отступил от этого пути, отступил от кунанбайства…

— И молодежь еще совращаешь! Не потому ли твой сын Акылбай даже с места не встал, когда угоняли мой табун? Кавардак ел, злорадствовал! Я вижу, ты и сам доволен этим разбоем!

— Ну, что же! Значит, и Базаралы, отомстивший за твои насилия над народом, и я, кто объясняет тебе причину твоих бед, думаем одинаково.

— Выходит, ты мой враг!

— Если не оставишь Базаралы в покое, будешь враждовать и со мной.

— Базаралы я не оставлю! И взыщу с него и голову его получу!

— Нет, головы его не коснешься. Запомни: если укажешь на него властям, вернешь на каторгу, я открыто встану на сторону жигитеков-бедняков! Дохлого жеребенка не получишь с них! Твой табун посчитают как пеню за жизнь дорогого человека!

— До чего договорился! Будешь защищать разбойника, преступника, грабителя, вырезавшего целый табун? Разве можно щадить такого врага?

Тут не выдержал и Шубар.

— Абай-ага, ведь и по шариату поступок Базаралы — тяжкий грех…

— Если шариат за Такежана, значит это не путь истины, а путь заблуждений!

Такежан в слепом гневе ударил плеткой по лежащей перед Абаем книге.

— Ну, раз ты и от мусульманства отступаешь, от тебя остается ждать одного: чтобы ты сам выступил моим обвинителем и потребовал пеню за жизнь разбойника!

Абай нахмурил брови и бросил на Такежана гневный взгляд.

— Я и потребую пеню, но за другое. Если выдашь Базаралы властям, я взыщу с тебя пеню за Ису, погибшего по твоей вине. Понял?

Такежан растерялся. Все эти дни он больше всего опасался, чтобы кто-нибудь не заговорил об этой смерти. Справившись с собой, он разыграл удивление:

— При чем тут Иса? Человек умер по божьему велению, а я за это отвечаю? Что, я его убил?

— Да, ты. Ты и твой сын Азимбай. Вы побоями погнали его, больного, полуголого, в буран и в мороз. Он погиб от простуды, полученной в ту ночь. Из-за твоих овец погиб, а ты хоть бы глоток дал ему перед смертью! Где те четыре волка, которых убил отважный жигит? Дал ты ему за них хоть четырех ягнят? И шкуры-то забрал себе! Ты не только убил, но и ограбил мертвого!

Гневные слова Абая не на шутку испугали Такежана. Было видно, что Абай до мельчайших подробностей знает все, касающееся гибели Исы. Если кто-нибудь из слушающих это расскажет другим, дело получит огласку и свалится Такежану на голову новой бедой. Он поспешно встал и начал одеваться, чтобы тут же уехать.

Абай продолжал:

— Вот такой Иса и был человеком из народа! И сироты его горемычные, и дряхлая мать, и больная вдова — это и есть народ. А каким дорогим его сыном был Иса! Какую отвагу показал он, защищая твой скот! Ты сам или Азимбай — могли бы вы совершить это, спасая свое же богатство? Нет, пусть уж все мои мысли и желания будут вместе с такими людьми, с народом, на чьей стороне и справедливость и добро! Вы и сломанного ногтя таких людей не стоите! Их сотни, тысячи, и все они обездолены и обижены. Когда подумаешь, что Иса погубил свою жизнь ради алчности людей, кому тощий ягненок дороже человека, — сердце сжимается от гнева. Да, это был настоящий герой, батыр! До самой смерти, в горячке, в бреду, он продолжал свою борьбу с волком. А кто знает, волка ли он проклинал тогда? Не тебя ли и не твоего ли сына, безжалостного и лютого хищника, проклинал он? — сказал Абай, сам не подозревая, с какой душевной прозорливостью он разгадал предсмертные думы Исы.

Дармен слушал слова Абая, низко опустив голову, охваченный горькой жалостью к погибшему. Магаш тоже волновался.

Помолчав, Абай негромко закончил:

— И Базаралы тоже один из таких людей. С кем же мне быть, как не с ними? Запомните: если с ним случится недоброе, я начну такую тяжбу, что ты не порадуешься, Такежан!

Последние слова он сказал твердо, с угрозой. Такежан и Майбасар молча вышли из комнаты.

Смерть Исы, действительно, глубоко отозвалась в душе Абая. Он сам послал Дармена похоронить его, велел ему взять у Оспана двух овец для помощи семье. Дармен оплакивал Ису вместе с его родными, обещал заботиться о детях. Тогда же старая Ийс рассказала ему все подробности подвига Исы и его смерти.

Вслед за Такежаном собрался уехать и Шубар. Но Абай задержал его. Он хотел передать с ним письма в Семипалатинск. Одно из них было к Кунту. «Хочешь спасти себя, — писал ему Абай, — спасайся любым путем, только не топи Базаралы. Если выдашь его, берегись!» Написал он и Оспану, умоляя его: «Если хочешь быть волостным, не навлекай на себя проклятий народа. Я чувствую, что ты собираешься отколоться от меня. Единственная моя просьба к тебе, просьба старшего брата: какой бы дьявол тебя ни пугал, не давай Базаралы властям!»

С этими письмами Шубар утром следующего дня уехал в Семипалатинск.

Город был переполнен ходатаями и жалобщиками, хлопотавшими за кунанбаевцев. «Ворон ворону глаз не выклюет», — гласит пословица. Родовые воротилы, привыкшие смотреть на народ как на своих рабов, всячески поносили отважных бедняков, поднявшихся против баев, требовали суровой кары. «Отдадим на суд всего народа! Пусть не одни тобыктинцы судят, пусть все племена дадут им достойное наказание, которое сохранится надолго в памяти всех обнаглевших смутьянов!»

В разбор дела, получившего название «спор Такежана и Базаралы», ввязались волостные и аткаминеры всего Семипалатинского уезда. Все эти влиятельные и сильные люди объеденились теперь вокруг кунанбаевцев.

Что касается Уразбая, он безвыездно сидел в своем ауле. Внутренне его радовало то, что отношения между Жигитеком и Иргизбаем обострились: он даже желал про себя: «Пусть дьявол столкнет их лбами!» Но об открытом переходе его на сторону жигитеков не могло быть и речи. Наоборот, при людях, которые могли бы передать кунанбаевцам услышанное здесь, и он и Абралы старательно открещивались от жигитеков.

— Не такой уж я заклятый враг Такежана, чтобы радоваться его беде! Кто бы мог подумать, на что решится этот Базаралы? Если тобыктинцы нынче разделятся на два лагеря, то я, конечно окажусь рядом с Такежаном! — говорил Уразбай в расчете на то, что это будет передано кунанбаевцам.

Кунту сразу по приезде в город явился к уездному начальнику с повинной.

— Нет моей вины в этой смуте! Я принадлежу к небольшому маловлиятельному роду Бокенши, а те, кто подстроил набег, гораздо сильнее меня, они из сильных, многочисленных родов. Справиться с ними я не могу и поэтому прошу сместить меня с должности волостного.

Казанцев не возражал. Просьба Кунту устраивала его. Со времени прошлых выборов он чувствовал себя в долгу перед Оспаном и другими кунанбаевцами. Кунту был тотчас же освобожден от должности и получил разрешение перечислиться в Мукурскую волость, а на его место Казанцев, не дожидаясь выборов, назначил Оспана.

Итак, Базаралы и вместе с ним и жигитеки были вероломно преданы всеми теми аткаминерами, которые могли бы заступиться за них.

Собираясь в город, Кунту обратился к аткаминерам Жигитека — Бейсемби и Абдильде.

— Дело Базаралы меня губит. Если сородичи и теперь бросят меня, я окончательно пропал. Суд будет в городе, пусть аткаминеры Жигитека немедленно пошлют туда кого-нибудь, кто будет держать ответ за своевольство Базаралы, — передавал он перед отъездом.

Бейсемби и Абдильда собрали аткаминеров всех богатых и сильных аулов Жигитека на совет и вызвали на него Базаралы. Всем им было уже ясно, что жигитеки остались одинокой маленькой кучкой, беззащитной перед злобой степных воротил. Абдильда, который всегда умел найти выход из любого запутанного дела, с беспощадной прямотой заговорил о тяжелом и трудном положении рода Жигитек:

— Мы подобны теперь обгорелому пню, одиноко торчащему на пожарище. Вокруг нас нет сородичей, на кого можно было бы опереться. Они обманули, предали нас. Подстрекателей было много, а ответчиков — никого. Вот в какое положение мы попали, потворствуя коварным замыслам Уразбая и Жиренше! И степные казахи и городское начальство — все ополчились на род Жигитек. Шумят, выкрикивают боевой клич, призывают к расправе! Не только тобыктинцы — все соседние племена объединились против нас. Они и будут выносить приговор. В кого вонзят они свои когти, как решат? Заранее трудно сказать, но ясно одно: отвечать нам придется, иначе нас потопят в крови. Если не ехать на разбор, будет еще хуже. Теперь уж не один Такежан будет вязать и отправлять на каторгу: все волостные, заправилы всей области решили объединиться, чтобы совместно сокрушить нас. «Если жигитекам дорога жизнь, пусть приедут на суд и склонят перед нами головы! — вот что говорят они нам. Отвечать за содеянное придется сынам нашего рода. Но кому же держать ответ?

Здесь Абдильда прямо обратился к Базаралы:

— Если ты родился мужчиной, ты должен сам отвечать за свои дела. В город надо ехать тебе!

Слова Абдильды звучали как приговор, как приказ. Базаралы отлично понял, что Абдильда и Бейсемби прячутся в кусты. Не колеблясь, не унижаясь до спора, он ответил коротко и твердо, как отважный человек, готовый рисковать головой.

— Сам я все совершил, сам и понесу ответственность. Мне давно было ясно, что и среди моих сородичей найдутся бесчестные люди, которые отрекутся от меня, спасая свои шкуры. Оставайтесь дома. Я возьму с собой только двух жигитов, настоящих мужчин — Сарбаса и Абды — завтра же выеду в город! — гневно сказал Базаралы и вышел.

По дороге в город путники ехали гуськом — друг за другом по караванной тропе, и Базаралы то и дело погружался в длительное раздумье. Стоял легкий морозец; ветерок, дувший в спину, развевал хвосты, и гривы коней. Волнистые просторы, покрытые снегом, безмолвно лежали по сторонам, сходясь с небом. Конь Базаралы шел мягкой рысцой, не требуя понуканий и не мешая думать.

Обширные просторы, неподвижные и безмолвные, казались безжизненными. Все замерло, застыло. Тяжелые сугробы задавили под собой всякую жизнь. Но она теплится где-то под снегом, ожидая своего часа. Когда он настанет, когда горячие весенние лучи растопят снега и теплый ветер погонит здесь текучие вешние воды — могучая буйная жизнь выйдет из-под земли бесчисленными травинками и цветами. Не так ли и с силами народными? Лютая зима заледенила сейчас все, бесчисленные сугробы задавили все живое. Но не вечно же будет такой народная жизнь! И Керала и другие русские там, на каторге, говорили, что наступят иные дни. «Когда-нибудь в России победит правда, это обязательно случится, — говорили они. — И тогда свет от нее дойдет до всех закоулков, придет и в твою степь. Не ты сам, так сын твой дождется этого». Сидя в заточении, они видели свет нового солнца. Оно придет, новый день наступит. Невозможно, чтобы он не наступил. Не может же бесконечно длиться такая жизнь, такое существование!..

«Будь что будет, пусть ждет меня казнь, — думал Базаралы, — но я познал великое счастье: увидел силы народные, таящиеся под гнетом жизни. Чем был мой поступок? Не первым ли ветерком, предвестником весенней бури, которая разметает снега? Каким утешением была бы для меня мысль, что это так. Да, это так и есть! Пусть сейчас и не даст облегчения людям наш набег — никто в народе не жалеет о содеянном. Наоборот, люди почувствовали, какой великой силой они обладают, если смело встают на борьбу. Это и оправдание для меня и награда моя! Если мне суждено было постичь счастье, так это случилось теперь. Великое счастье — увидеть, как пробуждаются силы народа! Вот что я познал, а теперь будь что будет!»

Весть о том, что держать ответ от имени жигитеков приехал Базаралы, мгновенно распространилась по городу.

Местом, где собирались все бии, волостные и аткаминеры, приехавшие по просьбе кунанбаевцев в Семипалатинск, был дом Нурке, волостного управителя Кокенской волости. Кроме того, что он был одним из влиятельнейших в степи богачей, Нурке был известен и в городе как богатый торговец скотом, ведущий крупные дела даже с Китаем; с ним считались не только все волости, расположенные по берегам Иртыша, но и русское областное начальство. По просьбе Такежана и Майбасара Нурке посетил Казанцева и попросил его от имени всех волостных: «Спор в племени Тобыкты будет легче разрешить по обычному праву степи. Не доводите до суда, предоставьте решить эту тяжбу нам самим. Если с решением нашим вы не согласитесь, мы свяжем Базаралы и отдадим в ваши руки».

Любопытнее всего было то, что уездный начальник не знал, что нападение на Такежана совершил именно тот Базаралы, сын Каумена, который был сослан на каторгу. Степные воротилы, на которых опиралось начальство, обманывали царских чиновников: когда нужно было назвать чью-либо фамилию, то в ход шли имена предков, умерших сотни лет назад. Так появлялись фамилии «Жигитеков», «Каракесеков», «Найманов». Так и Базаралы именовался теперь ими не Кауменовым, а Кенгирбаевым. Эту хитрость кунанбаевцев поддержали заправилы племен Керея, Уака, Сыбана и всех остальных.

Дом Нурке стал средоточием всех событий, связанных с делом Такежана. Кунабаевцы каждые два дня пригоняли сюда стригуна или яловую кобылицу для угощения гостей. Каждый день здесь палили трех-четырех откормленных барашков, с утра до вечера рекой лился зимний кумыс. Молодые волостные и торговцы сходились по вечерам в богато убранных комнатах просторного дома, веселились, пели, играли в карты. Так продолжалось все десять дней до приезда ответчиков из Жигитека.

Нурке, близкий родственник семипалатинского богача Тинибая, считал сыновей Кунанбая немалой опорой в своей степной торговле. Тяжба Такежана была удачным поводом сблизиться с ними, и Нурке не скупился на расходы по содержанию и угощению многочисленных гостей. В дружеских беседах с Такежаном, Оспаном и Шубаром он говорил:

— Для детей хаджи я ничего не пожалею. В час испытания, я желал бы доказать вам, что я — ваш друг, близкий вам человек. Все эти гости не только ваши, но и мои! Не беспокойтесь о них: слава богу, у меня хватит достатка, чтобы достойно принять и угостить их.

Впрочем, иногда как бы по недоразумению, он распоряжался доставить к себе во двор скот, пригнанный по приказанию Такежана.

Кроме угощения кунанбаевцам приходилось еще и одаривать людей, на которых они рассчитывали. Влиятельным волостным и красноречивым биям подносились богатые лисьи шубы, дорогие бешметы и чапаны, сшитые для них у городских портных.

В это логово и прибыл погожим зимним утром преданный богатыми родичами, гонимый бедой Базаралы. С ним были только два товарища — Абды и Сарбас.

Прибытие ответчиков позволило назначить день разбора дела. Сарбас, порасспросив людей, узнал, что выступать от имени кунанбаевцев и обвинять Базаралы будет Шубар. Среди сыновей и внуков Кунанбая он был самым красноречивым, находчивым и считался самым осведомленным и умным человеком после Абая.

Такежан встретил Шубара неприязненно. Застав его у Абая в Акшокы, Такежан стал подозревать Шубара в двуличии. Разъяренный набегом, оплакивающий свои убытки, Такежан в эти дни ненавидел всякого иргизбая, который не стоял безраздельно на его стороне. Видя его озлобленное отчаяние, все родственники старались ничем не раздражать его; Майбасар, Исхак, Оспан и другие неотлучно находились при нем, и он с утра до вечера жаловался им на свою обиду.

Когда Шубар передал Такежану слова Абая, тот гневно обрушился на него:

— Абай жалеет не меня, сына Кунанбая, а кровожадного сына Каумена! Я знаю, он желает удачи ему, а не мне! И все, кто советовался с Абаем, не могут быть моими доброжелателями!

Он закончил беседу еще более тяжелыми словами:

— Все-таки вспомни, что ты — внук не Кунке, а Кунанбая! Мы — не дети матерей-соперниц, всех нас воспитал и сделал людьми Кунанбай, который завещал нам быть детьми, достойными отца. Улжан и Кунке — женщины, у них волосы длинны, а ум короток. Кто родился мужчиной, тот пусть следует заветам отца, покажет, что умеет стоять за честь рода! Перестань вилять и лицемерить, будь мужчиной, а не девкой!

Хотя Такежан и взывал к памяти Кунанбая, однако дух давнего соперничества детей, рожденных разными матерями, сказывался в его словах. Сидя рядом с двумя своими единокровными братьями — Исхаком и Оспаном, он с недоверием смотрел на Шубара, потомка другой жены Кунанбая. Кроме того, отец Шубара — Кудайберды — был единственным сыном Кунке. А их, сыновей Улжан, было трое, не считая Абая, и все они были старше Шубара. И Такежан воспользовался удобным случаем, пригрозив Шубару, подчинить его своему влиянию. Давно замечая, что красноречивый, ловкий и обходительный Шубар начинает явно выдвигаться, Такежан теперь хотел одернуть его, чтобы тот не зазнавался. В отличие от других сыновей Кунанбая Такежан был горазд на всевозможные хитрости и коварство, и сейчас он походил на ревнивого жеребца, который, заметив отбившуюся от косяка строптивую кобылицу, скачет за ней с опущенной до земли головой и загоняет обратно в табун, лягаясь и кусаясь.

Шубар не мог не почувствовать всей силы этих угрожающих слов. Он и его братья выросли без отца, сиротами-племянниками. Хотя Шубар и сумел постепенно выйти в один ряд с другими кунанбаевцами, но ему самому и всем другим было ясно, что вес его в роде неизмеримо меньше каждого из троих его дядей, сидящих тут. Шубар не смел даже ответить Такежану на его обидные и резкие слова. Он не мог и открыто порвать с ним, чтобы во всем следовать советам Абая. Если он изменит Абаю, самое суровое наказание, которое он от него получит, будет напоминание о честности, совести и человечности, упрек в том, что он их забыл. По своему нраву Шубар считал, что честь и совесть полезны в спокойной обстановке, хороши для мирной безвредной беседы в кругу Абая. Но если дело принимает серьезный оборот, лучше оставить все эти громкие слова, забыть наставления Абая и переметнуться на сторону Такежана. В руках его он видел силу, умение достичь любой цели. И когда Такежан потребовал, чтобы, растоптав свое достоинство, Шубар действовал на их стороне, тот сдался.

В конце беседы Такежан взял с Шубара клятву верности и поручил ему:

— На разборе ты будешь выступать от моего имени! Я полагаюсь на твое признанное красноречие и изворотливый ум. Честь рода Кунанбая, моя лютая обида — все вручается в твои руки!

Таким образом, в день разбора тяжбы Шубар вошел в дом Нурке как облеченный полномочиями бий, выступающий в защиту Такежана. Пойдет молва о том, думал он, что выступать от имени всех иргизбаев доверили именно ему, Шубару, потому что он лучше других, лучше самого Абая, владеет словом и искусством спора. А это означало и то, что теперь он окажется в самом тесном общении с родовитыми казахами целого уезда. Мысль эта радостно волновала Шубара, жадного к славе и почету.

Бии и волостные Семипалатинского уезда, собравшиеся для суда, находились в большой гостиной богатого дома. Базаралы вместе с двумя своими товарищами ожидал в глубине двора. С приходом Шубара приказчик Нурке — Атамбай, высокий смуглый человек с крючковатым носом, позвал Базаралы в дом. Спокойно, гордо, полной достоинства походкой тот пошел к крыльцу, ведя за собой товарищей. Они вошли в переднюю, устланную коврами и узорчатым войлоком. Базаралы направился было в комнату, где сидели аткаминеры, но Атамбай остановил его. Шубара он тоже задержал: аткаминеры хотели показать всем, что они одинаково беспристрастно относятся к обеим сторонам. И Атамбай почтительно сказал:

— Мирза, вас просили пока подождать здесь.

В комнате стояло молчание. Осматриваясь, Базаралы увидел висевшие на стене волчьи шубы, большие широковерхие малахаи. Под ними, прислоненные к стене, стояли теплые сапоги со всунутыми в них войлочными чулками. Покрой малахаев и фасон сапог сильно отличались от тобыктинских: одни сапоги были с разрезными голенищами, другие — на высоких каблуках, малахаи имели необычно широкий, срезанный верх и тупые концы. Осмотрев аткаминерские одежды, Базаралы перевел взгляд на Шубара и внезапно улыбнулся с открытой насмешкой.

— Что ж, мирза, не пускают нас с тобой к себе власти? Заставили сторожить свои сапоги! Мне-то что — чего только не повидал я на своем веку от волостных! — но каково тебе терпеть такое издевательство, Шубар-мирза?

Сарбас и Абды, забыв о непривычной городской обстановке, которая заставляла их чувствовать себя стесненно, невольно рассмеялись. Оба отлично поняли, что насмешка эта имела целью смутить Шубара, лишить его перед выступлением уверенности. Шубар тоже вполне понял это, но не посмел ответить Базаралы такой же колкостью. Он хорошо знал, что с Базаралы нелегко тягаться: насмешки вылетали из его уст обжигающим пламенем. Шубар сделал вид, что не слышит, достал из кармана серебряный портсигар, молча закурил папиросу и стал прохаживаться по комнате, сунув руки в карманы длинного черного бешмета, сшитого городским портным.

Через некоторое время Атамбай, открыв дверь, впустил их в гостиную. Весь пол от дверей до стены был застлан красными шелковыми коврами. На стенах висели дорогие узорчатые сюзане, арабские изречения из корана, вышитые золотом, вдоль стен разостланы толстые атласные одеяла, на которых сидели гости, опираясь на пышные белые подушки. Сидевшие сдержанно ответили на приветствия вошедших. Некоторых из них Базаралы узнал сразу.

Приветливее других с ним поздоровался Айтказы, управитель Балагачской волости, в сосновых лесах которой казахские аулы перемежались с русскими поселками. Он происходил из тобыктинского рода, из Кокше, и в эти края перекочевал в юности, занялся торговлей, разбогател и недавно сделался волостным. Айтказы даже поздравил Базаралы с возвращением из далеких краев.

Отношение его обрадовало Базаралы. «Кто его знает: может быть, и он терпел притеснения от иргизбаев, от кунанбаевцев, поэтому и откочевал? И теперь ободряет меня, чтобы я не размяк?» — подумал он.

Кроме него Базаралы узнал еще двух человек: чернобородого Ракиша, управителя Керейской волости, и басентийнского мурзу Темир-Гали, сына знаменитого богача. Это был важный, холеный, очень полный краснощекий человек, нарядно одетый. Он то и дело обмахивался шелковым платком. Рядом с ним сидел сам Нурке.

Хозяин дома заговорил первым, открыв разбор дела.

Базаралы следил за строгими, холодными лицами биев. С той самой минуты, как он вошел в комнату, никто, кроме Айтказы, не взглянул на него. Все держались напряженно и натянуто. Одни из них кичились своим богатством, другие — своим влиянием, третьи — властью волостного, четвертые — нарядной одеждой, в которой они красовались, высокомерно выставляя ее напоказ. Все они подчеркнуто приветливо поздоровались с Шубаром и, подвинувшись, освободили ему место. Так же приветствовали они Такежана, Исхака и Оспана, некоторые даже встали и поздоровались с ними за руку.

Когда Нурке, объявив о начале разбора тяжбы, сказал: «Выслушаем сначала обвиняемого», — Базаралы неторопливо снял с себя широкий пояс, отделанный серебром, расстегнул ворот чапана и, распахнув полы, уселся поудобнее.

— Эй, бии! — начал он звучным голосом, заставив всех невольно повернуться к себе.

Сейчас Базаралы выглядел просто красавцем. На мужественном его лице с высоким открытым лбом играл легкий румянец. Он сидел, распрямив плечи и приподняв грудь, весь его облик дышал достоинством и благородством. Живые, острые глаза со спокойной насмешкой оглядывали сидевших перед ним богато разодетых мурз, биев, волостных. Громким своим призывом он заставил всех обратить на себя внимание, а затем заговорил спокойно, негромко, чуть улыбаясь:

— Здесь большой и важный сбор. Тут и власти из низовий и казахи степей. Сородичи! Хотя многих из вас я и не знаю в лицо, но мне известны ваши предки, я знаю, из каких вы родов. Одни из вас — сыны наших соседей уаков, другие — кереев, буры, матаев. Среди вас сидят также представители близкого нам рода Басентийн. Вот сидят сыновья Кунанбая, прибывшие на разбор, богатые и властные. Против них сижу я, представитель бедняков, у которых за душой нет ни скота ни денег. Я не могу сравняться с сыновьями Кунанбая ни богатством, ни силой, ни знатностью. Кунанбаевцы богаты и деньгами, и скотом, и запасами. У них бесчисленные друзья, знакомые, сваты, братья не только в Тобыкты, но во всей степи, во всей Семипалатинской волости. Они чувствуют себя в полной силе. У них, как говорится, «и длинные петли и широкие путы». Кто «на короткой веревке, из которой и узла не завяжешь», — так это я. Если они по поговорке: «Нагнется— Иртыш к услугам стелется, откинется—Чингиз подопрет» — встретят здесь полную поддержку, то у меня здесь нет даже товарища, кому я мог бы пожаловаться. Но кое в чем я сильнее их!..

Базаралы повысил голос:

— Немалые подарки подносят сыновья Кунанбая вам, благородным судьям. Я ничего вам не принес, ничем не угостил. Но если вдуматься как следует, если взвесить, вы получили от меня такой подарок, какого и в жизни не видывали! Кого вы знавали сильней и грозней, чем Кунанбай? Могли ли вы думать, что дети его — такие же простые смертные, как мы? Осмелились бы вы поднять на них руку? Нет, никогда! Вам всегда казалось, что дети Кунанбая равны детям самого господа бога. Вы почитали их, будто они спустились с неба. Так вот мой подарок вам: я доказал вам, что сыновья Кунанбая — такие же люди, как вы, как я сам. Я доказал вам, что их можно схватить за ворот и начисто оторвать его. Больше того, я доказал вам, что если бить их крепко, по-настоящему, то и их можно избить до смерти!

И Базаралы засмеялся — весело, зло и торжествующе.

Воротилы отдельных родов, тайно соперничавшие с потомками Кунанбая, в полной мере оценили правоту его слов. Не рискуя смеяться открыто, они, опустив головы, незаметно улыбались. Но несмотря на это, ни от кого из них Базаралы не мог ожидать поддержки. Никто из биев и волостных не сказал бы ему: «Да, ты прав». Базаралы отлично знал и понимал это. Окинув сверкающим взглядом главарей родов, он закончил:

— Выслушайте еще одну правду. Не вам нужно было сказать все это. Я должен был сказать это народу. И я сказал это здесь в надежде на то, что хоть часть народа так или иначе узнает о моих словах. Больше мне говорить нечего. Я в ваших руках. Можете изрубить меня на куски.

Хотя для всех было ясно, что разбирательство не должно тянуться долго, некоторые бии стали задавать Базаралы вопросы. Кое-кто попытался выведать у него имена тех сорока жигитов, которые участвовали в набеге. Базаралы ответил коротко и резко:

— Никого называть я не буду. Перед вами я, зачинщик. Я и буду отвечать. Можете еще раз отправить меня на каторгу. Но людей народа, стоящих за мною, я не выдам!

Отвечая на обвинения Шубара, Базаралы сказал:

— Такежан — мой неоплатный должник. По его вине умер в ссылке мой старший брат Балагаз. Младшего брата Оралбая Такежан вынудил бежать из родных мест и умереть на чужбине. Я не знаю даже, где его могила. Набег я совершил из личной мести. Поэтому спрашивайте не с народа, спрашивайте с меня. Хотите — убейте, хотите — живьем закопайте в землю. Но только меня одного!

В этом и заключалась вся трудность этой тяжбы. Шубар утверждал, что за преступление должны отвечать все жигитеки. Вражда идет еще со времен Кунанбая и Божея.

— Базаралы лишь следовал этой давнишней вражде — доказывал он. — Стало быть, нельзя считать виновным его одного. Зачем мне его голова, с которой не срежешь ни куска мяса? Отвечать должны все жигитеки — своими табунами. Кроме того, он совершил такое преступление, которое мог сделать лишь чужой человек, враг, а не сын близкого рода. Как во времена джунгарского ига, он разгромил, разорил нас! Я хочу взыскать не только за уничтоженные косяки, но и за обиду. Иначе о примирении нечего и говорить. Пусть нищая голытьба наперед знает, что ожидает ее за такой поступок. Пусть никого не увлечет пример Базаралы! Нужно наказать так, чтобы жигитеки не смогли больше встать на ноги. Жалости быть не может, ущерб должен быть взыскан с лихвой. Они уничтожили восемьсот коней Такежана. Так пусть за каждого коня Такежана, невзирая на возраст, жигитеки вернут трех полноценных пятилетних коней. Вот чего я требую, — закончил Шубар.

Переговоры биев затянулись до позднего вечера. Уже к ночи бии вновь вызвали Шубара и Базаралы и устами Нурке объявили свой приговор.

Род Жигитек весь целиком был признан ответчиком. Хотя виноват был один Базаралы, но сородичей его нельзя было освободить от ответственности. «Кто ближе к огню, тот и обжигает руки», — говорит пословица. Если жигитеки не ответят за преступление своего сородича сейчас, — как можно предупредить новый разбой в будущем? Стало быть, за каждую голову разгромленного такежановского табуна жигитеки должны отдать ему по два пятилетних коня, а всего — тысячу шестьсот. Таков был приговор.

Этой же зимой и весной приговор был полностью выполнен. Из всех жигитеков не поплатились конями только те богатые аулы, которые поддерживали кунанбаевцев: аулы Уркембая, Байдалы, Жабая. На остальные аулы, главным образом на бедные, легла вся тяжесть расплаты.

«ЧЕРНЫЕ СБОРЫ»

1

В ауле Абая, расположившемся этой весной на берегу реки Барлыбай, славящейся своими сочными лугами и привольными пастбищами, нынче с самого утра стоит веселая, шумная суета. Множество людей озабоченно снует между юртами — Большой, Молодой, кухонными, гостевыми. Жигиты и женщины, сталкиваясь и обгоняя друг друга, торопливо несут к гостевым юртам одеяла, подушки, скатерти, самовары, миски, блюда, расписные пиалы. Во всем чувствуется какая-то праздничная торжественность. Молодые женщины принарядились в новые платья, повязали головы ослепительно белыми платками, обшитыми позументом, девушки разоделись в яркие камзолы, щеголяют в круглых шапочках, отороченных мехом выдры и украшенных пучками перьев филина. Детвора резвится — похоже, что ребят сегодня даже освободили от скучного ученья.

На лужайке за аулом слышны удары палок. Там выколачивают ковры, полосатые половики, стенные коврики, узорчатый войлок, а то, что уже вычищено, относят к юртам и украшают их. Две красивые гончие собаки придают всей картине удивительную живописность. Лохматые уши их отвисли, длинные хвосты бойко закручены, они весело прыгают и бешено гоняются друг за другом.

За юртами, что-то крича, то и дело проносятся вскачь молодые жигиты, исчезая в степи. Вслед за ними спешат на своих стригунах дети, но, отстав, возвращаются к аулу. У них нет определенного дела, им бы только пошуметь и пошалить. Своры собак и щенят преследуют их, добавляя лай и визг к общему шуму, стоящему над аулом. Этот шум и громкий людской говор беспокоят коней. Они вздрагивают, прядают ушами, вскидывают головы, а светло-буланый конь с черной гривой и пышным хвостом возбужденно рвется с привязи у Большой юрты, испуганно шарахаясь, когда мимо с лаем пробегают собаки или шумной ватагой мчатся ребятишки.

На вершине невысокого холма неподалеку от аула сидит на сочной зеленой траве Абай, окруженный друзьями. Глаза его устремлены в сторону Чингизских гор. Порой он с добродушной улыбкой оглядывается на аул. Возле юрт дымят самовары, висят над огнем очагов казаны.

Эти хлопоты и приготовления вызваны радостным событием: сегодня в аул приезжает сын Абая Абдрахман — Абиш. Он учится в Петербурге и уже около года не был на родине.

Молодые друзья Абиша еще с утра выехали ему навстречу. Они добрались уже до начала Бокеншинского перевала, лежащего на пути между Чингизом и Барлыбаем. Здесь были Какитай, Дармен, Муха, Альмагамбет, Акылбай, с ними напросились дети Акылбая — Аубакир и Пакизат, которых воспитывала Еркежан, жена Оспана. Сам Оспан баловал их, потакая всем их прихотям, и дети привыкли к тому, что могут делать, что хотят.

Поджидая Абиша, молодежь занялась гаданием на кумалаках — глиняных шариках, служащих для различных игр. На платок высыпают сорок один шарик и, смотря по их расположению, предсказывают будущее. Обязанности гадальщика-ясновидца нынче взял на себя Муха. Но едва высыпав кумалаки, он тут же стал поспешно их собирать.

— Суюнши! Садитесь скорей на коней, нечего больше гадать! — со смехом сказал он. — Когда кумалаки падают так, это называется: «Выйди и посмотри». Иначе говоря: «Уже видна голова лошади, на которой едет путник». И едет довольный, с удачей… Если кумалаки не врут, Абиш уже на самом перевале!

Подростки, обступившие Муха тотчас побежали к своим стригунам, крича:

— Глядите туда, сейчас покажется!

Пожалуй, впервые с тех пор, как выдумали гадание на кумалаках, предсказание «ясновидца» сбылось с такой точностью и быстротой. Едва сев в седло, Дармен громко воскликнул, показывая на перевал:

— Жигиты, наш Муха и впрямь водит знакомство с бесами! Смотрите, вон повозка Абиша! — и, ударив коня, первым помчался вперед.

В самом деле, на склоне горы показалась быстро спускавшаяся с перевала повозка, окруженная пятью-шестью всадниками. Встречающие стегнули коней и поскакали к ней что было мочи. То рассыпаясь поодиночке, то сбиваясь в кучу, они неслись по живописным холмам, покрытым травой, по болотистым ложбинам и наконец, взлетев на небольшой холмик, увидели прямо перед собой новенькую красивую повозку с откинутым верхом, запряженную тройкой саврасых. Она с грохотом катилась вниз, опередив сопровождавших ее верховых.

С трудом удерживая взмыленных коней, встречающие наперебой приветствовали долгожданного путника. Радостные крики, смех, восклицания понеслись навстречу Абишу. Впереди скакали Дармен и Какитай. Разглядев их, Абиш приказал остановиться, но не успел еще Баймагамбет удержать разогнавшуюся тройку, как Абиш с присущей молодому военному ловкостью легко спрыгнул с нее.

— Дорогой брат!

— Абиш-ага!

— Милый Абиш! — раздавались сердечные возгласы. Абиш, обнимая родных и друзей, побледнел от волнения.

Это привлекло внимание Какитая. Чуткое сердце его дрогнуло. Горячо обнимая Абиша и целуя его, он невольно подумал: «Белый как снег. С чего ему быть таким бледным, если он здоров?» За время разлуки с Абишем он не раз слышал, как пожилые женщины с опасением говорили: «Уж очень долго не приезжает Абдрахман на родину. Не нажил бы он там, на севере, какой-нибудь болезни!» И теперь Какитай не смог скрыть своей тревоги.

— Абиш-ага, как вы себя чувствуете? — заботливо спросил он, едва выпустив Абиша из объятий. — Хорошо ли доехали? Почему у вас такой исхудалый вид?

Абиш, обнимавший Аубакира и Пакизат, обернулся к нему. Сейчас на бледном, матовом лице его играл легкий румянец.

— Я вполне здоров, Какитай! — ответил он и стал расспрашивать об отце, об ауле, о родных, но прискакавшие к повозке остальные встречающие разъединили их. Спрыгивая с коней, они кинулись к Абишу, окружив его тесным кольцом и наперебой обнимая его.

Какитай побежал к повозке, где его поджидал Магаш.

Выпустив наконец Какитая из объятий, Магаш принялся подшучивать над сверстником:

— Э, Какитай, да у тебя нос совсем стерся! Когда ты улыбаешься, он теперь вовсе исчезает. Ну и непригляден же ты стал! Удивительно, как это Салиха может на тебя смотреть!

— А Салиха говорит: «Уж лучше курносый, чем безбородый, как Магаш!» — смеясь, отвечал Какитай, садясь рядом с Магашем.

Возле Абиша уселась Пакизат. Всадники окружили повозку. Баймагамбет ударил по коням. Грохоча на узкой каменистой дороге, извивающейся по ковыльной равнине, повозка покатилась прямо к аулу Абая. Медный колокольчик на дуге коренного заливался громким звоном.

Примостившись в ногах Абиша, Магаш и Какитай продолжали подшучивать друг над другом. Абиш с ласковой улыбкой наблюдал за ними. Их сердечная дружба радовала его. Видимо, Какитай сильно соскучился по Магашу, хотя не видал его только полтора месяца, которые тот провел в Семипалатинске, поджидая приезда Абиша. Да и сам Магаш все время вспоминал в городе своего друга и рассказывал старшему брату о том, что из всех своих сверстников он больше всего любит Какитая. Сейчас юные друзья вдруг прекратили свои безобидные шутки, замолкли и со счастливой улыбкой смотрели друг на друга, как бы не веря тому, что наконец встретились.

Обратившись к Какитаю, Абиш начал расспрашивать, где находятся сейчас аулы, на каких пастбищах, кто нынче кочует по соседству. Оказалось, что почти все иргизбаи уже откочевали на жайляу и на берегу Барлыбая в ожидании приезда Абиша оставался только аул Абая.

Вскоре шумный и веселый караван уже подъезжал к нему.

Все приготовления там были закончены, и множество людей собралось возле Большой юрты Абая и Айгерим. Сам Абай стоял в середине толпы. Длинный легкий бешмет из светло-желтой чесучи облегал его уже заметно отяжелевшее тело. Седеющие волосы отступили от лба и висков назад, широкий лоб стал еще более открытым. Тонкие, длинные брови по-прежнему были черны, морщин на лице почти не замечалось, лишь в бороде, не очень густой, но закрывающей весь подбородок, сильно прибавилось проседи.

Рядом с Абаем, взволнованная, бледная, со слезами на глазах, стояла Айгерим. За ней толпились женщины, старики-соседи. Молодых жигитов здесь не было: все они были на конях и сопровождали сейчас путников.

Когда аул стал уже виден, Дармен громким криком остановил шумную толпу всадников:

— Пропустите повозку вперед, пусть первым подъезжает Абиш! Не нас ведь ждет аул, а его. Да и зачем нам скакать впереди, как посыльным перед начальством? Осадите коней!

Толпа всадников разделилась, пропуская повозку. Баймагамбет, подхлестнул свою тройку и помчался прямо к Большой юрте. Абиш опять спрыгнул на ходу и быстро побежал к отцу, шедшему к нему навстречу с протянутыми руками.

Прижав к груди сына, Абай долго целовал его глаза, лоб, голову. Оба не произнесли ни одного слова, лишь этим горячим безмолвным объятием выразив друг другу тоску долгой разлуки. И когда Абай наконец отпустил юношу и поднял лицо, оно было бледно от волнения: он все еще, словно в каком-то опьянении, продолжал смотреть только на сына, ничего не видя вокруг.

Красные, с золотыми нашивками погоны Абдрахмана мелькали уже среди белых головных платков женщин. Едва Айгерим отпустила юношу, его стали поочередно обнимать пожилые женщины аула, старики. Все с любопытством осматривали юнкерскую форму, фуражку с кокардой, которую он держал в руках, блестящие пуговицы на белой гимнастерке. Высокий и стройный юноша, оживленный встречей, вызвавшей на его лице легкий румянец, был очень красив. Русые волосы были зачесаны гладко назад, открывая высокий лоб, на тонко очерченных губах играла улыбка радости.

Долгие объятия, слезы, нежные слова Айгерим, старших невесток, стариков-соседей… Каждый находит для него ласковое приветствие.

— Благополучно ли доехал, душа моя?

— Милый мой, ягненочек мой, да осчастливит твоих родителей встреча!

— С благополучным приездом, сердце мое!

Когда молодежь вошла в юрту, Абай, внимательно глядя на Абиша, спросил:

— Почему ты так похудел, Абиш? Здоров ли?..

— И вправду, ты такой бледный, — подхватил стоявший тут же Кокпай. — Видно, в Петербурге хорошо ученье, а не еда. Разве там поешь как следует!

Абай стал расспрашивать сына о столичных новостях, о жизни в Петербурге, о Михайловском артиллерийском училище, где с прошлой осени учился Абиш. Он знал, что оно было не тем учебным заведением, которое привлекало его сына: Абиш пытался поступить в Политехнический институт, но экзамен оказался для него слишком трудным. Абиш рассказал, что будет учиться еще два года, после чего его выпустят офицером артиллерии.

— Конечно, это не совсем то, о чем я мечтал, — сказал он шутливо и добавил: — Но я всегда помню ваши слова, отец:

Учись, мой сынок, — завет мой таков —

Для блага народа, не для чинов…

За чинами в военной службе я гнаться не собираюсь, но нужные знания и в военном училище получить смогу… Абай согласился с ним:

— Среди наук нет ненужных. Любая — бесценный клад, если только упорно заниматься ею. Будешь ли ты инженером, адвокатом или офицером — всегда сумеешь обратить свои знания на пользу родного народа. Родители твои другого и не желают, сердце мое… Важно, чтобы ты учился и был здоров. Лишь об этом и молю судьбу.

И Абай снова крепко прижал к груди сына.

Юрта заполнилась людьми, появилось угощенье, завязались общие разговоры.

Абай заговорил о своем новом русском друге Павлове, с которым он познакомился прошлой зимой в Семипалатинске. Павлов недавно был переведен сюда из Тобольска, где он отбывал ссылку. И теперь, отправляя Магаша встречать Абдрахмана, Абай передал с ним Павлову приглашение приехать в аул, обещая принять его как почетного гостя.

— Что же ты не захватил с собой Федора Ивановича? — спросил он Абиша. — Когда он приедет?

— Боюсь, что совсем не приедет. Он обратился к губернатору, а тот передал прошение полицмейстеру. Ну, а полиции лучше знать, где жить ссыльному.

Абай искренне огорчился.

— А я так ждал его… Хотел, чтобы он хорошенько отдохнул у нас.

— Я тоже был очень огорчен. Федор Иванович — очень образованный человек, глубокий ум… По-моему, он из тех людей, кто идет впереди общества. Кроме того, он настоящий ваш друг, отец. Пожалуй, лучше многих казахов ценит и понимает ваши труды. Жаль, что нынче он не с нами!

Вечером в юрте зазвучали песни и музыка. Аул Абая как бы притягивал к себе искусство — самые различные образцы его можно было встретить на дружеских вечеринках в Большой юрте. Тут бывали талантливые акыны, певцы, виртуозы-домбристы, мастера красноречия, щедрые на шутки и остроты. В этот лунный вечер над равниной Барлыбая понеслись в ароматном недвижном воздухе волнующие душу, не знакомые никому здесь мелодии: Абдрахман показывал свое мастерство в игре на скрипке.

Абиш играл русские народные песни — «Стеньку Разина», «Ермака», «Бродягу», «Не брани меня, родная», «Мой костер», — играл и оперные арии, мелодии из симфоний Чайковского, штраусовские вальсы, полные пленительного обаяния.

Игра Абиша на скрипке, манера держаться и говорить восхитили молодежь абаевского аула. Русское воспитание наложило на него свой отпечаток: каждым своим движением, всем внешним обликом, да и внутренним содержанием Абиш теперь разительно отличался от аульной молодежи. Это вызывало в них чувство гордости за него, уважение; они с нескрываемой завистью любовались им.

Наконец, устав играть, Абдрахман передал скрипку и смычок Муха.

О нем Абиш хорошо знал по письмам Магаша. В среде молодых друзей и учеников Абая Муха появился не очень давно. Сам он был не из этих мест, он происходил из рода Кандар племени Уак. Там он полюбил одну девушку, но так как родители ее противились свадьбе, Муха по совету Магаша, увез ее и поселился в тобыктинских аулах. Искусный певец, скромный и веселый, Муха понравился Абаю, стал одним из его любимцев. Увидев в Семипалатинске среди вещей брата скипку, Магаш рассказал, что Муха мечтает поучиться у него настоящей игре…

Абиш внимательно следил за игрой Муха. Было ясно, что Муха не обладал настоящей техникой, — очевидно, он лишь кое-чему подучился у какого-нибудь заурядного скрипача, — но в нем чувствовалось редкое дарование и музыкальность. Играл он какую-то своеобразную мелодию, жалобную и печальную, вкладывая в нее удивительно много чувства.

Так встретились в этот вечер с прибывшим издалека Абишем его родственники и друзья.

На следующее утро, сидя в юрте отца за кумысом, Абдрахман заговорил о том, что хочет навестить свою мать Дильду, старшую жену Абая. Было решено, что с ним поедут Магаш, Дармен, Какитай, Альмагамбет.

Когда кони были оседланы, Абай вышел из юрты проводить сына. Альмагамбет, как младший, подвел к Абишу его коня.

Абдрахман легко взлетел в седло. Конь весь напрягся, зашевелил острыми, как стебли камыша, ушами и завертелся, порываясь вперед. Все невольно залюбовались и конем и всадником — оба были достойны друг друга. Буланый гарцевал, грыз удила, бил копытом землю. Абиш, восхищенный конем, сдерживал его, заставляя играть на месте. Однако Айгерим, которая также вышла проводить Абиша, забеспокоилась.

— Что это за конь у тебя, свет мой? Будь осторожнее! — покраснев от волнения, с напряженной улыбкой сказала она.

Абиш благодарно взглянул на свою младшую мать и ласково ответил, склонив голову:

— Не бойся, кши-апа,[23] он просто важничает, хочет себя показать.

Все едущие с Абдрахманом сели уже на коней. Буланый, закусив удила, круто выгнул шею и капризно двигался боком. Видя, что он не желает идти шагом, Абиш дал ему волю. Буланый помчался ровной, плавной иноходью, далеко обогнав остальных всадников. Этому Абиш был даже рад: он соскучился по степи, по рекам и зеленым лугам, и ему хотелось побыть одному. Сердце его, истосковавшееся по родному краю и родному народу, теперь раскрывалось навстречу всему окружающему.

Живописное жайляу, покрытое свежей молодой травой, тихо дремало. Прохладный, ароматный ветерок веял над свободным простором.

В воздухе ни пылинки. Словно умытый росою, чист и прозрачен весь степной мир. Зеленый ковыль с белыми перистыми султанами, склоняясь, как бы в полусне, под вздохами ветерка, переливается на ближних склонах то серебристой, то темно-зеленой волной. На вершины холмов больно смотреть глазу, — кажется, что они излучают сияние. А далеко впереди на синеве горизонта вырисовываются зубчатые гряды. Это Шакпак, Казбала, Байкошкар; они еще покрыты прозрачной фатой белесоватого тумана, скопившегося в оврагах.

Зеленая равнина вскоре начала изменять свой вид. Всадники подъезжали к Керегетасу — дикому холму, образовавшемуся из каменных пластов, нагромоздившихся друг на друга. Еще у подножья холма начали встречаться голые бугры, а за ними — наклонно торчащие к нему длинные глыбы с острыми гранями и ребрами. В расщелинах их зеленеет можжевельник, низкий и цепкий, словно прилипший к камням. Иногда громадные скалы сплошь покрыты им, и тогда их можно принять за зеленые сопки. Вот там мелькнул архар, прижал к спине крутые рога и тотчас кинулся в чащу. Вот между камнями показалась красная лисица. Абиш вскидывает к глазам большой артиллерийский бинокль, который он захватил с собой, и все изящные и ловкие движения осторожного и хитрого зверя отлично видны ему. Длиннохвостая ведьма, быстро извиваясь, словно огненная ящерица, мечется в камнях, роясь под корнями можжевельника в поисках мышей. Вот она земерла, подняв к небу голову и тревожно следя за врагом, угрожающим с высоты: это над скалами взмыл голодный беркут, преследующий зайца, который спешит укрыться в камнях. Лисица рывком бросается вперед, исчезает и потом снова мелькает в кустах…

Некоторое время дорога идет мимо камней. Потом прохладный ветерок, пробегающий по склону, доносит до путника сильный и свежий аромат земляники. Перед ним в мягкой бархатной зелени открывается горная поляна. К аромату земляники прибавляется аромат цветов. Родной благоуханный край радостно приветствует возвращение своего истосковавшегося вдалеке сына.

Здесь стоит Большой аул Улжан, хозяйкой которого стала теперь старшая жена Оспана — Еркежан. Сама Еркежан вместе с Большой юртой откочевала на Шакпак. Туда же отправилась и Дильда. К полудню Абиш и его друзья доехали до Шакпака. Они остановились у Большой юрты, из которой слышалось заунывное пение жоктау — поминального плача. Слезы навернулись на глаза юноши. Жоктау пели обе снохи — и Еркежан и Дильда. Войдя в юрту, Абиш молча обнял сперва Еркежан, сидевшую ближе ко входу, а потом подсел к матери. Та крепко обняла его, продолжая причитание.

Абиш не стал сдерживать слез. Смерть старой бабушки была для него тяжелым горем. Но, прислушиваясь к негромким причитаниям Дильды, Абиш услышал в них кроме тоски по умершей жалобу на собственную долю, на то, что мучило ее всю жизнь. Дильда всегда была обойдена и обижена. Об этом никто не говорил открыто, но сам Абиш не раз задумывался о судьбе своей родной матери, эти тяжелые мысли волновали его и в Петербурге. Сейчас он слушал причитания матери, вполне понимая горе, которое та хотела выразить.

Видимо, поняли это и другие, и прежде всех Дармен. Со свойственной ему чуткостью он наклонился к Дильде и негромко сказал ей:

— Успокойтесь, женеше… Разве может пугать вас какое-нибудь горе, если у вас вырос такой сын? Посмотрите на него и порадуйтесь…

Плач постепенно затих.

Еркежан повернулась к Абишу и стала рассказывать о последних минутах жизни Улжан. Она умерла прошлой осенью, как только аулы прикочевали на зимовье. Еркежан говорила спокойно, не торопясь, стараясь как можно точнее передать слова Улжан, относящиеся прямо к нему.

— Твоя бабушка, милый Абиш, много о тебе думала. То и дело говорила: «Один он вдалеке от нас. А вдруг случится что-нибудь, вдруг заболеет? Все наши дети и внуки здесь, а он там один, словно веточка, оторвавшаяся от дерева». И еще она говорила: «Хоть мне и тяжело, что я его не увижу, но пусть он учится там. Я и сама хотела этого не меньше, чем его отец». Вот что говорила твоя бабушка, Абиш. Я считала своим долгом передать тебе ее слова.

И Еркежан надолго остановила на Абише взгляд добрых, умных глаз. Лицо ее было спокойным и привлекательным, и Абиш чувствовал к ней расположение.

Дильда и Еркежан поочередно рассказывали ему о последних днях Улжан. Сильно одряхлевшая за последний год, изнуренная долгой болезнью, Улжан скончалась спокойно, как будто бы заснула. В последнее время она уже не вмешивалась ни в дела своих детей и невесток, ни в их разговоры, сторонясь житейских забот и тревог. Лишь изредка она беседовала с Абаем и с Оспаном.

Воспитываясь у Дильды, в другом ауле, Абиш в детстве не часто видел Улжан. Но он хорошо помнил, как ласково она раскрывала ему при встречах свои объятия, как нежно гладила по голове, каким теплом веяло от нее. Все это воскресло сейчас в памяти Абиша, сердце его защемило. Да, забыть ее было нельзя. Опустевшая Большая юрта, где протекла вся ее жизнь, заставляла с грустью думать о ее чистом и светлом образе. Как когда-то Зере, она действительно была матерью рода, его совестью и душой.

Магаш вспомнил ее последние слова. Она умирала в полном сознании, за час до ее смерти еще нельзя было сказать, что это случится. Последние ее часы были отравлены Майбасаром. Зайдя к ней, он брякнул со всегдашней своей грубостью:

— Ну что, видно, покидаешь нас? К мужу отправляешься? Ты нас всю жизнь поучала, ну-ка, расскажи нам теперь, что такое смерть?

Улжан чуть заметно улыбнулась и спокойно ответила:

— Э-э, мой деверь, так ты и дожил до старости, ни о чем не думая. Подумай хоть теперь — разве я уже умерла? Когда будешь умирать, дорогой мой, узнаешь сам, что такое смерть… Зачем торопишься?

Больше она уже ни о чем не говорила. Всю жизнь она отличалась светлой и ясной мыслью и даже перед самой смертью не потеряла способности здраво рассуждать. Все долгие годы своей подневольной и тяжелой жизни она умела смотреть на горе и невзгоды спокойно. Так и теперь она не страшилась смерти, не трепетала в ужасе перед ней. Полная самообладания, она ушла из жизни, прикрыв ее дверь тихо и беззвучно.

Дильда два дня держала у себя Абиша, ухаживая за ним, как за почетным гостем. На третий день, когда он собрался уезжать, она высказала ему то, что, видимо, давно беспокоило ее. Она подозвала и Магаша, знаком показав ему, чтобы прислушался и он.

— Свет мой, — начала Дильда, положив ладонь на тонкие пальцы Абиша, — твоя покойная бабушка не раз говорила мне мудрые слова. Еще давно, когда ты был ребенком, Абай собрался ехать в город учиться. Мне было тяжело и грустно, но бабушка тогда сказала мне: «Не задерживай его, проводи с добрыми пожеланиями. Поддержи его душой, он едет за знаниями, едет, чтоб стать человеком. Если сбудется его мечта, тебе же и твоим птенцам в жизни будет лучше». Все эти годы, когда ты был вдали от меня, я говорила себе эти же слова. Так и сейчас я смотрю на твою жизнь в чужих краях. Да будет счастлив твой путь! — И она прикрыла лицо платком, сдерживая слезы.

Абиш понял, что она с трудом мирится с разлукой. Дильда открыла лицо и посмотрела сыну прямо в глаза.

— У меня есть к тебе единственная просьба. Ты не откажешь мне? Исполнишь? — И она обняла сына.

Мольба, прозвучавшая в голосе матери, взволновала его.

— Говори, апа,[24] я все исполню.

— У меня одно желание: чтобы ты, снова уезжая от нас, оставил здесь свое гнездо. Я хотела бы видеть возле себя человека, дорогого твоему сердцу… Засватай себе невесту!

Абдрахман, не умеющий скрывать своих чуств, искренне удивился.

— Ойбайау! Что ты говоришь, апа?

И, как бы ища поддержки, он, улыбаясь, повернулся к Магашу:

— Что я могу ответить? Ведь я как будто взрослый жигит… Об этом мне нужно думать самому…

Магаш усмехнулся:

— Ты прав, Абиш-ага. Но тебя никто и не принуждает, апа просит тебя только подумать. А сказать по правде — пора!

Ответ брата тоже изумил Абдрахмаяа. Он перестал возражать, но больше уже не смеялся, растерянно замолчав.

Дильда снова заговорила:

— Он верно говорит, никто тебя не принуждает, душа моя. Я и не жду, что ты женишься в этот приезд. Но если мне суждено иметь невестку, назови мне девушку, которая тебе по душе. Засватай ее и поезжай учиться. Одна мысль, что у тебя уже есть невеста, успокоит меня и поддержит всю долгую зиму. Твоя невеста будет моей радостью н надеждой в разлуке с тобой.

Абиш все еще сомневался, но не стал и отнекиваться.

— Подумай, посмотри сам, — продолжала Дильда. — Кто-нибудь понравится — засватаешь. Сама я никого не хочу тебе навязывать. Но вот в ауле татарина Махмуда есть Магрифа, девушка на выданье. Настоящее сокровище. Посмотри ее, свет мой. Взгляни — и скажи мне, ни о чем большем я и не прошу. Обещаешь?

Абишу стало неловко. Покраснев, он только кивнул головой. Дильда поцеловала его и взглянула на Магаша.

— Моя просьба касается и тебя, Магаш. Тебя и Дармена. Познакомьте Абиша с Магрифой.

Оба жигита промолчали, но, взглянув на них, Абдрахман убедился, что они готовы с радостью исполнить просьбу Дильды.

На обратном пути Магаш и Альмагамбет нарочно отстали, чтобы дать возможность Дармену поговорить с Абишем. Абиш узнал, что не одна Дильда мечтает об его свадьбе — это общее желание всех родных. Ничем не выдавая своих мыслей, Абдрахман молча слушал Дармена. Тот заговорил теперь о Магрифе, расточая ей похвалы со всем красноречием поэта. Ей семнадцать лет, она имеет хорошее для девушки образование, правда мусульманское, вежлива, хорошо воспитана. О внешности ее Дармен распространяться не стал, сказав лишь, что она бесподобная красавица. Ее надо увидеть, а рассказывать о ней бессмысленно даже для поэта. Абиш должен хотя бы раз побывать в ауле Махмуда, а дальше сердце подскажет само. Может быть, не понадобится никаких уговоров и просьб.

Таков был дружеский совет Дармена.

Альмагамбет, ехавший сзади них, пел во весь голос «Пламя любви…», «Любимая моя, бесценная…», «Юная любовь…». Как нарочно, все его песни говорили о молодом чувстве, и пел он их с горячей страстью.

Зеленый простор жайляу, овеянный ароматной вечерней прохладой, веселит душу, пробуждает мечты, сладко томит сердце. Сами собой, беспокойно и волнующе возникают смутные желания, надежды. Абиш молча улыбается. Кажется, его самого смущают собственные мысли и он старается убежать от них. Возникающим чувствам нет выхода, вопросы остаются без ответа. И лицо его то бледнеет, то вспыхивает жарким румянцем.

2

Абай старался проводить с сыном как можно больше времени. Ему было радостно думать, что мечта его исполняется, что его любимый сын получает русское образование. Он с удовольствием слушал долгие рассказы Абиша о том новом, что видел тот в России, и расспрашивал его сам о новостях науки, о железных дорогах, о фабриках и заводах, о русских учебных заведениях, о Петербурге и о других больших городах. Часто разговор переходил на русскую литературу, отец и сын говорили о книгах Толстого, Салтыкова-Щедрина, о стихах Некрасова. Но порой Абай вдруг становился молчаливым и задумчивым. Какие-то неотступные мысли тревожили его.

Абдрахман знал, что Абай вольно или невольно вмешивается в споры и тяжбы аульных аткаминеров, в нескончаемые степные интриги. За эти годы Абай нажил себе сильных врагов — степных воротил, которые в своей ненависти то и дело затевали против него различные козни. Братья рассказали Абдрахману, что лишь в среде преданной ему молодежи Абай отдыхает душой от окружающей его злобы и зависти. Абиш с удивлением услышал, что ненавидят отца не только известные интриганы и сутяги вроде Уразбая, Жиренше и других воротил соседних родов, но и иргизбаевские заправилы, и что даже близкие родственники, в том числе Такежан, вступили в скрытую вражду с отцом.

Все это очень мучило юношу, и ему казалось, что жизнь отца проходит в тревогах, печали. Он как на маленьком островке, который вот-вот будет охвачен пламенем бушующего кругом пожара…

И, как бы отвечая мыслям Абиша, Абай однажды сказал:

— Дорогой Абиш, если бы ты знал, как огорчают меня эти постоянные столкновения с корыстью и темными предрассудками! На долю мне выпало бороться с ними. — И, обращаясь к вошедшей в юрту молодежи, он закончил — А вот вас, друзья мои, ждет другая жизнь. Я — конец старого века, а вы — начало нового.

В этот вечер Абиш горячо говорил о людях труда в России:

— Какие стойкие силы зреют сейчас там, отец! Какие подвиги совершаются! Людей тяжелого труда в России два рода: крестьяне, живущие в деревнях, и работники фабрик и заводов, число которых с каждым годом все умножается. И те и другие выходят сейчас на упорную борьбу против насильников, за свой труд, за землю, за свои великие цели…

И Абиш с увлечением стал рассказывать о стачках на фабриках Морозова в Орехово-Зуеве в 1885 году. Когда он сообщил, что на этого бая работает одиннадцать тысяч рабочих, молодые слушатели были поражены. Он рассказал, как восемь тысяч рабочих в один и тот же час прекратили работу и вышли на улицу. Тут струхнул не только бай, но и власти. Прискакали прокурор, губернатор, привели войска, думали запугать народ. Но у восставших работников были отважные вожаки. Они призывали бедняков к стойкости, напоминали им, как бай обижал и обкрадывал их. И работники выдержали и не испугались ни начальства, ни войск. Шестьсот человек из них арестовали, но работники все равно не отступили от борьбы. Она не прекращается вот уже шестой год. Каждую неделю то в Петербурге, то в Москве, то в других больших городах России происходят такие мятежи работников, «стачки», как называют их русские.

— Вот какие пути находит трудовой народ, когда он хочет бороться за лучшую жизнь, — закончил Абиш.

Абай удивленно расспрашивал сына, как тот узнал об этих событиях. Неужели о них говорят открыто?

Абиш рассказал, что узнал он обо всем этом от старого петербургского рабочего Еремина, с которым познакомился, привезя ему письмо от Павлова. Старик всей душой привязался к казахскому юноше, впервые приехавшему в столицу. По воскресеньям, когда Абиш приходил в отпуск из училища, у них начинались долгие разговоры, из которых юноша узнавал то, чего ему не могло дать ни училище, ни общение с приятелями.

— Еремин подсчитал, что за последние десять лет произошло больше полутораста крупных стачек. Вот как борется в защиту труда русский народ! Вот с кого надо брать пример нам, степнякам! — горячо говорил Абиш.

Абай с молчаливым одобрением кивал головой, соглашаясь с сыном, и потом сказал:

— Видимо, такой род борьбы появился в последние годы. До сих пор я не читал об этом ни в одной книге. Но если вдуматься, только так и может бороться за свои права множество людей, объединенных общим трудом и общими бедами. Кажется, вот это и есть самая последняя новость, рожденная Россией! Очень хорошо, что ты привез ее к нам!

Заговорив потом о крестьянских восстаниях, Абиш решил повернуть беседу на набег Базаралы.

— Вы писали мне как-то, отец, что стихи должны воспевать труд и труженика, — начал Абдрахман. — Это правильно. Но как? Можно говорить о самом труде — это одно. А оценить по достоинству борьбу тружеников за свои права, рассказать об их силе, мужестве — другое. И, пожалуй, это еще сложнее и важнее для истинного поэта. Мне рассказали о прошлогоднем набеге Базаралы… Что вы думаете об этом?

Вопрос Абиша заставил Магаша, Дармена и Какитая насторожиться. Они и сами не раз горячо спорили об этом событии. И теперь жигиты подняли глаза на Абая, с нетерпением ожидая его ответа.

Абай слушал сына спокойно, облокотясь на подушки. При последних словах Абиша он быстро повернул к нему голову, внимательно посмотрел на него, потом достал из табакерки насыбай — жевательный табак, — заложил его за губу и погрузился в задумчивость, ничего не отвечая.

Абдрахман продолжал:

— Как вы думаете, отец, что толкнуло Базаралы на такой поступок? Сказались ли в его поступке думы, надежды и желания всех аульных бедняков, бесправных, угнетенных? Сознавал ли сам Базаралы значение своих поступков?

Абай молчал. Читая Чернышевского или Герцена, он понимал их рассуждения. Но иногда бывало, что он лишь ощущал великую правду жизни, не будучи в силах пересказать ее словами. Вопросы Абиша вызывали в нем такое же чувство, и Абай долго сидел молча, подыскивая слова, которыми он сумел бы ответить на эти вопросы.

Наконец быстрым движением он выбросил из-за губы насыбай, отхлебнул кумыса и заговорил, задумчиво двигая рукой вперед-назад свою тюбетейку:

— Сперва разберем, кто тут действовал: один человек или народ? У многих были в душе те же мысли и стремления, что у Базаралы. Вот я и думаю, что он выразил своим поступком общее желание. Однако желание — это одно, а осуществление его — другое. Поступок Базаралы, отразивший общие давнишние надежды и стремления, оказался все-таки неожиданным для большинства. Наш народ не дорос еще до того, чтобы понять всю необходимость такой борьбы. Для этого еще долго нужно сеять в его сознании плодоносные семена. Чтобы воспитать и пробудить крестьянство, нужны такие люди, как Чернышевский. Я часто вспоминаю о нем, когда думаю о поступке Базаралы. Но, видимо, гнев народа не всегда дожидается, пока справедливые люди, мыслители, думающие о нем, укажут ему пути борьбы. И, мне кажется, народ поступает правильно, если начинает действовать. Иногда чей-нибудь решительный поступок заставит всех встрепенуться и подняться на ноги. Быть таким человеком, подымающим народ, — великое дело…

Абай снова замолчал. Все ожидали, что он скажет дальше.

Собравшись с мыслями, Абай продолжал:

— Сознательно ли действовал Базаралы? Я знаю, что горькая доля бедняков-сородичей давно волновала его сердце, и уверен, что все его поступки после возвращения с каторги совершенно сознательны и обдуманны. Он отлично понимал, кому наносит удар и от чьего имени. А может быть, понимали это и все сорок жигитов, которые действовали с ним вместе. Спроси Даркембая, я высоко ценю его ум и совесть. Послушай его. Ему хорошо известны все мысли и желания нашего народа, все корни его поступков. Наконец, ты спрашиваешь, как я сам отношусь к этим событиям…

Он опять помолчал и потом заговорил взволнованно:

— Я в долгу перед этими смельчаками. Они герои. Их дела должны быть воспеты яркими, сильными словами. Если я певец народа, я в большом долгу перед ними. И не я один — все вы, мои друзья, молодые поэты, сидящие здесь. Пишите о горе народном, пишите словами, понятными для народа!

Жигиты переглянулись и опустили глаза, как бы принимая на себя возлагаемую на них обязанность.

Слова Абая глубоко тронули Абиша, но ему хотелось выяснить все до конца, и он снова обратился к отцу:

— Но ведь в конце концов Базаралы все-таки не одержал победы? Наоборот, заправилы родов показали клыки и снова прижали народ. Бедняки, которые поддерживали Базаралы, были принуждены уплатить большой штраф, как я слышал.

— Да, жигитеки лишились последнего скота. Сделались жатаками, — подтвердил Какитай.

— Не только не получили никакого облегчения, но даже лишились того, что было у них в руках, — добавил Магаш.

Абай, подтверждая сказанное, кивнул головой.

— А не вызвало это у бедняков раскаяния? — продолжал Абиш.

Абай на этот вопрос ответил не сразу. Он почему-то остановил пристальный взгляд прищуренных глаз на Дармене, как будто отыскивая ответ на его красивом лице, потом повернулся к сыну.

— Видишь ли, — начал он, — конечно, часть жигитеков живет сейчас в еще большей нужде, чем прежде. Да и сам Базаралы лишился всего. Как говорится, остался на голой земле. Но не это его мучило, а то, что многие из его друзей и сородичей потеряли последнее. Он не раз говорил мне той зимою: «Не пойди они со мной в набег, сохранили бы свой жалкий скот». Сам-то он не раскаивался в сделанном, не жалели об этом ни Даркембай, ни Абылгазы. И мне кажется, что так думают и те смельчаки, что пошли с ними в набег против Такежана. Многие из жигитеков теперь ушли в русские поселки, осели, перешли на земледелие — даже старик Даркембай, дядя нашего Дармена… А кроме того, не свидетельствует ли о росте силы народа такое крупное, небывалое в степи событие? Не говорит ли это о приближении чего-то нового? Да, эта вспышка народного гнева не дала видимого успеха. Но значит ли это, что она бесполезна? Мало ли знает история прекрасных действий народа, не увенчавшихся немедленным успехом? И разве справедливая историческая мысль осуждала их за это? Неужели действия Базаралы надо расценивать по числу прибавившихся или убавившихся у жигитеков и жатаков коней? Русская история знает силу народных движений. Восстание Степана Разина было подавлено с кровавой жестокостью. Народная война, поднятая Пугачевым, закончилась тем, что его обезглавили на Лобном месте в Москве. Что было бы, если на действия Разина и Пугачева русский народ смотрел бы глазами отцов, матерей и сирот, лишившихся своей опоры после разгрома восстания? Большая историческая правда заставляет смотреть на такие события иначе. Они сотрясают основы старой жизни. И с этой точки зрения ясно, что набег Базаралы — хотя его и нельзя сравнивать с великими народными движениями, ибо это только слабый росток, растоптанный темной силой старой степи, — все же говорит нам, что в казахской жизни родилось что-то новое, небывалое.

Слова Абая произвели на всех глубокое впечатление.

— «Из искры возгорится пламя!» — восторженно воскликнул Абиш.

Абай внимательно посмотрел на Абдрахмана и ласково улыбнулся.

3

Вскоре аул Абая перекочевал на урочище Кзыл-Кайнар. На этом жайляу кроме речки есть много источников и ключей. И нынче здесь одних иргизбаевских аулов собралось больше десятка, а рядом расположились еще и стоянки родов Карабатыр, Анет, Торгай и Топай. Стада порой сбивались вместе, и охраняющие их собаки то и дело кидались в драку.

Аулы тесно сгрудились на равнине. Теперь особенно резко бросались в глаза стоящие на краю каждого черные, дырявые юрты, а порой и просто шалаши бедняков. Жайляу как бы нарочно выставило их напоказ. Даже при первом взгляде на эти нищие юрты легко было понять, какой тяжелой нуждой придавлено к земле большинство семей каждого аула.

Далеко вокруг разбрелись по пастбищам пестрые многочисленные табуны и стада. В одних сотни голов, в других тысячи. Все они принадлежат белым юртам, но обитатели черных юрт знают это живое богатство гораздо лучше, чем его хозяева. Здесь, в дырявых юртах, живут пастухи, доильщики, табунщики, чабаны, сторожа многочисленных стад. Зимой и летом с рассвета до вечерней зари и все ночи напролет бедняки заботятся о скоте. Мысли и тревоги нелегкого пастушьего труда не оставляют их даже в беспокойном сне.

Не только на этом жайляу живет так аульный народ. То же можно видеть на всех соседних урочищах, начиная с жайляу рода Бокенши Ак-Томар, расположенного на дальнем краю Чингизской волости, на всех урочищах всех родов: и на Суык-Булаке жигитеков, и на Тонаша котйбаков, и на Кзыл-Кайнаре иргизбаев, и на Айдарлы сактогалаков — кончая урочищем Карасу, принадлежащем роду Есполат.

Сегодня на все эти жайляу обрушилась беда. Грозная буря налетела на семьи бедняков. Ни одной из белых юрт она не коснулась даже легким дуновением. Зато дырявые черные юрты и нищие шалаши она треплет, как свирепый степной ураган. Лишь доильщиков, пастухов, сторожей, табунщиков, немощных вдов и сирот выбрала себе в жертву эта беда.

Не впервые приходит она в аулы. Каждый год-полтора обрушивается на бедноту одно и то же горе. И поэтому едва сегодня весть о нем пронеслась по черным юртам, лица людей помрачнели. Тревожное, тоскливое и беспомощное чувство овладело людьми.

Имя этому повторяющемуся бедствию было «сбор налогов»: пришло время, когда начальство собирает покибиточный налог и недоимки по нему, а вместе с этим и «черные сборы».

И хоть весть об этом прилетела в аулы Иргизбая в знойный летний полдень, она заледенила сердца январским морозом. Привез ее старшина первого административного аула Отеп. Вместе с ним проскакали по жайляу и двое посыльных — шабарманов, отъявленные забияки и задиры, настоящие молодые джины,[25] — Далбай и Жакай. Спеша в Ак-Томар, они по дороге избивали табунщиков, если те не очень торопились сменить им коней. Врываясь в аулы, они скакали, не разбирая дороги, пугая детей, разгоняя стада и дразня собак. Одно их появление уже вызывало в людях и страх и смятение.

Отеп остановился в белой юрте Исхака, собрал сюда бедноту аула и объявил приказ:

— К нам в волость едет начальство. Говорит, зазнались в нашей волости люди, несколько лет не платят недоимки по царским налогам. Велено за три дня полностью собрать покибиточный сбор, недоимки и «черный сбор»! Начальство уже здесь, остановилось в Ак-Томаре. Вызвало к себе всех биев, старшин, волостного писаря. Вот туда я и тороплюсь. За вас, голытьбу, я отвечать не хочу, а недоимки все только за вами! Завтра к полудню будьте готовы отдать долги чем хотите: скотом или деньгами. От меня теперь милости не ждите, будете завтра выть — пеняйте на себя! Не соберете денег — отниму последнюю дойную корову, последнюю козу, клячу и отдам властям!

Эти же угрожающие слова он повторил и в других иргизбаевских аулах и лишь к ночи ускакал в Ак-Томар.

С этого и началось. В каждом ауле беднота — батраки и пастухи — не находила себе места. Отеп не шутит. Конечно, завтра он выполнит то, что обещал. Не посмотрит на слезы, отнимет последнее. Разве он пожалеет нынче, если не жалел в прошлом году?

И к вечеру, когда дневные хлопоты со скотом закончились, растерянные, подавленные люди потянулись к белым юртам хозяев, бредя в сумерках печальными тенями.

В ауле Исхака первым вошел в байскую юрту старик Жумыр, пастух верблюжьего стада. На голове у него свалявшаяся, почти истлевшая баранья шапка, на ногах старые войлочные чулки. Драный чапан, подвязанный прокопченным арканом, потерял всякий цвет и напоминал тряпье, год пролежавшее на какой-нибудь покинутой стоянке. В этих лохмотьях старик выглядел так, словно сорвался с виселицы.

Гостей в юрте не было, в ней сидел лишь сам Исхак, опираясь спиной о высокую кровать, и возле него, облокотясь на груду подушек, полулежала холеная, надменная Манике.

Старик повернулся к хозяйке, с надеждой подняв на нее маленькие, красные от постоянного пребывания на ветру глаза.

— Нечем мне отдать покибиточный сбор и недоимку — заговорил он. — Вы знаете мою нужду. Кроме единственной кобылки, ничего нет… А говорят, еще одна тяжесть навалилась: «черный сбор» требуют.

— Ну, а мы при чем? — буркнул Исхак.

Манике, не поворачивая головы, недовольно поджала губы.

— Волостью управляем не мы. И не мы собираем налоги. Что ты хочешь от нас? Не тревожь людей попусту.

Но в душе Жумыра еще теплилась надежда.

— Думал, вспомнят труд старика, выручат из беды.

— Какой же труд? — холодно сказала Манике. — За что тебя выручать?

— Как какой? Я же все время тружусь на вас! Даже вот этот несчастный, кого ты прозвала Борбасаром, и тот пасет ваших ягнят! — сказал старик, подталкивая вперед большеносого мальчика с растрескавшимися до крови босыми ногами.

— Разве я мало даю за твой труд?

— Что же даешь, дорогая? Хоть раз брали мы плату?

— А у кого ты кормишься и зиму и лето? Что же, это не стоит платы?

— Кормишься!.. Разве это пища? Объедки, остатки, помои! Этого и для собак не жалко.

— Э-э, оказывается, у тебя еще и вредный язык, дохлый старикашка! Коли так, знай, что хорошая собака лучше ленивого пастуха! Понял?

— Ой, байбише, вон как ты колешь глаза бедняку! Не зря, значит, ты у моих ребят отняла человеческие имена! Для тебя все собаки!

И старик, трясясь от гнева, вышел из юрты, уводя с собой мальчика.

У Жумыра — двое сыновей. Старший — тот, что пришел с ним, второй — еще малыш. Их звали Такежан и Исхак. Когда старик появился в ауле и Манике узнала об этом, она возмутилась. У казахов имена повторяются редко, а у этого оборванца, как нарочно детей зовут так же, как сыновей самого Кунанбая! «Как смеют они носить имена наших мурз? Похоже на то, когда паршивый пес носит кличку Борбасар[26] — бушевала она. И тут же заявила — А впрочем, верно: пусть отныне старший называется Борбасар, а младший — Корер,[27] как зовут наших собак… Самые подходящие для них имена!»

И самовластная байбише заставила всех называть детей старика вместо их имен собачьими кличками. Об этом то и вспомнил сейчас с горькой обидой Жумыр, уводя сына от злобной хозяйки.

В этот вечер и в ауле Такежана тоже было горе. Возле продранной, ветхой юрты старуха Ийс, обливаясь слезами, доила свою единственную серую коровенку. В юрте ждали молока маленькие внуки Асан и Усен. Одному шесть лет, другому четыре года. Это дети умершего Исы, единственного сына старухи; мать их тоже недавно умерла. У старухи голова идет кругом: что же теперь делать? Требуют недоимки, а скота у нее — только вот эта одна серая коровенка. Неужели в последний раз она доит ее! «Чем же завтра я накормлю сироток? Что я им дам?» — всхлипывая, думала она.

И, уложив ребят, Ийс поплелась к Такежану.

В Большой юрте она застала Азимбая и Каражан. Сам Такежан, как бий первого аула, тоже уехал по вызову начальства в Ак-Томар.

До появления Ийс здесь побывали уже двое других бедняков. Они так и ушли, не добившись милости от Азимбая. Один из них был ночной сторож Канбак. На его просьбу помочь Азимбай ответил ему обвинением: этим летом Канбак заснул, и волк задрал двух ягнят. А когда начали разбираться, сторож вдобавок и надерзил. Азимбай напомнил, что он тогда же предупредил Канбака: «Вот приедут за недоимками, ты попомнишь этот день! Завоешь!»

Издевательство молодого хозяина вывело из себя Канбака. Он ответил, что вот уже третий год не получает никакой платы — его утешают только тем, что платят за него недоимки. А нынче и в этом отказывают! Азимбай крепко его выругал и, угрожая плетью, выгнал из юрты.

Вторым просителем был Токсан. Много лет доит он такежановских кобылиц. Ему уже тридцать пять лет, а он все никак не может выплатить за свою невесту стоимость пяти верблюдов. Так и живет бобылем, без семьи, без крова, привязанный к байской юрте. Азимбай все обещает ему уплатить за невесту, родители которой тоже живут в батраках такежановского аула, сторожа зимовку. Азимбай подговаривает их не отдавать пока Токсану свою дочь, обещая выколотить из него настоящий калым. А самому Токсану он все не платит за службу, держа его таким образом на привязи в своем ауле. Дело в том, что Азимбай узнал намерение Токсана откочевать после женитьбы в другой аул, а лишаться такого старательного хорошего работника не хочется. И сегодня он тоже ничем не помог Токсану, ответив ему одними издевательствами.

Третьей пришла сейчас Ийс. В слезах она обратилась к Каражан, напомнила, что зиму и лето она вила арканы, веревки, поводья, недоуздки, чембуры для всего аула. Слезы старухи как будто тронули Каражан. Она обратилась к сыну:

— Разве ее юрту не вычеркнули из списка налогов? Такое мягкосердечие матери разозлило Азимбая, и он резко ответил:

— Я, что ли, распоряжаюсь списками? К чему ты об этом говоришь?

Старуха Ийс взмолилась: у нее одна лишь кормилица двух сирот — коровенка, отнимут ее — совсем обнищаешь. Но ее слезы не тронули Азимбая. Наоборот, по его расчетам, старуху нужно было покрепче приторочить к их аулу. Пусть она настолько зависит от юрты Такежана, что даже не посмеет и думать о жизни вдали от нее. Тогда она еще старательнее будет вить арканы.

Поняв холодную жестокость Азимбая, старая Ийс зарыдала в голос, вспоминая, как погиб ее единственный Иса.

— Из-за твоего же стада простился с жизнью мой сын! Разве не мог он бросить его в ту ночь и уберечь себя? А он в дырявой одежде спасал от бурана заблудившихся овец. Простыл тогда, зачах и умер мой родной! Душу положил за твой скот, а у тебя и к его детям жалости нет.

Азимбай грозно прикрикнул на старуху:

— Уж не пеню ли ты хочешь получить за него? Попробуй взыщи! Прочь из моего аула, убирайся от нас, живи где хочешь.

Выгнав наконец старуху, он решил и в самом деле оставить ее без коровы, чтобы навсегда накинуть на нее петлю неволи.

Ийс поплелась к своей юрте, проклиная хозяев:

— Погибель вам! Пусть горе мое обрушится на вас, пусть слезы моих сирот прожгут ваши сердца! У лютого врага лучше просить защиты, чем у вас!

И, обняв двух своих малюток, она проплакала всю ночь.

— Сиротинушки вы мои несчастные! Куда мы теперь с вами денемся? — Слезы обильно катились по ее изможденному лицу, тяжелые вздохи раздирали грудь.

В эту ночь такие же мольбы и гневные проклятья раздавались в аулах Майбасара, Акберды, Ырсая и других баев из рода Иргизбай. И богачи Котибака, Жигитека, Бокенши в этот вечер также не слышали от своих батраков и соседей ничего, кроме мольбы о помощи, а потом проклятий или смелых правдивых слов укора и обвинения.

В ауле Сугура из рода Бокенши уже началось взыскание недоимок. Бии и старшины угодливо и подобострастно окружили приехавшего туда крестьянского начальника Никифорова. Именем Мекапара — так произносили они фамилию начальства — они и приказывали, и угрожали, и запугивали бедный люд всей окрестности:

— Мекапар сам сказал!

— Мекапар нынче сердитый!

— Мекапар строгий начальник, попробуйте его ослушаться!

Вопли, стоны и слезы с утра стояли в окрестных аулах бокенши, борсаков и жигитеков. Здесь выколачиванием недоимок занимались урядник и пристав, которого народ за его алчный нрав и жадность ко взяткам давно уже прозвал «Кок-шолаком».[28] Нынче и урядник, который безжалостно отбирал у людей последнее, пуская в ход нагайку, получил прозвище: его фамилию — Сойкин — стали произносить «Сойкан» (хищник). Вчера он для устрашения людей избил шабармана Далбая и исхлестал до крови нагайкой пятерых бедняков борсаков, которые не к сроку пригнали свой скот. Сами аульные старшины говорили о нем: «Наш Сойкин без плетки и взяток дня не проживет». В этой своре насильников особенно отличался еще и писарь Чингизской волости Жаман Гарин. За его жестокость и бешеный нрав бедняки рода Бокенши называли его «Кабан-гарин» (черный кабан).

Все эти кок-шолаки, сойканы, кабан-гарины — волки, хищники, кабаны — впивались нынче своими клыками в живое тело народа.

Этой ночью, сидя с приставом и урядником за картами, писарь Кабан-гарин договорился с властями о том, чего хотели Жиренше, Такежан и другие воротилы. Городские власти приехали в степь для того, чтобы собрать с населения покибиточный налог этого года и недоимки за прошлый год. Но у старшин, биев и аткаминеров были и свои счеты с народом: до сих пор им не удалось выколотить из него «черные сборы». Теперь они предлагали властям вместе с царскими налогами собрать с населения и эти поборы. Пусть это не пойдет в царскую казну, зато кое-что попадет и в карманы тех, кто поможет аткаминерам получить свои доходы. Кабан-гарин намекнул, что собранное будет поделено так, чтобы остались довольны все, начиная с самого Никифорова. Ему не пришлось тратить много времени на уговаривание Кок-шолака и Сойкана. Многозначительными улыбками и кивками они подтвердили свое согласие.

Узнав об этом, так же довольно стали улыбаться Такежан, Жиренше, Бейсемби и другие аткаминеры. И, словно вороны или беркуты, завидящие издали мертвечину и слетающиеся к ней с далеких вершин Догалана, Орды, Ортена, Шуная, бии, старшины и другие властители степи съехались на жайляу Кзыл-Кайнар, чтобы начать свирепое нашествие на народ.

В степи деньги, как правило, почти не имели хождения. Они водились только в окованных сундуках богатых юрт, бедняки никогда их и в глаза не видывали. Однако и покибиточный налог, и недоимки, и «черные сборы» определялись в деньгах. А так как у бедняков их не было, то, забирая у них скот, сборщики оценивали его на деньги по собственному усмотрению.

С помощью плетей и нагаек шабарманы, старшины и стражники, предводительствуемые Сойканом, выгоняли из аулов последних овец, коров и лошадей бедняков. В юртах в страхе кричали дети, плакали матери, проклинали насильников старики. Но ничто не могло удержать этот поток, уносивший из аулов опору жизни.

Чем дальше двигалась по жайляу Кзыл-Кайнар эта лавина, тем больше становилось стадо, гонимое грабителями. И вслед за ним двигалась стонущая в горе сама степь. За отобранными кормилицами — кобылицами, коровами, овцами, — не отставая, шли люди. Уста их исторгали проклятия, в глазах горела ненависть. Это были горе и слезы народа.

Не было ни одного аула на любом жайляу жигитеков, бокенши, котибаков, где бедняков не коснулось бы это бедствие.

На отдаленном урочище Суык-Булак стоял многолюдный бедный аул жигитеков, в котором жили Базаралы, Абды, Сержан, Аскар и старый Келден. Когда сюда дошли вести о беде, постигшей окрестные аулы, люди заволновались.

— Что мы будем делать, когда доберутся до нас? Чем заплатим недоимки? Разве посчитаются они с тем, что Такежан нас только что разорил? На две семьи по одной коровенке, даже козы не у всех! Неужели последнее отдавать?

Такие мысли мучили всех. Когда об этом заговорили в юрте Базаралы, который уже несколько дней лежал в приступе жестокого ревматизма, полученного в Сибири, он решительно ответил:

— Ну что плакать заранее? Приедут — поглядим, как поступить. Я думаю, в ком есть живая душа, не так-то просто отдаст последнюю опору в жизни! Пусть из аула никуда не отлучаются такие жигиты, как Сержан, Абды, Аскар. Да не давайте разбойникам сразу грабить, попробуем сперва поговорить с ними!

Скоро и в этот аул прискакали сборщики. Их было трое: наглый и задиристый шабарман — посыльный Далбай с огромной медной бляхой на груди и с кожаной сумкой на боку, по которой он то и дело важно хлопал рукояткой плети, старшина административного аула жигитеков, туповатый и самонадеянный Дуйсен, и сопровождающий их робкий и неразговорчивый жигит Салмен.

Старшина и шабарман и начали сбор недоимок с крайних юрт аула. Они забирали коз, оказавшихся на дневном привале, тащили за повод дойных коров, стоящих между рваными юртами. Келден и Абды быстро подошли с ним.

— Подождите отбирать! — заговорили они. — Пойдемте хоть посоветуемся… Ведь вы тоже люди… Идемте к Базаралы!

— Какой там Базаралы? Что за начальник? — закричал Далбай. — Пусть сам придет сюда!

— Базаралы болен, не может стать на ноги, — объяснил Абды. — Приглашает к себе, пойдемте!

Далбай отмахнулся плеткой и схватил за повод очередную корову. Дуйсен в свою очередь поволок другую под плач и вопли женщин, столпившихся вокруг. К Абды подошел Сержан и негромко сказал ему и Аскару:

— Если не идут, Базаралы велел притащить их силком. Хватайте старшину, а я возьму этого…

И он шагнул к Далбаю, схватил его за плечо и повернул к себе.

— Эй, послушай-ка!.. — начал было он, но Далбай, повернувшись, с бранью взмахнул плеткой.

Сержан ловко схватился за ее рукоять и дернул так сильно, что петля, обмотанная вокруг кисти Далбая, чуть не вырвала тому руки. Шабарман грохнулся лицом на землю.

Старшина Дуйсен, закричав, кинулся было на помощь к Далбаю, но сзади его схватил за ворот Абды и волоком потащил за собой. Сержан тем временем поставил на ноги ошеломленного Далбая и, взвалив его на плечо, понес к юрте Базаралы. Салмен, удивленный происшедшим и перепуганный, покорно пошел вслед за своим начальством, не ожидая, когда поволокут и его.

Базаралы не стал тратить много слов.

— Слышал я, какими волками вы накинулись на народ! Довольно! Нечего с вами толковать! Валите собак! — громко приказал он.

Абды и Сержан сильным пинком свалили к очагу старшину и шабармана.

— Сорвите с них чапаны! Заголите зады! — кричал Базаралы, выпрямившись на постели. Лицо его было бледно от гнева. — Хоть отомщу вам за всех насчастных! Возьмите их плетки, жигиты!

На сборщиков накинулись молодые жигиты, заполнившие юрту, быстро раздели их и уложили ничком. Абды и Сержан, засучив рукава и плюнув на ладони, взяли в руки тяжелые плетки, которыми еще недавно орудовали Далбай и Дуйсен, и, многозначительно показав их обоим, замахнулись.

Оба сборщика взвыли. Пытаясь вырваться, они молили Базаралы пощадить их.

Базаралы, подмигнув Абды и Сержану, продолжал кричать:

— Как расправиться мне с вами, собаками? Просто убить или запороть здесь? Кто вырвет вас из моих рук?

— Виноваты, каемся во всем! Только прости нас! — кричали оба вместе.

— Простить? А потом снова приедете в наш аул и опять будете отбирать коз и коров?

— Нет, нет! Пусть умрем гяурами, если сделаем это!..

— Как же я вас отпущу? Ведь вы начальству пожалуетесь?

— Нет! Даже не скажем, что вас видели, только пощади! Клянемся, не скажем!

— Дадите клятву не жаловаться? Если нет, загоним вас плетьми в могилу!

Дуйсен первым закричал, что готов поклясться хоть на коране. Далбай со слезами повторял за ним то же. Но Базаралы не спеша продолжал выпытывать.

— Ну, а если нарушите клятву и вернетесь с властями? Чем покарать вас?

— Не будет этого! Пусть проклятья на нас свалятся!

— Если завтра измените, послезавтра ночью вас зарежут в ваших же юртах, как баранов! Согласны?

— Если станем такими собаками, режьте!

— Тогда поклянитесь сейчас же на коране! Клянетесь?

— Да, согласны!

— Вы скажите своему начальству, что наш аул откочевал за Чингизские горы и вы не могли его догнать. Это раз. А во-вторых, вы и словом не обмолвитесь о том, что здесь было. Верно ли наше решение? — спросил Базаралы, обводя взглядом собравшихся в юрте.

Абды и Келден первые подтвердили:

— Верно! Пусть так будет!

Базаралы нарочито грозно спросил запуганных до смерти пленников:

— Клянетесь в этом на коране?

— Клянемся!

— Ну, тогда давайте сюда коран, — приказал Базаралы своим жигитам.

Абды улыбнулся во весь рот.

— А где в этом ауле ты найдешь коран? Но Базаралы сердито закричал на него:

— Как где? Что ты богохульничаешь? Подайте, вот он, на сундуке!

Сержан шагнул к стенке юрты, взял с сундука растрепанную толстую книгу и, посмотрев на нее, фыркнул. Это было переписанное по просьбе Базаралы собрание стихов Абая. Все в ауле знали эту книжку, по которой грамотеи читали абаевские слова.

Далбай первым потянулся к этой книге спасения.

Базаралы раскрыл книгу и поднес к его лицу.

— Поцелуй коран и повторяй за мной: «Если нарушу данное мною слово, пусть стану гяуром, пусть сдохну, не увидев ни жены, ни детей».

Старшина и посыльный жалобно повторили клятву.

Оба сдержали ее: никто не появлялся больше в ауле, не было и никакого расследования происшедшего события.

Но бедный люд на всех остальных жайляу стонал от злодейства. Вымогатели продолжали путь, творя свое гнусное дело.

Шайка облеченных властью воров достигла и стоянки иргизбаев. Грабеж начался с аулов Исхака и Такежана. Впереди всех двигались старшина Отеп, шабарманы Далбай и Жанкай, вместе с ними Сойкан, Кабан-гарин и пристав Кок-шолак. Сам же Никифоров, сопровождаемый Такежаном и Жиренше, ехал не спеша вслед за этой волчьей стаей.

В этих аулах она задержалась ненадолго. Вскоре она покинула их, прибавив к отобранному ранее скоту новый. Здесь оказалась и кобыла старика Жумыра, и все пять коз Канбака, и единственный жеребенок Токсана, и серая коровенка старухи Ийс. Как и везде, бедняки этих аулов с криком и воплями провожали свою скотину. Шла вместе с ними и старуха Ийс с обоими своими внуками.

Как раз к тому времени, когда это печальное шествие оставило аул Исхака, навстречу подскакали Дармен и Баймагамбет. Их послал сюда Абай узнать, что проделывают с народом приехавшие городские власти. Увидев Дармена, Ийс отчаянно закричала, умоляя о защите и показывая ему на внучат, которые цеплялись за угоняемую корову.

Дармену ничего не нужно было объяснять: еще со вчерашнего дня он знал о беде, постигшей бедняков. И, едва услышав отчаянный вопль старухи: «Дармен, родной, что со мной делают?» — он быстро спрыгнул с коня и кинулся с грозным криком к шабарману Далбаю:

— Отпусти корову, злодей!

— Не пущу! Прочь! — огрызнулся Далбай, замахиваясь плеткой.

Но Дармен, выхватив нож, резким взмахом перерезал аркан, на котором тот вел серую корову. Она сразу бросилась в сторону и, вскидывая задом, побежала обратно в аул. Отеп и Жакай, увидев это, разразились бешеной бранью, а Кабан-гарин подскакал к Дармену и хлеснул плеткой по голове. Кровь полилась по щеке юноши. Он попробовал ответить ударом своей плети, но не смог достать до лица писаря, сидевшего на коне. На Кабан-гарина в ярости кинулся Баймагамбет. Отеп и Жакай бросились на помощь и оттерли Баймагамбета от писаря. Тогда Баймагамбет хлестнул коня и во весь опор помчался в аул Абая.

Абдрахман давно уже наблюдал, как гнали отобранный скот. Крики Дармена и Далбая заставили Абиша поспешить к месту стычки. Увидев на лице Дармена темную струйку крови, он возмутился. Подбежав к Кабан-гарину, он схватил рукоять его плети и с такой силой рванул к себе, что не ожидавший этого писарь вылетел из седла. Вскочив, он кинулся на Абиша, но, увидев военную форму, остановился в беспомощной злобе.

Урядник Сойкан, заметив издали какую-то свалку, скакал уже сюда, ругаясь последними словами. По дороге он огрел плетью старуху Ийс, которая бежала в аул за своей коровой. Когда он поравнялся с Абишем, тот схватил его коня за поводья и резко остановил, крикнув по-русски:

— Что вы себе позволяете!

Неожиданно услышав русскую речь и увидев человека в военной форме, урядник на мгновенье растерялся. Но тут же он накинулся на Абиша:

— А кто вы такой? Что вам тут надо?

Крик писаря, зовущего на помощь, заставил его поскакать дальше.

Узнав от Баймагамбета об избиении Дармена, Абай сел на коня и прискакал сюда. Теперь вокруг места стычки собралась толпа. Подъехали и Никифоров с Такежаном и Жиренше. Подошли сюда и ограбленные люди, провожавшие свой скот. Увидев Абая, они закричали все разом. Проклятья, жалобы, гневные упреки властям раздавались со всех сторон.

Абай повернулся к Жиренше и к Такежану.

— Вы видите, как воспламеняется народ от этого зла? — сурово спросил он. — Начнется пожар — первыми попадете в огонь вы оба! Не надейтесь, что спасетесь. Убирайтесь сейчас же прочь отсюда! Говорить с властями буду я от имени народа!

Такежан и Жиренше, поняв, что Абай готов на все, струхнули. Видя, что они молча отъехали в сторону, заколебался и Никифоров. Обычно властный и решительный, на этот раз он чувствовал себя не очень уверенно. В этом грабеже и сам он был порядком замешан: урядник и писарь еще накануне доложили, сколько скота причитается ему самому, как главному начальнику. И мысль о том, что Абай, возможно, дознается до этого, заставляла его быть осторожным. Вдобавок крики бедняков, услышавших то, что Абай сказал баям, показали Никифорову, что положение становится серьезным. Ограбленные люди окружали его с угрожающими возгласами, смысл которых нетрудно было угадать. Поэтому он резким окриком удержал пристава и урядника от дальнейшей расправы.

Абай спокойно подъехал к Никифорову. Они были знакомы и раньше. Он посоветовал начальнику остановиться у Такежана на ночлег, разобраться в жалобах бедняков и заново распределить налоги по справедливости, не допуская насилия. И хотя все это, конечно, не могло понравиться Никифорову, но сейчас он был вынужден согласиться и отправился в аул Такежана.

Абай поехал вместе с Никифоровым. Едва он заговорил о том, что нынче под видом получения недоимок выколачивали с бедняков «черные сборы», как Никифоров, сделав вид, что слышит об этом впервые, распорядился снять эти поборы с неимущих и переложить их на богатых.

Поэтому множество людей из разных аулов утром получили свой скот обратно. Однако, вынужденно согласившись на это, Никифоров тотчас же после ухода Абая написал подробный донос на него и отправил с нарочным в город.

Несколько дней после этого Абай искал уединения. Оставаясь в юрте, он сидел над раскрытой книгой, но Айгерим отлично видела, что Абай не читает, а погружен в тяжелые, грустные думы. Заметила она и то, что за эти три дня Абай несколько раз брал в руки карандаш и бумагу. Видимо, рождались новые стихи.

Всегда чуткая и заботливая, Айгерим больше всего берегла Абая в то время, когда он сидел вот так возле нее, поглощенный своим любимым трудом. Чтобы не нарушать его уединения, она никого не пускала в юрту.

Все эти дни Абаем владели долгие тревожные размышления. По ночам, не находя покоя от тяжелых мыслей, он часто стонал. Утром он подымался на ноги раньше всех и надолго уходил из аула, бесцельно блуждая в одиночестве. С вечерней прогулки возвращался уже в поздние сумерки.

Бывало и раньше немало дней, когда его терзали горькие мысли. С приездом Абиша он как будто освободился на время от своих душевных мук. А теперь они овладели им снова. То печальной думой, то горькой грустью они вплетались в его стихи. Горе многих было его горем. Мысли его были о народе, о множестве людей, томящихся в невежестве, в нужде, в позорной кабале. То, что случилось в ауле Такежана и Исхака, оживило все эти думы.

Тяжелые бедствия, обрушившиеся на степную бедноту, не давали покоя и Абдрахману. И однажды, оставшись наедине с отцом, он заговорил об этом. Он рассказал, что русское крестьянство не примиряется с насилиями царской власти, — вот почему и происходят в России ежегодные и непрестанные крестьянские волнения. Хотя царские канцелярии и стараются скрыть правду от народа, но она повсюду выходит наружу, и в России весь необъятный мир людей труда охвачен духом борьбы.

— Старик Еремин рассказывал мне, что только за последние семь-восемь лет произошло более трехсот крестьянских возмущений в России, — продолжал Абдрахман. — Шестьдесят одну губернию охватили эти волнения. Начинается открытая война против насильников баев и против царизма. В Киевской, в Черниговской, в Полтавской губерниях крестьяне просто заявили, что отказываются платить налоги — такие же недоимки, что у нас взимались вчера. И когда вспомнишь об этом, невольно подумаешь, как быстро могли бы высохнуть слезы нашего казахского народа и превратиться в яростный гнев, если бы наша беднота действовала так же смело, как русские крестьяне. Для этого надо, чтобы во главе народа встал какой-нибудь отважный вожак! Но еще не пробудился для этого наш народ. Да и таких событий, которые могли бы пробудить его, у нас еще не было, — вздохнул он.

С жадным вниманием слушал сына Абай. И с горьким сожалением он подумал о том, что ему приходится жить в такое время, когда народ еще не готов к великой борьбе. Но его надо пробудить. Какие же силы придется найти в себе, чтобы поднять людей, просветить их? Откуда взять эти силы?

Своими раздумьями Абай обычно делился только с Ерболом. Так и сейчас, когда тот зашел к нему, Абай посадил его ближе к себе и впервые за эти дни заговорил о своих ранах:

— Тяжелые мысли терзают меня, Ербол.

Тот с жалостью посмотрел на друга:

— И верно, ты осунулся!..

Он долгим взглядом окинул Абая. Старый друг действительно похудел за эти дни. Лицо побледнело, вокруг глаз залегли заметные тени, дыхание стало прерывистым. Было видно, что он глубоко страдает.

— Это проклятое происшествие родило во мне большое горе.

— Не вспоминай о нем. Чего только не переговорили и мы в своих юртах! Но что же мучиться тебе? Ведь ты помог несчастным, многих вынул из петли!

Абай грустно покачал головой.

— Многих? Горсточку, которая оказалась рядом. А как же с остальными — с народом? Ведь не только на наше жайляу налетело это бедствие! Не только в нашей волости, не только в Тобыкты: над всей казахской степью стоит в эти дни тот же стон.

— Да, да… Если подумать обо всех, это, конечно, так…

— А ведь это народ наш, казахский народ! Бедствие общее. А чем я ему помог?

Абай замолчал. Глаза его болезненно расширились, он устремил вперед неподвижный взгляд.

— С юных лет мы старались бороться со злом, какого бы рода оно ни было. И кого мы победили? Где плоды перенесенных мук? Нашел ли я путь для своего народа? Я даже для себя как следует не определил его… «Мечты по-прежнему вдали, жизнь коротка…» — вспомнил он строку стихов, написанных им когда-то в дни такого же тяжелого раздумья.

Ербол знал это стихотворение.

В скитаниях я одинок,

Нет друга, нет счастья ни в ком,—

продолжал он стихи и спросил — Неужели так не радует тебя жизнь?

— Дни проходят за днями, а обновления мира все нет. Беды точат мой народ, как черви. Вся степь — в позоре, в слезах, в собачьем бесправье. Волчьей стаей наскакивают на нее насильники, вражескими набегами обрушиваются правители. Что обвинять городские власти? Одним из виновников вчерашних слез, обильных, как море, и проклятий был волостной управитель. А ведь это мой родной брат Оспан! Не значит ли это, что зло, причиненное народу, исходит и от меня? Что оно сыплется из моих карманов, из-за голенища, что сам я — носитель зла?..

Как раз в это время в юрту вошел Оспан, за которым Абай посылал с утра. Он весело поздоровался, но не получил ответа на приветствие, и не успел сесть, как Абай взволнованно обратился к нему.

— Э, Оспан! Где ты там ездишь, когда волость твою грабят враги?

— Астапыр-алла! Господи помилуй! Про каких врагов ты говоришь?

— А кто же, если не враги, напал на нашу бедноту? Где же ты был?

— Я проводил волостной съезд у сактогалаков.

— Неужели для тебя мало твоего скота? Зачем ты польстился на волчью долю — на «черные сборы»?

— Ойбай, что ты говоришь? Ведь я же не для себя их разрешил!

— Разве мало берут с народа царского налога и недоимок? А тут еще и эти «черные сборы»—для волостного, для биев, для старшин, для писарей и посыльных! Не хочешь ли ты солгать мне, будто не знал, на кого они идут?

Оспан затрепетал всем своим огромным телом, как будто стоял не перед братом, а перед грозным начальством.

Конечно, Никифоров, прибыв для сбора недоимок, обратился прежде всего к Оспану, как к волостному управителю, требуя, чтобы налоги были собраны немедленно. Помня, как бедствовал народ при подобных сборах, Оспан заколебался. Тогда Никифоров прибегнул к угрозам:

— Как видно, управитель из тебя вышел плохой: за все это время ты не смог собрать даже налогов для царя! Что же, придется сообщить об этом губернатору! Ты не только потеряешь место, а еще под суд пойдешь за то, что вредишь царской казне! Еще есть время — собери полностью налоги, тогда посмотрим!

И Оспан приказал своим старшинам и шабарманам выколотить у населения любыми способами не только недоимки, но и «черные сборы». Впрочем, Такежан, сжалившись над ним, дал ему хитроумный совет.

— Зачем ты будешь заниматься делом, которое тебе не по душе? В отсутствие волостного его заменяет бий первого аула. Поезжай-ка ты куда-нибудь подальше — скажем, в Сактогалак, — проведи там волостной съезд, а я останусь с властями. Жиренше поможет мне собрать налоги, он ведь тоже бий.

Оспан, ухватившись за это, уехал и все это время, когда в здешних аулах бесчинствовали такежановские прихвостни, отсиживался вдали. Но сказать Абаю по правде, как все это было, он не решился и смущенно забормотал:

— Но я же никогда раньше не бывал управителем!.. Мне говорили, что так делали все волостные… Ну, я и разрешил…

— И хотел слопать сам свою долю?

— Да я же не для себя, ойбай! — оправдывался Оспан. — Откуда я знал, что натворят эти собаки?

— Ругай не их, а себя! — прикрикнул на него Абай.

— Ну не кричи! Скажи лучше: чем я смою свою вину? Дай совет! Кого прикажешь мне наказать?

— Накажи не бедноту, а сильных. Взыщи с них народные долги!

— А кто они? С кого мне взыскивать?

— С кого? Начни с себя, с меня, с Такежана. Все мы обязаны беднякам, батракам, взыщи с нас их долю, возьми и долю сирот и старух. Будь хоть ты честным человеком! Разве мало в народе людей, обиженных, обокраденных сильными? Накажи разбогатевших воров и насильников!

— Каким же образом?

— Ты проводишь родовые съезды по волости — преврати их в суды, карающие этих насильников.

— Вот это совет! — обрадовался Оспан. — А то схватил меня за шиворот, завертел, закрутил, а толком ничего не сказал! Теперь я так и вижу всех этих злодеев! Погоди еще, посмотришь, что с ними будет! Оспан не станет дрожать и цепляться за чин волостного. Пусть меня потом снимут, зато добрые люди скажут: «Бедняга всю свою силу приложил, чтобы покарать тех, кто грабит народ»! А из этих-то сильных я уж выберу и самых жирных, нетронутых. Поглядите еще, как я на них обрушусь!

Абай смотрел теперь на брата уже другим, мягким и ласковым взглядом. Оспан, казалось, действительно был готов сейчас же исполнить обещанное.

— Ну что же! Исполни это на деле. Дай мне порадоваться, что мы с тобой родились от одной матери. А если тебя скинут с должности, не беда. Зато станешь на путь, достойный честного человека.

— Не о чем теперь говорить. Посмотришь, что будет! — И Оспан, как бы не желая ждать других советов, быстро вышел из юрты.

ГОРЕЧЬ

1

Абай посоветовал Абишу и его друзьям осмотреть древние могилы у пещеры Конур-Аулие — «Святой Конур», а по пути побывать в знакомых аулах. Утром у коновязи, протянутой между юртами Абая и Магаша, стояли оседланные кони.

По совету Абая Абиш не носил в ауле ни форменной фуражки, ни шинели, но с белой юнкерской гимнастеркой и с лакированными сапогами, на каблуках которых позвякивали небольшие сверкающие шпоры, он расстаться никак не мог. Сейчас он накинул поверх своей формы просторный и легкий серебристый чапан с широким бархатным коричневым воротником, а на голову надел крытый алым тонким шелком малахай.

Жигиты вскочили в седла. Абдрахман сел на своего буланого, подскакал к Магашу и двинулся вместе с ним впереди кучки всадников. Сзади ехали Дармен, Кокпай, Какитай и Альмагамбет.

За аулом жигиты пустили коней быстрой рысью. Выехали они поздно, около полудня. Часа два ехали по холмистой местности, богатой травами и ручейками. Потом начались каменистые холмы, поросшие можжевельником. Поднявшись на один из них, всадники увидели перед собой широкую долину, на которой раскинулся большой аул.

Путники невольно остановились, разглядывая открывшуюся перед ними картину. Кони их, почуяв пасущиеся возле аула табуны, насторожились и заиграли под всадниками; более молодые, еще не отвыкшие от косяка, радостно заржали.

С холма аул хорошо был виден. Это был необычный аул. Главной его особенностью было то, что в центре стояло множество больших белых юрт, как будто здесь расположился не один аул, а сразу несколько. Обычно в ауле белых юрт бывает две-три. За ними стоят более скромные — из серого или темного войлока, дальше тянутся бедные юрты и, наконец, шалаши и лачуги. Здесь же ветхих и бедных юрт было очень мало, они стояли на отлете, и не на одном, а на обоих концах аула. В середине же, почти касаясь друг друга, сгрудились большие, многостворчатые юрты, соперничающие друг с другом своей белизной. Казалось, что все они покрыты совсем новыми белыми кошмами.

Подъехав ближе, путники убедились, что попали в очень гостеприимный аул. У коновязей, протянутых между юртами, стояло много оседланных лошадей. Видимо, их владельцев хозяева развели по разным юртам, угощая кумысом или обедом.

Лишь теперь, когда они въехали в аул, Дармен повернулся в седле и негромко сказал Абишу:

— Это аул татарина Махмуда. Здесь живет та самая Магрифа, о которой говорила вам Дильда-апа, — с улыбкой добавил он, хитро посматривая на друга.

Тот вспыхнул и ничего не ответил.

Вся эта затея была придумана самим Дарменом. Он подсказал Абаю мысль о поездке в Конур-Аулие, зная, что им не миновать аула Махмуда, разыскал там своего приятеля — весельчака и острослова Утегельды — и договорился с ним, что тот поможет устроить встречу Абиша и Магрифы.

— Не уезжай никуда на той неделе; вероятно, мы заедем с Абишем, — попросил он. — У вас столько юрт, что Магрифы и не разыскать. А мы сделаем так: когда увидишь нас, останови где нужно. Хорошо было бы, чтоб ты подговорил хозяев оставить нас ночевать. Тогда устроим вечеринку, вот Абиш с Магрифой и повидаются. Прошу тебя, помоги, доброе дело сделаем! Магрифу я как-то видел и скажу, что ни у одного казаха во всей степи нет такой дочери! Но зато и пары для нее у казахов не найдешь. Ее достоин один лишь только Абиш.

Услышав это, Утегельды тут же стал изображать сплетницу-женге, охраняющую честь аула невесты: он скорчил лицо, сощурился и, шамкая, затараторил:

— Фу, дорогой мой, что ты там несешь? Кто это достоин нашей Магрифы? Абаев сынок? Да ему на нашу Магрифу только молиться можно! Она же у нас небесное создание, красавица, чистая, белолицая! Нашел кого сватать! Да я тебя перед всеми высмею, за ноги в огонь стащу вместе с таким женихом!

Однако всем сердцем сочувствуя другу, Утегельды обещал ему всяческую помощь.

Как только всадники подъехали к центру аула, Утегельды, поджидавший их с утра, оказался как бы случайно возле самой большой, восьмистворчатой юрты среди пяти-шести рослых и статных, нарядно одетых мужчин. Завидев его, Дармен, ехавший вместе с Абишем несколько впереди остальных, сразу повернул к этой юрте. И здесь оказалось, что они попали прямо к хозяевам аула.

Едва они обменялись приветствиями, расторопные жигиты подхватили поводья их коней, помогли гостям спешиться и повели в большую юрту. По дороге Утегельды отвел в сторону Дармена и, снова изображая старую сваху, зашептал, шамкая и пришепетывая:

— Э-э, деверь мой дорогой, ты, я вижу, крепко взялся за дело! Только вот беда: жениха-то ты привез, а невеста наша ясноокая нынче в гости уехала.

— Ты не шутишь? — испугался Дармен, сбитый с толку ужимками Утегельды.

Но, оказалось, тот говорил правду. Дармен взмолился:

— В таком случае вызови ее как-нибудь поскорее домой! Придумай что-нибудь.

Гостей посадили на почетном месте в Большой юрте, а хозяева расположились по сторонам.

Здесь сидели трое сыновей покойного Махмуда, родоначальника аула. Ближе к гостям расположился старший — представительный и полный Жакып; за ним — Муса, тоже плотный и высокий мужчина, с широким белым лицом и большими черными глазами под темными бровями; еще дальше — самый младший, хозяин Большой юрты, румяный красавец Мусабай, молодой коренастый жигит среднего роста. Здесь же сидел их племянник Нуртаза, очень похожий на Мусабая юноша, с такими же большими глазами и крупным носом.

В юрте тотчас появилась миска с кумысом; хозяева, медленно перебалтывая его, начали наливать пиалы и подавать гостям, приветливо улыбаясь. Разговор становился все более оживленным.

Абиш сидел молча. Его положение молодого жигита, который мог стать вскоре женихом в этом ауле, обязывало к особенной сдержанности и учтивости.

Вернулись Дармен и Альмагамбет, которые выходили, чтобы стреножить коней и пустить их на траву.

— Там, за юртами, режут жирного жеребенка, — сообщил Дармен.

— Теперь уж ясно, что нас и ночевать оставят, — добавил Альмагамбет.

Всеми действиями хозяев руководил сейчас Утегельды. Когда Мусабай после чая вышел из юрты вместе с Жакыпом, Утегельды, идя рядом с ними, сказал как бы невзначай:

— А кстати появились гости! Давно уж мы не веселились. Если вы их оставите ночевать, не соберем ли мы молодежь?

Жакып уже шел к себе домой, но поддержал жигита:

— Правильно сказано, повеселиться не мешает! Утегельды тут же сообщил, что Абиш искусный скрипач, и предложил, послать кого-нибудь в аул Шубара за скрипкой. Скрипку можно было найти и в других аулах, но Утегельды думал не только о музыке: жена Мусабая и ее племянница Магрифа уехали именно туда.

Мусабай, не имевший сам способностей к какому-нибудь искусству, очень ценил острословов, шутников, хороших рассказчиков; такие люди жили в его ауле круглый год. Утегельды был его любимцем. Мусабай охотно согласился с его предложением и, подозвав брата Утегельды, велел ему тотчас ехать в аул Шубара. Утегельды пошел вслед за братом, чтобы помочь ему оседлать коня, и, оставшись с ним наедине, поручил ему передать с глазу на глаз жене Мусабая, чтобы она с Магрифой поторопилась вернуться, потому что их ждут важные гости.

Таким образом, в аул скоро была доставлена скрипка, а жена Мусабая вместе с Магрифой и другими сопровождающими ее девушками и молодыми женге вернулась домой. Однако сама Магрифа перед гостями не появилась: она проехала прямо к юрте своего отца, стоявшей в стороне. Румяная, круглолицая, очень похожая на своего брата Азимбая, жена Мусабая приветливо поздоровалась с гостями.

Из аула, где для гостей зарезали жеребенка, скоро не уедешь. Когда гости вышли на воздух освежиться, у коновязи не было ни одного их коня: все были отправлены пастись в ночное, а седла лежали в соседней юрте.

Теперь гостям было уже ясно, что их оставляют ночевать. Ясно было и другое: вечером их ожидает веселье. С наступлением сумерек, когда загнали скот и аул по-вечернему затих, из юрты Мусабая понеслись певучие звуки скрипки. Этим как бы открывалась вечеринка. Жигиты, прислуживавшие гостям, побежали по соседним юртам сзывать людей, хозяйка послала за молодыми невестками и золовками. Магрифу она пригласила отдельно от имени своего мужа.

Юрта быстро наполнялась людьми. Играл на скрипке Абиш. Сидя играть он не любил, но, опасаясь, что, если будет играть стоя, это может показаться хозяевам странным, играл, присев на высокую кровать, стоявшую справа от входа.

Скоро у дверей юрты послышалось позванивание шолпы,[29] тихие женские голоса и сдержанный смех. Дармен, Магаш и Утегельды с нетерпением посматривали на дверь, ожидая появления Магрифы. Но ее долго не было. Абиш сыграл уже несколько вальсов и начал какой-то веселый марш.

Наконец в юрту, теснясь и перешептываясь, ввалилась толпа подростков. Все они были белолицы, румяны, с большими глазами, с правильными чертами лица, хорошо сложены. За ними в юрту вошло несколько девушек.

Впереди шла высокая, статная красавица. Густые темные брови, черные волосы, собранные в две тяжелые длинные косы, подчеркивали удивительную белизну ее лица. Большие серые глаза смотрели открыто и спокойно, круглый белоснежный подбородок плавной линией переходил в стройную шею. Тонкие изящные пальцы были как бы выточены искусным мастером.

Каждая из вошедших девушек была привлекательна, но особенно красива была та, что шла впереди других. Это и была Магрифа.

Когда девушки показались в юрте, Абиш прекратил игру и опустил скрипку в знак почтительного восхищения. Слегка покраснев, он склонил голову, приветствуя вошедших. Мусабай, его жена, Нуртаза, Утегельды и другие хозяева поднялись, давая дорогу к почетному месту.

Магрифа, видимо, не ожидала встретить в юрте столько незнакомых гостей: по ее лицу медленно разливался румянец, алые губы дрогнули в смущенной улыбке, открывая ровный ряд белых зубов. Неторопливой, плавной походкой она прошла через юрту под тихий, певучий перезвон позолоченного шолпы и села возле Мусабая. Другие девушки, как младшие, сели по сторонам, ниже Нуртазы и Мусабая.

Вслед за девушками в юрту вошли старшие женге и, наконец, матери. Гости потеснились на почетном месте, усаживая их. В белых кимешеках,[30] окаймленных позументом, полнолицые, чернобровые, статные, они невольно привлекали взгляд гостей. Магаш усмехнулся про себя: «Зоркий глаз у этих татарских купцов! Сумели ведь найти в степи самое лучшее — красивейших казахских девушек!»

Когда вошедшие старшие женщины обменялись с гостями приветствиями и наконец уселись, Утегельды шутливо заговорил:

— Что такое случилось? Так хорошо мы тут сидели, слушали музыку. А сейчас все притихли, смутились. Даже скрипка замолчала! Неужели наши байбише так всех напугали?

И он с преувеличенным испугом посмотрел на младшую жену Мусы — полную, цветущую Турай.

— Не будь таким трусливым, милый Утеш, — сверкнув зубами в улыбке, ответила та. — А самое главное, пусть не пугается скрипка, мы ведь для того и пришли, чтобы послушать ее чудные звуки! Кто из вас заставил встрепенуться весь аул? Не ты ли это, дорогой Абиш? Тогда сыграй, пожалуйста, еще, милый брат!

Этот шутливый, дружеский ее тон объяснялся тем, что к гостям она могла относиться как к родичам: она сама была из тобыктинского рода Торгай.

Утегельды тут же подхватил ее слова:

— Ну и отлично! Раз наши байбише сами просят, будем продолжать веселье, дети! Начнем сладкозвучные песни сначала! — И, присев на корточки, он взглянул на Абиша и начал быстро водить в воздухе рукой, изображая игру на скрипке.

Забавный вид его вызвал общий смех, и некоторое смущение, вызванное приходом старших, рассеялось. Все повернулись к Абишу. Тот, объяснив, что в большом обществе на скрипке играть удобнее стоя, отошел от кровати, стал посередине юрты, прямо против Магрифы, и скрипка снова запела в его руках. На этот раз она звучала особенно взволнованно и проникновенно.

Игра его поразила всех. Его слушали с напряженным вниманием, соблюдая полную тишину, которую нарушали только восторженное почмокивание губами и невольные вздохи восхищения. Когда же, сыграв пьесу, Абиш остановился передохнуть, старшие матери и пожилые мужчины выразили свое одобрение вслух:

— Живи долго, дорогой!

— Какое искусство!

— Да, вот как надо играть!

А подростки, девушки и молоденькие женге перешептывались, усмехались и не сводили с Абиша зачарованных взглядов.

В один из перерывов Магаш шутливо сказал Абишу:

— Что-то, я замечаю, сегодня наш музыкант играет с особенным вдохновением…

Абиш смутился.

Подчиняясь общим настойчивым просьбам, юноша подтянул смычок и, настроив скрипку, заиграл новые пьесы. До этого он играл плавные, широкие мелодии, а сейчас снова перешел на танцевальные: веселые, легкие, понятные большинству слушателей. Быстрый их темп и постоянно меняющийся ритм оживили и самого Абиша. В этой юрте он казался каким-то особенным человеком, непохожим на других. Короткие темные волосы, гладко зачесанные назад, открывали обширный лоб. Прямой нос, хорошо очерченные губы, тонкие, как у Абая, брови, живые черные глаза делали Абиша самым красивым жигитом в семье. Он был высок и строен, но благодаря неширокой кости казался хрупким. Длинные белые его пальцы быстро летали по струнам, но в движениях их не чувствовалось никакого напряжения, самые сложные места он исполнял легко, изящно. Каждый раз, когда он заканчивал какую-нибудь пьесу, слушатели обменивались короткими одобрительными замечаниями.

Играя, Абиш то и дело поглядывал на Магрифу, сидевшую против него. Его поразила ее удивительная красота, в особенности выразительная прелесть ее больших серых глаз. Лицо Абиша то вспыхивало румянцем, то вдруг бледнело.

Сидевший рядом с Магрифой Дармен спросил девушку:

— Хорошая музыка?

Магрифа с улыбкой кивнула головой, прозвенев серьгами и подвесками шолпы.

Заметив, что, как только Абиш начинает играть, Магрифа не сводит с него взгляда, Дармен, улыбаясь, спросил ее:

— А жигит?

Магрифа живо повернулась к нему. Лицо ее вспыхнуло, брови чуть дрогнули. Дармен понял, что вопрос его смутил девушку и что ответа никакого не будет. Он приложил руку к сердцу и несколько раз поклонился с извиняющимся видом. Магрифа чуть нахмурилась и отвернулась, стараясь не смотреть больше на Абиша. Ей никогда еще не приходилось делиться с кем-нибудь своими чувствами, и этот прямой вопрос заставил красавицу смутиться и пугливо замкнуться в себе. Она была так взволнована, что и не заметила, как Абиш начал играть казахские мелодии.

Когда он звучно, широко, с мастерством стал исполнять «Бурылтай», появившуюся не так давно, Альмагамбет стал рядом с ним и запел во весь полос. Это сочетание игры превосходного скрипача и пения молодого талантивого певца, исполнявших всем понятную казахскую песню, особенно понравилось слушателям. Все были поражены новым видом искусства. По их просьбе Абиш и Альмагамбет исполнили еще несколько казахских песен, и наконец Мусабай попросил спеть какие-нибудь песни Абая. Альмагамбет начал «Письмо Татьяны».

Когда пение закончилось, Дармен снова спросил девушку:

— Вы знаете эту песню?

— Да, — ответила она и добавила — Это — письмо Татьяны к Онегину. Перевел Абай-ага. Я все его песни знаю.

Игра не мешала Абишу почти не отрывать взгляда от Магрифы. Он с улыбкой наблюдал, как Дармен разговаривает с ней, и, словно отбивая такт, одобрительно кивал ему головой.

Наконец Абиш положил скрипку. Все собравшиеся стали благодарить его.

— На славу потрудился наш гость. Спасибо, дорогой мой, что по-родственному оказал нам уважение! — с удовлетворением сказала Турай.

Поблагодарила его и мать Магрифы, представительная байбише, с красивым лицом, поражающим своей белизной. Мусабай пригласил юношу сесть рядом с собой:

— Садитесь тут, Абиш. Нам-то вы доставили большое удовольствие, а сами, наверно, устали. Отдохните.

Магрифа, которой такое внимание дяди к гостю было приятно, потеснилась, чтобы дать Абишу сесть рядом с Мусабаем. Но юноша поспешно остановил ее.

— Не беспокойтесь, спасибо! Я могу сесть и с этой стороны.

Подняв на него серые глаза, Магрифа подвинулась в сторону Мусабая, освобождая Абишу место рядом с собой. На ее алых губах играла приветливая улыбка. Была ли она выражением простой благодарности или в ней сказывалось искреннее расположение к нему, Абиш не понял, но от этой улыбки и от взгляда девушки на него так и повеяло теплом. Побледнев от волнения, он сел, даже не обратив внимания на дружеское приветствие Дармена.

Песни и веселье в юрте Мусабая, продолжались всю ночь. Поклонники искусства разошлись только перед рассветом.

Перед сном гости вышли прогуляться. Дармен, проводив немного Абиша, сел на камни у берега реки, заявив, что устал.

Юноша перешел вброд реку и, не торопясь, пошел по берегу мимо тальника и низкорослых тополей. Неширокая река текла спокойно и медленно, отражая светлеющее небо. Вдоль берега тянулись холмы, а по ту сторону рядами, как на ярмарке, выстроились многочисленные юрты необычно поставленного аула. Собаки, уставшие к утру и растянувшиеся где попало, лишь изредка подавали ленивый голос. Доносилось блеяние козлят и ягнят, которых уже разбудил рассвет.

Но эти голоса пробуждающейся жизни не доходили до сознания Абиша. Он чувствовал, как что-то новое, не испытанное до сих пор, наполняло душу. Что это было? Не надежда, даже еще не мечта. Чувство, которому он не мог найти названия, еще не осознанное, но уже неизгладимое… Он шел, глядя на реку, но не видя перед собой ничего. В глазах его неотступно стояла Магрифа, ее белое лицо, темные косы, близко, совсем рядом мелькали длинные точеные пальцы, сияли лучистые серые глаза, дрожали в улыбке алые губы. И все время звучал в ушах негромкий, мелодичный, пленительный голос…

В душе его шла жестокая борьба.

Остановись! Где твоя сила воли? Еще о многом надо подумать и многое узнать… Что думает она? Вспыхнуло ли в ней такое же чувство, как в нем? И что это за чувство? Серьезно ли оно, или это простое увлечение? Родные давно все решили, но что решит он сам? И прежде всего и важнее всего: жениться ли ему вообще?

Абдрахман привык обдумывать каждый свой шаг и умел находить правильный выход. Но эти вопросы казались ему неразрешимыми. Самым сложным вопросом был последний. И никто не мог помочь ему найти ответ.

Тем, что его мучило, Абиш не поделился ни с одним человеком в своем родном ауле. Это была печальная тайна, которую он нес в себе самом, горе, заставлявшее его часто задумываться о своей судьбе, несчастье, обрушившееся на его молодую жизнь, полную радужных надежд.

Нынче весной он впервые почувствовал недуг, гнездившийся в его теле. Не говоря никому ни слова, он показался известному петербургскому врачу. Тот нашел, что у юноши затронуты легкие. Туберкулез может вспыхнуть в любой момент. Врач запретил ему спиртные напитки, курение и сам заговорил о женитьбе: по его мнению, с этим нужно было подождать. «В вашем возрасте при таком состоянии здоровья это гибельно для вас. А если туберкулез вспыхнет, вы можете передать болезнь жене», — сказал он.

Печальная мысль о болезни не давала Абишу покоя.

«Нет, нет! Это невозможно. Решать надо сразу. Счастье с ней мне не суждено», — твердил он про себя.

Решительно повернувшись, он быстро пошел к аулу.

— Пойдем спать, Дармен, — коротко бросил он другу, перейдя реку и направляясь к отведенной им юрте.

На другой день гости проснулись поздно и покинули аул только после завтрака, от которого не могли отказаться.

То рысью, то вскачь они, обгоняя друг друга, к вечеру доехали до многоводного озера. На берегу его виднелись белые юрты богатых аулов, вокруг паслось множество табунов и стад. Абиш, ехавший впереди с Магашем, предложил повернуть в аул, чтобы попить кумыса.

Магаш отрицательно покачал головой.

— Нет, Абиш-ага! Хотя и меня мучит жажда, но заезжать сюда не надо. Это озеро называется Карасу Есполата, и тут стоят аулы Уразбая.

Они проехали по окраине аула, мимо длинного жели,[31] где были привязаны пять-шесть десятков жеребят. Когда юрты остались позади, Магаш заговорил о распрях и раздорах, происходивших этим летом.

— Было бы полбеды, если бы наши аткаминеры и воротилы враждовали только между собой, — говорил он. — Пусть бы грызли друг друга! Но всякая распря, которую они затевают, втягивает и бедняков. Как бы ни старались те держаться в стороне, все ложится на них. Вот это и мучает отца, заставляет его болеть душой за народ, терзаемый чужими распрями. Поэтому-то он и вмешивается сам в дела аткаминеров.

И Магаш, видя, что брат плохо разбирается в том, что происходит, начал подробно рассказывать ему об интригах, которые велись против Абая.

— Уразбай, мимо аула которого мы проехали, давно уже ненавидит нашего отца. Да и не только его! Он ненавидит всех детей Кунанбая. Когда Такежан в одну ночь лишился своих табунов, все наши иргизбаи были убеждены, что жигитеков исподтишка натравил на это дело сам Уразбай, а потом он попросту предал их. Теперь, когда спор уже забылся, ему опять неспокойно. Он и Жиренше снова готовят беду на наши головы. Это его так занимает, что ему и еда на ум не идет! Ну, пусть бы враждовал с Такежаном, который, как и он сам, готов на всякое злое дело. Но он считает, что с Такежаном уже расправился, проучил его, уничтожив табуны. Теперь он желает разделаться и с отцом, против которого у него давно кипит злоба. Впрочем, и Оспана-ага он также ненавидит. Никак не может простить, что тот не дал ему перебраться в другую волость: когда Оспан-ага стал волостным вместо Кунту, он сразу разгадал замысел Уразбая. Я рассказываю вам все откровенно, Абиш-ага, чтобы вы поняли, что происходит.

Абиш сказал, что он именно этого и хочет, и Магаш продолжал объяснять ему сложные переплетения здешних взаимоотношений, заставляя брата и удивляться и негодовать.

— Уйди Уразбай в другую волость, он, может быть, вступил бы на путь открытой борьбы. Но, оставшись здесь, он действует скрытно. С одной стороны, по-прежнему крепко держит в руках своих союзников, вроде Жиренше и Абралы, с другой — прилагает все силы, чтобы свалить кунанбаевцев, вызвав распри между ними. Теперь он надеется на Такежана. После набега Базаралы Такежан обиделся на отца: почему, мол, не стал на его сторону, почему не дал снова послать на каторгу Базаралы? Но тогда Такежан был во вражде с Уразбаем, подозревал, что набег устроен им, и тот не мог науськать Такежана на отца. А теперь он добился того, что Такежан готов втайне помириться с ним. Если Уразбаю удастся привлечь на свою сторону Такежана, он натравит его не на Оспана-ага, а на отца. И Уразбай и Жиренше ненавидят отца с давних пор. Это они говорят о том, что Абай совращает народ с пути предков, хочет сделать русскими и нынешний народ и будущее потомство. Но как ни ненавидят они все русское, а перед русскими властями лебезят, пишут им доносы на отца, мечтают с их же помощью посадить его в тюрьму или сослать.

И Магаш, удивляя брата ясностью суждений, продолжал объяснять ему, что представляют собой Такежан и Уразбай. Хотя они и объединились сейчас против Абая, но цели их и расчеты разные.

Для Такежана главное — власть. Он полагает, что вся власть в степи должна быть в руках у него, как у наследника ага-султана. Он не желает делить ее ни с кем, считая, что он и есть избранная богом власть, которой никто не смеет прекословить. Смилостивится — облагодетельствует, а разгневается — покарает. И если кто противится этому — пусть это будет кровный родич, самый близкий человек, — это заклятый враг. А всякий, кто согласен поддерживать его, — самый близкий человек. И поэтому для Такежана нет беды в том, что он разошелся с Абаем и стакнулся с Уразбаем.

Уразбай же совсем не собирается брать власть в свои руки. Не нужно ему, ни чинов, ни султанства, ни почета. Его цель другая — стать самой важной, самой главной опорой для власти, но зато хватать все, что ему надобно. Если ему на пользу русские власти, он с ними; если ему нужнее грабители и воры, он и тех поддержит. Такой хищник совсем не разбирается в пище: ему все равно, что глотать, лишь бы глотать. Важно лишь одно — добывать богатство. И, по правде говоря, сейчас Уразбай действительно самый богатый человек в степи. Пусть кто-нибудь попробует сказать о нем правду — сразу попадет и в вероотступники, в предатели всего степного народа, тут уж Уразбай не пощадит никого, обрушится на него со всей силой.

— А вместе с тем ни Такежан, ни Уразбай никогда не решатся на открытую борьбу на съезде или на суде. Они знают, что Абай-ага разоблачит перед народом их грязные мысли, темные дела. Эти злодеи, нажившие богатство преступлениями, сеющие вокруг себя раздор, ненавидят отца за ту правду, которую он говорит в стихах, как защитник народа. Они завидуют его влиянию, которое все растет во всем Тобыкты. Они твердят и другим аткаминерам и городскому начальству: «Абай — злодей, Абай — бунтарь. Это самый опасный враг наш. Пока мы не уничтожим его, никому из нас не будет житья». И сами клевещут и бесчисленных клеветников натравливают на отца. В такой вражде Такежан для Уразбая очень важен. Среди сыновей Кунанбая он старший, имеет на других влияние, сам не брезгает никакими средствами, не боится никаких преступлений. Вот Уразбай и стремится привлечь его на свою сторону. А добиться этого очень просто: надо только послать ему и Азимбаю побольше скота! Так Уразбай и делает: просит просватать за одного из его внуков недавно родившуюся внучку Такежана и обещает каргибау,[32] — сотню молодых необъезженных коней. И вот выходит, что Такежан готов предать родного брата! — взволнованно закончил Магаш. Абиш нахмурился и покачал головой.

— Мерзкие козни. А как смотрит на это Оспан-ага?

— Он человек упрямый, своенравный, схватит кого — из рук не вырвешь, укусит — пол-ляжки оторвет, — усмехнулся Магаш. — Но прямой, открытый. Он, наверно, и мысли не допускает, что Такежан может продать свою честь и изменить братьям… А Уразбая он крепко держит в руках: бумаг ему не выдает, из волости не отпускает, спутал, как арканом. Конечно, он видит, что Уразбай перетягивает Такежана к себе. Я как-то слышал от него, что он хочет уничтожить Уразбая до того, как тот успеет помириться с Такежаном. Правда, он тоже сын Кунанбая и аткаминер, тоже не прочь оплести других сетью, недаром сумел волостным стать, чего скрывать, хоть он нам дядя! А ведь известно, что такое управитель: немало обид и тягот терпят от него люди победнее. Но, к чести его сказать, он не таков, как другие аткаминеры, порой готов и на добро. Вот я и думаю, что Уразбая он проучит.

Магаш был близок к истине. Оспан действительно задумал взяться за Уразбая как следует. Пользуясь своей властью волостного, он решил собрать биев, старейшин и елюбасы всей волости на съезд для разбора множества жалоб, поступивших к нему на Уразбая, который, подобно другим богачам и воротилам, создавал свое богатство откровенным грабежом. Конокрады, работавшие на него, за эти годы пригнали ему около тысячи голов от соседних племен: Сыбана, Уака, Керея, Буры, Каракесека. Все жалобы потерпевших оставались без последствий: ни один волостной не рисковал привлечь Уразбая к ответственности. Оспан был первым, кто решился на это.

Волостной съезд должен был состояться в ауле самого Уразбая, у Есполатовского озера. Должны были сойтись аткаминеры всех родов Чингизской волости и представители соседних племен, приехавшие с жалобами и требующие возвращения скота. Уразбай, предвидя, что будет на съезде, уехал в город и отсиживался там.

— Вот так они и стараются перехитрить друг друга! — с горечью продолжал Магаш. — Вражда их подобна созревшему, готовому лопнуть гнойнику: того и гляди прорвется. Оспан-ага — человек смелый и жестокий, он может решиться на крупное дело. Но беда в том, что его дубинка другим концом ударит опять-таки по нашему отцу. В случае столкновения с Оспаном Уразбай обвинит во всем отца, скажет, как всегда: «Это — дело рук Абая, он подговорил Оспана, а сам прячется за его спиной…»

Магаш тяжело вздохнул.

— Теперь вы видите, в каких условиях живет наш отец, Абиш-ага. Круглый год кипит вражда — то затухает, то разгорается и все время мучает его. Ведь отец не слепой и не глухой: он не может не видеть и не слышать всего этого, — значит, не может и не отзываться сердцем… Вот они, аткаминеры! Родство у них подобно родству в стае ворон. Трудная, сложная жизнь в нашей степи. Вспыхнет пожар в одном конце — дойдет и до другого. Начнется болезнь — переберет всех до одного. Мы, молодежь, окружаем отца тесным кольцом, защищаем своими телами, пытаемся не допустить до него врагов. Мы готовы сделать все, чтобы оградить его от бед и несчастий. Пусть занимается он своим благородным трудом. Но нас маленькая горсточка… А злодеев, сеющих вокруг себя раздор, бесчисленное множество; они — как густой сосновый бор… Вот какие дела у нас в ауле, Абиш-ага, — печально закончил Магаш.

Абиш слушал взволнованный рассказ брата с глубокой горечью и негодованием.

— Да, как это ни трудно, каких бы жертв это ни требовало, надо оберегать труд отца, — сказал он после долгого раздумья. — Сочувствовать, жаловаться, даже страдать за другого — это не значит еще помогать. Надо бороться смело и открыто до тех пор, пока не уничтожим эту вражду. Правда на нашей стороне. Справедливость и добро с нами.

Солнце уже садилось. Путники приближались к аулу, где было намечено ночевать. Перевалив Чингиз, они спустились к реке Шаган и поехали по ее берегу, местами покрытому сочной травой, местами вздымающемуся меловыми скалами. Наконец, выехав на открытую каменистую поляну, они увидели прямо перед собой большой аул. Оживленный вечерний шум стоял над ним: блеяли ягнята, только что подпущенные к маткам, ржали жеребята, лаяли собаки. Это был аул Байтаса, родственника Еркежан, жены Оспана.

Кокпай придержал коня и показал Абишу на белеющий за аулом каменистый холм на том берегу реки.

— Вот эта гора и есть Конур-Аулие. Недалеко. Завтра с утра поедем туда.

Утром путники направились в Конур-Аулие. На каменистом склоне они увидели вход в пещеру. Оставив у входа лошадей, они гуськом стали пробираться следом за Кокпаем. Короткий извилистый коридор привел их в просторную пещеру.

Прохладная сырость охватила их. Каждый из жигитов зажег взятые с собой свечи или факелы. Темнота, наполнявшая пещеру, колеблясь, отступала от слабых огней. Жигиты медленно продвигались вперед. Пещера становилась просторнее и выше. Когда шаги смолкали, в пещере наступала мертвая тишина — все здесь было погружено в тихий, глубокий сон.

С каждым новым шагом подземелье тянуло путешественников все дальше вглубь. Казалось, покатая каменистая почва заставляет убыстрять шаги, увлекая людей в таинственную темноту, заманивая, как в сказке, на волшебную дорогу. Дармен, Альмагамбет, Какитай и Магаш, никогда не бывавшие здесь, шли с опаской, стараясь держаться ближе друг к другу, хотя не переставали, шутить. Магаш порой пропускал Какитая вперед, предпочитая ободряюще подталкивать его в спину.

Опередив своих спутников, Абдрахман ушел вперед, с жадным удивлением разглядывая подземелье, открывшееся перед ним в свете факелов. Наконец отставшие жигиты услышали его возгласы:

— Вода! Вода!

Молодые люди поторопились нагнать его, и скоро всё они собрались на берегу большого подземного озера. В дрожащем свете огней было видно, что вода в нем чиста и прозрачна, как хрусталь. Голоса гулко разносились над озером, четкое многократное эхо повторяло каждое слово. Дармен подобрал занесенный сюда кем-то прут и попытался измерить им глубину возле берега.

— Сразу у берега — обрыв, — сказал он. — Такой коротышка, как Альмагамбет, уйдет здесь в воду с головой!

Жигиты попробовали выяснить и ширину озера. Они начали кидать мелкие камни в темноту. Но с какой бы силой они ни бросали их, каждый раз раздавался всплеск воды — видимо, тот берег был очень далеко.

Абиш присел на берегу озера. Жигиты окружили его. Абиш начал рассказывать о том, как образуются такие огромные пещеры и какая таится в них жизнь.

— Фантазия людей населяет такие пещеры всякими чудовищами, — говорил Абиш. — Это и понятно. Вспомните, ведь и мы с тех пор, как вошли в пещеру, все время чего-то побаиваемся, чего-то ждем. Все здесь кажется таинственным…

Альмагамбет слушал его, широко раскрыв глаза, в которых был виден страх. Абиш, чуть усмехнувшись, продолжал:

— В таком огромном озере может жить любое чудовище… Кто его знает, может быть, и здесь живет какое-нибудь неведомое существо? Может быть, оно испугалось шума и спряталось на дне… Вот если б вынырнуло! Наш Альмагамбет, наверно, заверещал бы, как козленок, которого режут!

И Абиш начал подсмеиваться над юношей. Он с серьезным видом стал уговаривать жигитов убрать факелы подальше от воды, уверяя, что чудовище может вылезть из воды на свет. Вдруг, оглянувшись в темноту, Абиш вскочил на ноги, и закричав: «Вот оно!» — кинулся прочь от берега.

Не только Альмагамбет, но и все остальные, кроме Магаша, бросились за ним. Дармен быстрее других пришел в себя. Нагнав Альмагамбета, он навалился ему на спину, сбил с ног и начал молча душить. Альмагамбет, лишившись от страха голоса, мог только шептать:

— Пропал… Пропал…

Раздавшийся сзади хохот Абиша отрезвил жигитов. Они подняли факелы и, окружив Альмагамбета, возвратились к берегу. Магаш встретил их издевательствами.

Какитай не остался в долгу:

— Ну, мы-то бежали, а ты, видно, от страха просто не мог сдвинуться с места? Так ведь, Магаш?

— Я ведь не такой темный человек, как вы! — насмешливо ответил Магаш. — Я просто стоял на месте и спокойно читал «Аятыл Гурсу». Благодаря моей молитве шайтан и не мог вылезть на берег. Выходит, я всех вас спас!

Альмагамбет, придя наконец в себя, начал по обыкновению дурачиться.

— О, дорогой Магаш, прошу тебя, пожалуйста, читай эту молитву, пока мы не выберемся из пещеры! — умоляюще сказал он.

Абиш возобновил свой рассказ:

— В этих пещерах действительно встречаются живые существа. Их так и называют «пещерные рыбы», но они на рыб совсем не похожи. Длина этих тварей — аршин-полтора, кожа у них бледно-серая, как у мертвого человека. Они не знают дневного света, и поэтому у них нет глаз, они совершенно слепые.

— О создатель, так это же самый настоящий дьявол! — воскликнул Кокпай.

— Не поминайте его, Коке, а то и в самом деле накличете! — шутливо подхватил Дармен.

Альмагамбету, видимо, снова стало не по себе.

— Э, жигиты, а что, если мы покинем этот рай и выйдем на белый севт? — начал он. — Ведь мы порядочно насмотрелись всего в этой преисподней, пожалуй, и хватит…

— Вернуться, когда мы и не начинали осмотра? — оборвал его Абиш. — Мы проведем здесь весь день. Говорят, тут есть ответвления, расходящиеся во все стороны, вот мы разделимся и пойдем по ним. Торопиться не будем!

Альмагамбету пришлось покориться.

— Тогда я пойду с тобой, Магаш, буду держать твой факел, а ты читай «Аятыл Гурсу»! — сказал он умоляюще и вплотную прижался к юноше.

— А почему эту пещеру называют «Святой Конур»? — спросил Какитай. — Наука должна и это объяснить.

Абиш улыбнулся и поднялся с места.

— Раз говорится о святом, он должен быть где-нибудь здесь. Не может быть, чтобы в этой пещере не осталось его следов. Пойдемте поищем!

И он пошел вперед, освещая свечой каменные стены подземного зала. Вскоре и в самом деле показались узкие проходы, ведущие в разные стороны. Абиш с Дарменом пошли по одному из ходов пещеры. Магаш с Какитаем направились к другому. Они задержались, царапая на стене пещеры свои имена.

Абиш продолжал идти вперед вместе с Дарменом. Они вошли в одно из ответвлений и двинулись по извилистому коридору. Оба молчали. Перед Абдрахманом возник образ Магрифы. Как живое, встало ее сияющее белизной лицо. Лучистые серые глаза смотрели ему в душу открыто, чисто, доверчиво. В них жила радость, и взгляд их как бы передавал эту радость ему. Абиш сейчас представлял себе Магрифу до того ясно, что, казалось, ему стоит протянуть в темноту руку, чтобы пальцы его прикоснулись к милому лицу девушки. Единственное, что разделяло их, был мерцающий желтый огонек свечи, которую юноша держал в руке, и он дунул на него, чтобы убрать препятствие, заслоняющее его мечту. Огонек погас, и Абиша обступила полная темнота. Он остановился, невольно улыбаясь стоявшему у него в глазах видению.

Но тут его совсем некстати нагнал Дармен.

— Абиш-ага, давайте я зажгу! — заботливо сказал он и, взяв из его опущенной руки свечу, поднес к ней свою. Абиш продолжал стоять молча, как бы не замечая Дармена.

— Боже мой! — негромко сказал он. — Что за красота!

— О чем это вы? — удивился Дармен.

— О Магрифе. Я только сейчас понял, какая она красавица!

Дармен ждал, что Абиш будет продолжать, но тот снова замолчал. Тогда Дармен заговорил сам:

— Наконец-то! А я уж решил, что вы ничего не скажете. Значит, она вам понравилась?

— Понравилась?.. Что за ничтожное слово! Она меня просто околдовала!

— Э-э, вот как! — усмехнулся Дармен. — Ну, тогда, бог даст, мечта Дильды-апа сбудется. Аминь! — серьезно закончил он.

В голосе его звучала искренняя радость. Но Абдрахман покачал головой.

— Подожди радоваться, Дармен, — сказал он негромко. — Мечтам матери пока не суждено осуществиться.

— Почему так?

Абиш ничего не ответил. Тоска снова легла ему на сердце. В ушах, как голос самой судьбы, звучали слова старого профессора: «В вашем возрасте и в таком состоянии жениться нельзя. Это опасно и для жены».

Но хотя сердце его повторяло лишь эти жестокие слова, язык его произнес совсем другие:

— Это невозможно. Мне еще два года надо учиться. Не могу же я заставлять ее ждать меня. Зачем мне связывать ее и мешать ее счастью?

Дармену это не показалось даже и препятствием.

— Да ведь она еще совсем юная, посидит дома невестой, подождет! Посватайтесь и узжайте спокойно!

— Не уговаривай меня, Дармен, — твердо сказал Абиш. — Я все решил. Если когда-нибудь я женюсь, никого во всем мире, кроме Магрифы, мне не нужно. Но я уже сказал, что мне надо кончить ученье. Вы все, вероятно, ждете моего ответа? Так вот он. Кончим на этом.

И он быстро пошел вперед, как бы желая избежать дальнейшего разговора. Вскоре громкий его голос донесся откуда-то издалека:

— Дармен! Магаш! Какитай! Идите сюда! Нашел я нашего святого!

Жигиты опять вышли в подземный зал и увидели, что Абиш размахивает свечой в одном из широких углублений. Все сошлись к нему. Освещая длинный камень, лежащий в углублении, Абиш торжествующе заговорил:

— Вот он, посмотрите! Камень этот — ложе, а на нем лежит человек. Видите, вот голова, вот плечи.

Какитай и Магаш, с удивлением смотревшие на камень, действительно обнаружили в нем ясные очертания человеческого тела, вытянутого на ложе. Дармен, присмотревшись, тоже согласился с тем, что это высеченное из камня изваяние действительно похоже на лежащего человека. Абиш был вполне убежден, что находка его объясняет название пещеры.

— Правда, этот святой Конур не очень похож на настоящую статую, — шутливо сказал он, — но какая сила чувствуется в этом грубом изображении! Мне кажется, это показывает, что за фантазия была у наших предков!..

Освещая камень своей свечой, Абиш долго всматривался в него.

Жигиты повернули к выходу. Скоро вдали засияла узкая щель. Солнечный свет переливался там, как жидкое золото. Впереди всех торопливо шагал маленький, коренастый Альмагамбет. Выйдя из пещеры раньше остальных, он сел на камень и стал облегченно вытирать пот со лба, будто радуясь своему освобождению.

— Ну, вряд ли я еще когда-нибудь загляну к этому святому! — смеясь, говорил он, с наслаждением осматриваясь вокруг. — Разве я какой-нибудь Тостик,[33] чтобы искать чудеса? Волшебные красавицы мне не нужны, я вполне удовольствуюсь хорошей тобыктинской девушкой, которую выберу сам.

Сев на коней, путники начали спускаться с горы. На склоне ее оказалось древнее кладбище. Здесь было множество сложенных из камней могил, похожих друг на друга, как будто все они были сделаны в одно и то же время и одними и теми же руками. Абиш стал медленно объезжать кладбище, пристально всматриваясь в могилы. Он обратил внимание, что каменные надгробия расположены в определенном порядке отдельными группами и что на каждом из них высечены какие-то знаки. Абиш выразил предположение, что это, вероятно, тамги — условные знаки казахских племен и родов.

Подозвав Кокпая, ехавшего позади, Абиш стал расспрашивать его об этом кладбище и показал ему высеченные на могилах тамги. Кокпай, бывавший здесь и раньше, никогда их не замечал. Сейчас, сойдя с коня, он начал внимательно рассматривать надписи. На одной из могил он узнал тамгу племени Аргын — «два круга». Затем нашел «детское седло» кереев, «ковш» найманов. Рассматривая их, он удивленно щелкал языком и качал головой.

— Я впервые вижу клабдище, где похоронены представители почти всех племен Среднего Жуза.[34] Жигиты, наверно тут скрывается какая-то глубокая тайна. Как это так, что за диво? — размышлял он вслух. — Кажется, я догадываюсь, какие события оставили этот горький след на нашей земле. Посмотрите, тут не один человек похоронен, а несколько! — удивленно воскликнул он.

Жигиты наклонились над одной разрушенной временем могилой. Магаш поднял с земли пожелтевший от времени череп.

— Абдрахман, Дармен, посмотрите! — крикнул он, показывая отверстие, пробитое в черепе выше виска.

Молодежь плотным кольцом окружила Магаша. Кокпай внимательно осмотрел череп, потом бережно опустил его в могилу и негромко заговорил:

— Теперь мне ясно, в чем дело. Сто пятьдесят лет тому назад здесь была большая битва. В те года Аблай-хан воевал с калмыками. У жителей Арки есть много рассказов об этой войне, и вот я слышал такое предание. Однажды калмыки, за которыми гнался Аблай, забрались в какую-то пещеру и устроили там засаду. Казахи, думая, что враги убежали, беспечно расположились на отдых. Тогда калмыки выскочили из пещеры, внезапно напали на них и убили многих… Но казахи сумели принять бой. Калмыки опять спрятались в пещеру, укрепились там и долго не подпускали воинов Аблая, отстреливаясь из луков. У Аблая погибло много людей. Он обозлился и обратился к своим батырам: «Того, кто сумеет уничтожить калмыков в этой пещере, я сделаю главным начальником над всем войском», — сказал он. Тогда один из его батыров, Кабанбай из рода Каракерей, повел людей. Он осадил пещеру, засыпал вход стрелами, заставив калмыков уйти вглубь. Они голодали, сидели без воды и наконец сдались.

Жигиты слушали со вниманием.

— Какой же это мог быть набег? — спросил Кокпай самого себя. — Аблай делал много набегов. Самые известные — это «Ураганный набег», «Опустошение коржунов», который закончился Кандижапским миром с калмыками… Кто знает, может быть, эта резня произошла во время одного из таких походов? Ведь прошлое для нас темно.

Прищурив глаза, он некоторое время задумчиво смотрел на одинокую вершину, высившуюся вдали, словно видя перед собой давно исчезнувшую во мгле времен жизнь. Вдруг он быстро повернулся и взглянул на молодых спутников.

— Запомните, жигиты, нынче родилось во мне решение, — твердо сказал он, похлопывая по сапогу плетью. — Начинаю большую поэму об Аблае. Так напишу, что все дети казахов будут преклоняться перед его духом!

К удивлению его, слова эти не вызвали восторга, Дармен покачал головой.

— Тому ли нас учит Абай-ага, Коке? Не лучше ли написать правду, не славословие?

— На этот раз Абай-ага согласится со мной, — убежденно ответил Кокпай. — У казахов нет более чтимого предка, более великого человека, чем Аблай-хан!

Дармен не сдавался:

— Великого, вы говорите? Мы как будто научились по-новому понимать слово «великий»…

— Э, помолчи, дорогой! — уже начиная сердиться, сказал Кокпай. — Не заноси руку на высокое! Аблай — великий хан казахского народа, и я не потерплю оскорбления его памяти.

— Ну что же, Коке, — улыбнулся Дармен, — видно, ваш талант закусил удила и упрямо мчит вас вслед за ханами и султанами. Хотите воспеть ушедшую жизнь? Поглядим, какая будет поэма… Но раз вы передали поводья хану, смотрите, не оправдалась бы на вас поговорка: «Кто последует за ханом, под конец потащит седло на себе»!

Молодые люди рассмеялись. Кокпай молча повернулся к своему коню и первым тронулся в обратный путь.

Жигиты решили добраться до своего аула, нигде не задерживаясь, и поэтому не жалели коней. Впереди всех ехал на своем буланом коне Абиш. Как только выезжали на ровное место, он пускал коня вскачь, увлекая за собой остальных. Так — то размашистой рысью, то вскачь — путники успели вернутся в аул Абая, когда там только что начали готовиться ко сну.

В тот же день, когда молодежь отправилась в Конур-Аулие, Абай вместе с Ерболом поехали навестить больного Базаралы. На другое утро они были уже у него.

Аул Базаралы состоял из полутора десятков юрт его родственников и друзей, таких же бедняков, как он сам. Здесь были только серые ветхие юрты или простые шалаши. Небольшая юрта Базаралы, с потемневшей, зачиненной во многих местах кошмой, стояла посредине аула. Внутри не было ни сундуков, ни кроватей, ни тюков. Как во всех бедных семьях, у которых не хватает верблюдов для перекочевок, здесь было облегчено все, даже сама юрта.

При появлении гостей Базаралы приподнялся на низкой постели, сложенной из нескольких рядов войлока, и оперся спиной о решетку юрты. Черная его борода теперь заметно поседела, прежний яркий румянец исчез. Болезнь и тяготы жизни вызвали на сухой коже щек и широкого лба печальную желтизну. Взгляд стал холодным и грустным. Лишь в первый миг встречи со старыми друзьями вспыхнул на его лице слабый румянец и тотчас же угас.

Абай не отрывал глаз от друга. Сердце его сжималось от жалости. Воображению его вдруг представился беркут с надвинутым на глаза колпачком. Отчего-то кажется, будто острый, словно из алмаза высеченный клюв сложен какой-то страдальческой складкой. Но стоит снять с головы беркута колпачок — плененная птица тотчас кинет быстрый, мечущий искры, гордый, непокоренный взгляд, еще более отважный и выразительный, чем когда она находится на воле… И, расспрашивая Базаралы о здоровье, Абай все время возвращался мыслью к своему сравнению.

Жена Базаралы, исхудавшая Одек, разостлала для гостей одеяло и узорную кошму. Ее сожженное солнцем, будто прокопченное лицо выражало почтительную приветливость. Она расспрашивала Абая и Ербола о здоровье их детей, не забывая ни одного имени. Базаралы, видимо, одобрял ее радушие и заботливость.

Повесив над очагом перед юртой чайник, она негромко посоветовалась со старшим сыном, какого ягненка заколоть для обеда, вызвала на помощь молодую соседку; вскоре появился казан, вода, топливо — и женщины, собравшись вокруг очага, принялись хлопотать.

Отвечая на расспросы друзей, Базаралы рассказал о своей болезни.

— Ну что ж, видно, это у тебя куянг,[35] — решил Ербол.

— Все суставы схватило. Как вечер, так беда! Самые заклятые враги мои — дождь, непогода, сырость. В жаркие дни я как все люди, а вот испортится погода — корчусь, будто колдун, которого бесы скрючивают, — невесело подсмеивался над собой Базаралы.

— Для такой болезни горное жайляу совсем не годится, — заметил Абай.

— И не говори! И дожди меня здесь доконали, и кочевки по холоду.

— А почему же вашему аулу не сидится где-нибудь на одном урочище? Неужели для вашего крохотного стада на одном месте не хватит выпасов?

— За глаза хватит. Да разве людей удержишь? Только и приговаривают. «Вон откочевал аул Байдалы, вон снимается Жабай, аул Бейсемби уходит… Ну, и нам надо двигаться!» Знаешь, Абай, я за эту свою болезнь прямо возненавидел обычай кочевки! Да разве с ним покончишь!

В этих словах Базаралы Ербол почуял прежнюю непримиримость друга и, желая подзадорить его, добавил:

— Выходит, что Даркембай оказался умнее всех? Он-то давно поселился у жатаков.

— Конечно! Я себе пальцы кусаю, когда думаю, почему я не стал его соседом и по аулу и по мыслям. Злюсь я на себя и на всех, кто скитается по этим урочищам — осенним, весенним, летним…

Теперь Ербол вступил в спор:

— Чего же ты хочешь: чтобы кочевой казах превратился в оседлого мужика? Думаешь отучить его от дедовского способа хозяйства?

— Э, свет мой, дедовский-то способ и довел нас до нищеты! Кто в этом мире беднее и голее всех? Дети казахов! Посмотри на русских: у них есть города, деревни… А что у нашей бесчисленной бедноты? Одно утешение, что степи широки и пустыни безлюдны, — катись куда хочешь, как перекати-поле, пока тебя гонит степной ветер… И нет от тебя ни следа, ни добра. Как пена на озере: возникнешь и исчезнешь. Сегодня в лощине, завтра на холме… А где же следы, которыми ты можешь гордиться, где знаки давней жизни, где наследство потомкам?

Эти горькие вопросы Абай воспринимал так, словно они были обращены к нему, а не к Ерболу. Будто бы сам народ, измученный, обессиленный, стоял перед ним, надеясь на него, как на разумного сына, который один видит путь, и спрашивал: «Куда же идти?» А он — беспомощный, безответный — молчал и лишь терзался тоской.

— Как жестоки твои думы, Безеке!..Они жгут, как перебродивший яд.

— Не во мне перебродил этот яд, а в умах народа твоего. Оглянись кругом. Все души измучены этим ядом.

— Кто даст ответ, кто покажет путь к спасению от бед? Видно, не я. В малом я могу помочь, а всем исцеления не нахожу. Оттого и мучает меня горе, Базеке.

— Горемычных старцев везде полно, а ты дай мне силы, пробуди во мне волю, Абай! — осуждающе сказал Базаралы, глядя на друга ясным взглядом, в глубине которого пылал упрямый, холодный огонь.

За это время Одек принесла чайник, и мужчины придвинулись к скатерти. Задумчиво прихлебывая густой чай, Абай сидел молча. Базаралы повернулся к Ерболу, продолжая прерванную мысль:

— Значит, по-твоему, зло не в кочевке? Ну, а все эти «черные сборы», недоимки, которые вчера выколачивали из людей? На кого обрушились они лютым злом? На нищих да голодных! А если бы эти несчастные не таскались за баями по кочевьям, а жили бы вдали, у жатаков, на своих заработках, может быть, и не попали бы они в пасть этих волков?

Он помолчал, вспоминая недавнее горе.

— Видно, и тебя, Абай, разъярили! Крепкий удар нанес ты по кровавой пасти! Я так был доволен, будто не ты, а я это сделал… И жаль, что меня придавил этот тяжкий недуг… Ведь сколько народу они ввергли в горе! Будь я на ногах, я бы кинулся в бой, пусть даже нашел бы в нем смерть. Что мне жалеть, что беречь? Народ тогда бушевал в горе и в гневе; стать бы впереди них, повести к справедливой мести, покарать врагов! Лучше умереть, вспыхнув на костре, чем долго гнить во тьме.

Ербол одобрительно засмеялся.

— Э, Базеке, ты жалуешься на болезнь, а на самом деле в тебе силы и гнева больше, чем в целом десятке других!

— Верно говорит Ербол, — поддержал Абай. — Вот мы и крепки, и здоровы, и довольны собой, а ни разу не находили в себе столько воли и гнева! Тобой я сейчас горжусь, Базеке, а подумав о себе, о своих делах, только стыжусь…

— Не говори так, Абай, и не думай так! — остановил его Базаралы. — Кто я? Крикун, горлан. Все мои подвиги — на коне, в ударе соила. А ты? Ты трудолюбивый хлебороб, ты сеятель. Народ получает от тебя семена новой жизни. Только одного желаю тебе: пусть ложится твой путь все шире перед тобой, пусть идет он все выше! Пусть будет он широкой, верной дорогой, по которой потянется караван всего твоего народа.

Абай только грустно покачал головой. В долгой беседе с друзьями он снова повторил те мысли, которые стали для него привычными, которые он излагал в своих стихах. Да, он посвятил себя борьбе со злом, он показывал людям страшный лик его, разнообразный в неисчислимых проявлениях насилия, несправедливости, произвола. Но он не показал народу, что же такое само добро, благо? Не указал и светлого пути к нему, не указал пути упорной борьбы. Тяжелые мысли угнетали Абая.

До позднего вечера друзья высказывали друг другу свои думы и мечты о честном служении народу, о его счастье. Полная луна уже освещала степь ярким серебристым сиянием. Вечер был теплый безветренный. Постель Базаралы вынесли из юрты, гостям постелили тут же. Друзья улеглись рядом, молча прислушиваясь к дыханию степи и наслаждаясь спокойной, мягкой прохладой.

Луна нынче выглядела такой огромной, будто она особенно близко придвинулась к аулу. Казалось, что-то привлекало ее внимание на этом крохотном кусочке мира и она спустилась со своей невообразимой высоты, чтобы получше вглядеться в это тихое горное урочище. Зачарованный ею, Абай не отрывал глаз от сияющего диска. С дальнего края аула донеслась песня, которую пели юные голоса. Временами ее перебивали звонкий смех, возгласы и шумный разговор. Видимо, лунная ночь своим таинственным манящим призывом лишила сна молодежь аула, и та устроила качели и затеяла веселые игры.

Звуки песни пробудили в душе Абая давние дорогие воспоминания. Его охватила жаркая волна, но тут же чувство грусти, сожаления, безвозвратной утери больно сжало его сердце.

— О пора юности! — негромко сказал рядом Базаралы, как будто подслушав мысли Абая.

— Куда ушла она? — печально продолжил Абай. — Исчезла и унесла с собой все, чем жила душа. А теперь рядом — другая юность, чужая нам и непонятная.

Базаралы посмотрел на Абая с дружеским укором.

— Ну, так жаловаться можем только мы с Ерболом!

— Что же, по-твоему, Абай не с нами, а на тех давних качелях в Жанибеке? — пошутил Ербол.

— А вы послушайте оба: там поют твою песню, Абай! Поэтому я и говорю, что ты не с нашей старостью, а с той юностью. Слышите?

Ербол, прислушавшись, негромко рассмеялся.

— «Привет тебе, чернобровая», — сказал он.

Долго они в молчании слушали пение, доносившееся от качелей. «Восьмистишия», «Письмо Татьяны», «Ты зрачок моих глаз» — песни Абая, рожденные то грустной думой о народе, то порывом любящего сердца, звучали там. Строки, рожденные вдохновенным трудом многих лет, теперь воскресали в нежном, полном чувства пении девушек, в мужественных голосах жигитов, в звонких, торопливых, порой сбивающихся перекличках подростков.

Абай глубоко вздохнул от волнения. Базаралы негромко заговорил о том, что давно хотел поведать своему другу:

— Ты сам-то понимаешь, Абай, что те слова, которые родились в твоем сердце, доходят до самой души народа и живут в его устах? Я говорю о настоящем народе, о том, который ютится в этих серых юртах да лачугах, начиная от малых воронят до старых, иссохших беркутов. Ты с этим народом. С его юношами и ты юноша, с его старшими и ты аксакал. А с тех пор, когда узнали, как ты защищал ограбленных «черным сбором», все увидели в тебе своего заступника. Народ жаждет твоих слов, твоих песен!.. Хочешь, скажу и о себе? Когда я был здоров, ты был для меня опорой. А теперь, когда я лежу в недуге, ты каждый вечер делишься со мной своими душевными тайнами. Вот кем стал ты для меня.

Давно Абай не чувствовал такой полной радости, но всего того, что он сейчас переживал, не высказал. Он ответил лишь:

— Базеке, ты щедро одарил меня этими словами. Они дороже самого лучшего коня, самого сильного верблюда. Ты словно крылья мои укрепил. И если родятся еще у меня песни, они родятся для тебя.

В этих недосказанных словах был двойной смысл. Обращаясь к Базаралы, Абай говорил всему народу. В этих словах была клятва Абая жить и творить на пользу народу и в помощь ему. В беседе с Базаралы тоскующая душа Абая получила новую силу, окрепла, как бы воскресла. И, говоря о крыльях, Абай дал понять, что в этот вечер вдохновение и поэтическая сила нашли ту опору, которой им не хватало.

Базаралы понял все, что хотел сказать Абай, и, как бы принимая тайны его души, молча кивал головой, слушая его.

2

То приподнятое настроение, в котором молодежь вернулась из поездки в Конур-Аулие, сразу же исчезло после встречи с Абаем. Оказалось, что за время их отсутствия неожиданно разразилась новая беда, которая могла разгореться большой враждой. Абай коротко рассказал им, что Оспан самым жестоким образом расправился с Уразбаем. Подробности этого Абиш, Магаш, Дармен и Какитай узнали ночью от Акылбая, оставшегося в ауле.

Произошло же вот что.

Оспан, как и рассказывал позавчера Абдрахману Магаш, действительно помчался в Семипалатинск за Уразбаем, бежавшим туда из своего аула. Когда Оспан вместе с биями, елюбасы, старшинами, писарями и посыльными приехал в аул, чтобы устроить съезд, Уразбая здесь не оказалось. Мало того, уезжая в город, Уразбай зажег сразу два костра новой вражды. Во-первых, он оставил послание старейшинам всех аулов на берегу Есполатовского озера, чтобы они не разрешали Оспану проводить здесь съезд. Во-вторых, заготовив «приговоры» двух административных аулов, зависящих от него, и поставив на них нужные печати, Уразбай повез их семипалатинскому уездному начальнику, обвиняя Оспана в самоуправстве.

Между тем для Оспана было чрезвычайно важно провести намеченный им съезд. Еще не будучи волостным, Оспан везде и всюду говорил, что если ему достанется волость, то он будет справедливым управителем. Теперь жалобы народа на Уразбая и окружавших его аткаминеров, которые вместе с ним обогащались, угоняя коней у соседних племен, принуждали его выполнить свое обещание. Прежним волостным обуздать Уразбая было не под силу. Оспан понимал, что если ему удастся укротить неукротимых воров, изловить изворотливых грабителей, то влияние его в волости упрочится. Кроме того, Ойпан с давних пор ненавидел Уразбая и Жиренше, считая их источником всякого зла в Тобыкты.

Оспана порядком побаивались. Высокий ростом, мощно, как богатырь, сложенный, он производил большое впечатление на встречавшихся с ним людей. О нем ходило множество рассказов, похожих на легенды. Говорили, что он повалил на землю быка, кинувшегося на него, пинком в нос оглушил злую овчарку-людоеда, пытавшуюся его растерзать. Было известно, что он вытащил из колодца упавшего туда годовалого верблюжонка, ухватив его за горбы.

Зная, что эта могучая сила сочетается с решительным характером и порою бешеной вспыльчивостью, редко кто пытался ему противоречить. С другой стороны, многих привлекали открытый характер Оспана, его щедрость и гостеприимство. Об этом тоже ходили рассказы. Говорили, что если кто-либо проедет мимо его аула, Оспан посылал за ним вдогонку и с шутливой обидой спрашивал его: «Чем провинились перед тобой мои овцы, что ты не желаешь отведать их мяса? Скажи, кто ты такой, откуда в тебе такая гордость, что ты пренебрегаешь моим аулом?» Такежан, Майбасар и другие за глаза высмеивали его: «Люди не знают, как избавиться от разоряющих их гостей, а наш Оспан, наоборот, плачет, когда у него их нет!»

Когда Оспан приехал в аул Уразбая и узнал, что тут произошло, лицо его почернело от гнева. Не помня себя, он кричал на Спана — племянника Уразбая.

— Теперь я не успокоюсь, пока не достану Уразбая! Хотя бы он сквозь землю провалился, я его разыщу и притащу сюда связанного, как козленка!

Спан ничего на это не ответил и проводил его так же молча, как встретил. Но тотчас послал в Семипалатинск гонца. «Волостной уехал черный от злобы, помчался напрямик, как кабан с оскаленными клыками. Если попасться ему на глаза, обдерет шкуру. Пусть Уразбай не даст застигнуть себя врасплох, чтобы после не горевать», — передавал он дяде.

Оспан действительно прямо с Есполатовского озера направился в город. Ехал он в повозке, запряженной тройкой, но, чтобы не задерживаться в дороге, взял с собой шесть свежих коней на поводу у двух жигитов. Меняя поочередно запряжки, он добрался до города меньше чем за сутки, опередив гонца.

Уразбай был в городе всего два дня. Он потратил их на то, чтобы с помощью адвоката и переводчиков подготовить свою жалобу. Утром того дня, когда приехал Оспан, Уразбай пришел в канцелярию уездного начальника Казанцева с жалобой, уже переписанной на русском языке. Тотчас вслед за ним в канцелярию вошел Оспан, пыльный, в дорожной одежде.

Казанцев в канцелярии еще не появлялся, и Уразбай ожидал его в прохладной полутемной приемной. Он был очень сердит и, увидев Оспана, окинул его злым взглядом. Однако тот, к его удивлению, подошел к нему с улыбкой, отдал салем и справился о здоровье. Уразбай недоуменно посматривал на него. Неужели Оспан забыл вражду? Или просто не знает, как должен вести себя в таких случаях начальник?

— Уразеке! — сказал Оспан самым добродушным тоном. — Когда старший гневается, младший должен приходить с повинной. Я узнал, что вы уехали из аула с обидой на меня. Вы знаете, я ни перед одним казахом на колени не становился, не боюсь и вас, хотя пазуха ваша набита жалобами. А за что на меня жаловаться? Волостным я стал недавно, может быть, по неопытности и ошибся, но обвинить меня не в чем: по службе преступлений я не совершал, народ ничем не обижал, перед начальником, кому вы хотите жаловаться, ни в чем не виновен и к жене его в постель не лазил. Это и сам Казанцев хорошо знает. И если сейчас мы войдем вместе, то первым он выслушает не вас, а меня, вот увидите, хоть об заклад биться!

Говоря это, Оспан весело смеялся, показывая белые зубы.

— Мне надо кое о чем с вами поговорить, — продолжал он, — а тут душно, дышать нечем. Пойдемте на улицу, присядем в тени, побеседуем. Узнав, что вы на меня рассердились, я нарочно погнался за вами: у меня к вам просьба младшего брата к старшему. Выслушайте меня, и потом я уеду обратно. Я ведь не для того приехал, чтобы помешать вам подать жалобу. Пойдемте, Уразеке, поговорим!

Уразбай неохотно вышел вслед за ним на улицу. Оспан повел его к своей повозке, стоявшей в тени на той стороне улицы, и, подходя подмигнул вознице. Высокий, огромный, чуть не вдвое выше Уразбая, Оспан шел вплотную за ним. Подойдя к повозке, он вдруг наклонился к Уразбаю и прошипел ему прямо в лицо:

— Садись в повозку, слепой пес, чтоб тебе бороду обгадили! Залезай, пока жив!

Уразбай оглянулся, как затравленный волк. Возле канцелярии стояла его повозка. Он хотел было позвать на помощь, но Оспан, угадав его намерение, зажал ему одной рукой рот, а другой схватил за шиворот. Легко подняв Уразбая на воздух, словно беркут, вцепившийся в зайца, Оспан кинул его в угол повозки и вскочил в нее и сам.

— Гони что есть мочи! — крикнул он вознице и так ударил в грудь Уразбая, что тот потерял сознание.

Кучер вытянул коней кнутом, и они с места вскачь рванули тяжелую повозку.

Лишь когда тройка переехала на ту сторону Иртыша и помчалась по большой караванной дороге, ведущей к Чингизу, Оспан приказал остановиться. Кругом была безлюдная степь. Оспан вышел из повозки и обратился к Уразбаю, который к этому времени пришел в себя:

— Я научу тебя, как затевать вражду, негодяй! Вот тебе наказание, — и не за все, а только за одно из твоих собачьих дел! Ты меня долго не забудешь!

И, вынув Уразбая из кузова, как ребенка, он посадил его снаружи на задок повозки, приказав вознице привязать его. В таком виде лишь на следующую ночь Оспан с позором доставил в свой аул связанного Уразбая.

Слух об этом неслыханном унижении мгновенно разлетелся по соседним аулам. Иргизбаи порядком встревожились: никто и не ожидал, что Оспан может решиться на такое дело. Родичи соглашались друг с другом, что поступить так мог только один Оспан, который с одинаковой страстью отдается и дружбе и вражде. Однако никогда еще не было в степи случая, чтобы кто-нибудь так жестоко наказал своего врага, и все сходились на том, что это вызовет яростную вражду родов и приведет к большой беде.

Когда весть о поступке Оспана долетела до аула Абая, он послал к брату Ербола и Акылбая.

«Уразбай — действительно злодей, — передавал он через них. — Он самый лютый волк в нашей степи, истязатель народа. Оспан правильно решил устроить на него облаву. Но бороться надо было с ним так, чтобы он отдал чужое добро, вернул народу награбленное. А Оспан обратил все в личную борьбу, словно он борется лишь во имя своей мести. И вышло так, что сцепились во вражде и тяжбе два соперника, не поделившие власть. Все это рождает теперь только зло и лютую вражду. Пусть Оспан запомнит, что он завяз в грязи. Теперь все повернулось неверно. Наказание он уже совершил и пусть теперь отпустит Уразбая».

Что касается другого брата Оспана — Такежана, — то этот повел себя так, как и можно было ожидать от хитрого и коварного аткаминера. Как только весть о происшедшем дошла до него, он направился в аул Оспана. Ворвавшись туда с шумом и криком, он даже не зашел к брату, а прямо кинулся к Гостиной юрте, где, как ему сказали, находится Уразбай. Еще не заходя в нее, он стал кричать на весь аул:

— Что за злодейство? Где это видано, чтобы казахи так поступали друг с другом, хотя бы враждовали насмерть. С какого предка он взял пример? Где ты, Уразбай?

Уразбай лежал в Гостиной юрте, отвернувшись к стене. Хотя он слышал голос Такежана, но не ответил и не повернул головы, когда тот вошел в юрту. С тех пор как Уразбай попал в руки Оспана, он отказывался от пищи и даже от воды. Когда ему приносили что-нибудь, он отталкивал это от себя, крича: «Убери свой яд!»

Приход Такежана не заставил его изменить своего поведения. Такежан подсел к нему, повернул к себе его лицо, искаженное злобой, и крикнул своим людям, чтобы принесли кумыс. Почти насильно он заставил его сделать несколько глотков. Лишь теперь Уразбай злобно взглянул на него своими косыми глазами и сказал негромко:

— Сыновья Кунанбая! Либо вы убьете меня здесь и выпьете всю мою кровь, либо до самого судного дня я буду трясти вас обеими руками за шиворот! Самые большие враги мои — Оспан и Абай. Тебя, Такежан, я не стану называть главным врагом, раз сегодня ты пришел мне помочь, но враждовать с тобой все равно буду. Иди, больше я ничего не скажу! То, что вы задумали сделать со мной, делайте скорее. — С этими словами он снова отвернулся к стене и замолчал.

Такежан выслал из юрты своего жигита, принесшего кумыс, и, оставшись наедине с Уразбаем, зашептал:

— Неужели, если у нас был один отец, я должен отвечать за Оспана и Абая? То, что передали мне перед твоим отъездом в город, я хорошо понял. Больше здесь я ничего не могу сказать, поговорим после. — И он продолжал нарочито громко, во весь голос. — Кто ты для меня — калмык? Разве у нас исконная вражда? Садись на моего коня, Уразеке, бери с собой моего жигита и уезжай сейчас же домой! Хотел бы я посмотреть, кто остановит тебя! Уезжай спокойно, никого не бойся. Такого позора, такого злодейства я никому не прощу.

Он насильно поднял Уразбая на ноги, надел ему на голову малахай, опоясал кушаком. Потом сам вывел из юрты, посадил на собственного коня и приказал приехавшему с ним жигиту:

— Проводи Уразеке до его аула. Останавливайся там, где он пожелает. Следи, чтобы пил и ел как следует. Чтобы не уставал!

Уразбай, освобожденный Такежаном, направился прямо в свой аул у Есполатовского озера. Отправив его, Такежан пошел в юрту Оспана. Выслав женщин, молодежь и слуг, он остался с Оспаном наедине и заговорил, бросая на него гневные взгляды:

— Значит, как говорят, «уж если пугать, так до смерти». Что это за поступки, кто тебя подучил?

— Уж во всяком случае не ты! — насмешливо ответил Оспан. — Не бойся, на тебя я сваливать не буду.

— Признавайся: это — дело Абая?

— И он ни при чем. Сделал это я сам. А ты-то что волнуешься? Почему так перепугался?

— Никто и не слыхивал, чтобы кто-нибудь из наших предков решился бы на такое дело!

— Ну, они не делали, так я сделал!

— Зачем?

— Чтобы искоренить зло.

— Накинулся на одного — думаешь, всех проучил? — с раздражением спросил Такежан.

— Уразбай — самый главный злодей. Если сперва проучить его, и с другими расправиться легче.

— Тебе ли учить Уразбая? На кого ты замахнулся?

— А чем он выше меня? Своей подлостью? Если я не заставлю тебя и Уразбая возместить убытки тем людям, кто из-за вас льет слезы, что тогда говорить о справедливости.

— Тогда пусть провалится твоя власть волостного! — обозлившись, отрезал Такежан и продолжал с издевкой: — «Справедливость!» Не у Абая ли ты это перенял? Где твоя справедливость, о которой ты кричишь?

— Собака слов не понимает, ее надо бить плетью! — ответил Оспан и добавил, издеваясь над Такежаном: — Но удивительно, что ты чувствуешь эти удары на себе! Тебе тоже больно? Почему? Ты ведь был противником Уразбая! Не он ли только вчера натравил на тебя жигитеков и заставил их разграбить твои табуны? Что же сегодня ты виляешь, крутишь? Куда гнешь?

— Хоть я и был с ним в ссоре, но никогда не дошел бы до такого злодейства, как ты, — ответил Такежан. — И не буду я поддерживать тебя, если ты сам накликал беду! Мы не в жмурки играем, чтобы ты повел меня за собой и столкнул с крутого берега! Лучше я пойду своим путем!

Оспан рассвирепел.

— Э-э, Такежан, не хотел я верить, что ты можешь дойти до такой подлости, а видно, придется! Уразбай и Жиренше спят и видят, как бы разжечь огонь вражды между сыновьями Улжан — мной и тобой. И я знаю, сколько раз они подъезжали к тебе! Они понимают, что тебя легче поймать в сети. Сейчас ты изливал свои дружеские чувства Уразбаю. Я не вмешивался, с места не тронулся. Думал, наверно, ты, как старший брат, хочешь смягчить мою резкость, затушить вражду. А теперь понял, что ты, залебезив перед Уразбаем и освобождая его, продал меня и Абая. Растоптал нашу честь. Я ведь знал, что твой подлый сын Азимбай еще раньше тебя стакнулся с Уразбаем и теперь готов кидаться на всякого, на кого тот его натравит. Хочешь знать правду, зачем я так унизил Уразбая? Чтобы испытать тебя! Я хотел тебя проверить, как ты себя поведешь, когда тебе придется выбирать: на одной стороне Уразбай, на другой — я. Теперь я тебя раскусил, всю твою подноготную вижу. Но знай, Такежан, я и дальше буду следить за каждым шагом Уразбая, а за тобой смотреть буду вдвойне! Я не побоюсь проклятия не только нашего Тобыкты, но и всего казахского народа! Попробуй предать меня и переметнуться к Уразбаю — я зарежу тебя и твоего сына, как собак, своими собственными руками! Убирайся отсюда, я не хочу больше слушать твоих зловонных слов!

Такежан сорвался с места и выскочил из юрты.

Из слов Оспана он ясно понял, что рассчитывать на него больше уже нельзя. «Еще один перевал — и враги кинутся на меня не издали, а из-под бока, из самой семьи!»— зло думал он.

До сих пор он еще надеялся, что в решительный момент все кунанбаевцы будут рядом с ним, так или иначе поддерживая его, как старшего сына ага-султана. По его убеждению, кунанбаевцы так и останутся вечными повелителями: обирай, объедай все Тобыкты — кто будет перечить? Оказывается, выходит по-другому: явились отступники от пути отцов, от божьих установлений, предатели родовой чести. Это Абай, а теперь и Оспан, кинувшийся по его следам… Что же, придется бороться с ними беспощадно. Они враги не только родового дела, но и всего дорогого для казахов, всего, что берегут сильные и почтенные люди степи. Но чтобы бороться с ними, нужны помощники. А кто такой Уразбай? Только дубинка против отступников в руках его, Такежана. Такие люди, как Уразбай, ему сейчас нужнее других. Но надо быть осторожным: и другая родня может бросить такой же упрек, как Оспан. Значит, надо сноситься с ним тайно, чтобы это не бросалось в глаза.

И, думая об этом, он решил теперь же согласиться на просьбу, которую передал ему Медеу, сын Уразбая.

Медеу, хотя и молодой еще жигит, отлично усвоил все приемы отца в сложных кознях и хитросплетениях. Сразу после отъезда Уразбая в город Медеу послал к Азимбаю доверенного человека с напоминанием о том, о чем они начали договариваться: «Нужно положить конец раздорам между потомками Кунанбая и Аккулы. Может, мне и Азимбаю удастся это благое дело. Я не раз уже выражал желание породниться. Пусть Азимбай просватает свою новорожденную дочку за моего трехлетнего сына! Я повторяю эти слова в дни, когда пожар вражды вот-вот вспыхнет. Может быть, это предотвратит беду. Пусть Такежан и Азимбай дадут знать о своем согласии — и завтра же мы пошлем им каргибау в сто коней».

Именно это предложение и заставило Такежана ринуться на выручку Уразбая. Мысль о ста отборных конях и о выгоде родства с Уразбаем давно уже не давала ему покоя. Услыхав о поступке Оспана, Такежан пришел в ужас: все его расчеты могли рухнуть.

Эти события и обсуждались в юрте Магаша. Молодым людям было ясно, что если распри будут углубляться, надо ожидать, что Такежан окажется на стороне Уразбая, а не Оспана. Было понятно также, что аул Такежана не в силах что-либо предпринять сам — он сейчас был похож на змею, у которой вырваны ядовитые зубы. Но, тайно объединившись, Уразбай и Такежан могли сильно навредить Оспану.

Впрочем, не о нем думали сыновья и друзья Абая. Помимо воли Оспана костер, который он разжег в необузданном порыве ярости, раньше всего должен был обжечь Абая. Это отлично понимал и сам Абай. Вздыхая, ворочаясь с боку на бок, он провел эту ночь в тяжелых думах.

Наступало время возвращения Абдрахмана в Петербург. Аул Абая стал готовиться к проводам дорогого гостя.

Накануне его отъезда посыльный Далбай привез Абаю пакет из волости. Это была повестка, вызывающая Абая к уездному начальнику Казанцеву: Абая требовали как ответчика по делу недоимщиков Чингизской волости.

Узнав о повестке, друзья Абая сильно встревожились. Но сам Абай был спокоен:

— Вызывают по этому делу? Ну что же! Из всех моих ответов перед властями это такой, который я готов держать когда угодно. Что бы ни случилось, раскаиваться не буду.

И он тут же решил ехать вместе с Абишем.

Последнюю ночь все провели вместе, в задушевной беседе обсуждая тревожные опасения, рожденные враждой. Утром просторный тарантас, запряженный тройкой, вырвался из толпы провожающих и покатился по поросшей травой дороге, позванивая колокольчиками и бубенцами. Вслед помчалась легкая повозка Абая. В ней сидел Дармен, а Баймагамбет правил конями.

Абай и не догадывался, что вызов к начальству был следствием вражды, разожженной Оспаном.

Взбешенный Уразбай пригнал в Семипалатинск целый косяк коней, продал их и все деньги пустил на подкуп толмачей и всяких нужных людей в канцеляриях уездного начальника, мирового судьи и даже губернатора. Везде он обвинял Оспана во всех грехах, но в разговоре с Казанцевым повел дело иначе: он начал жаловаться не столько на Оспана, сколько на Абая.

— Что же, значит, ты со всеми Кунанбаевыми не в ладах? — спросил недовольно Казанцев.

Уразбай, отлично знавший, как тесно связан уездный начальник с Такежаном и его сторонниками, тут же объяснил, что на прежних управителей, Шубара или Исхака, он никогда не жаловался. Да и сейчас главный его враг не Оспан, который жестоко его оскорбил, а Абай, хотя тот и не занимает никакой должности.

Казанцев понял, что у этого хитрого и опытного степного воротилы есть какой-то сложный замысел, ведущий к далекой цели. Уразбай казался ему человеком, который не брезгая никакими средствами борьбы, умеет крепко опутать противника сетями и вцепиться в него волчьей хваткой. И когда уездный спросил, что же, собственно, сделал Ибрагим Кунанбаев, Уразбай, нетерпеливо подталкивая под локоть рябого переводчика, быстро заговорил.

— А разве господин начальник не знает, что было на жайляу Кзыл-Кайнар во время сбора недоимок? Это подстроил Ибрагим Кунанбаев. Ведь на других жайляу — скажем, у меня или у Жиренше — никто и слова не посмел сказать против налогов для белого царя. А там Абай возмутил голытьбу. Поднял против управителей. Против начальства, посланного господином уездным. Разве один я это говорю? Его осуждают все почтенные люди степи, все аткаминеры. Мы-то верные слуги белого царя, а этот Абай идет против него, против властей, сеет смуту.

— Значит, аткаминеры могут и написать об этом властям? — спросил Казанцев.

Уразбай правильно понял, что это не вопрос начальства, а его совет, и радостно закивал головой.

— Напишут! Понадобится — и приговоры составят с печатями! Не только господину уездному — и другим властям подадут жалобы. В суд подадут. Самому жандаралу напишут! Только скажите, господин начальник, можно ли нам на него жаловаться? Не осудят ли нас большие власти, что в покорном вам народе мы позволили завестись неукротимому смутьяну, дали ему совращать людей?

Теперь и Казанцев в свою очередь правильно понял вопрос Уразбая: тот, очевидно, приглашал его самого принять участие в травле Абая. Но прямого ответа он не дал.

Ему было ясно, что в случае надобности этот властный и решительный «киргиз» придумает любое обвинение Ибрагиму Кунанбаеву. Оба они: и царский чиновник и родовой воротила — один в городе, другой в степи — одинаково враждебно относились к Абаю. И не говоря прямо, они намеками, обиняком договорились действовать против него вместе. Казанцев дал понять Уразбаю, что «почтенные люди» степи могут подавать на Абая любые жалобы. И не только ему, уездному, но и другим властям, даже и губернатору. Чем больше будет поступать в различные канцелярии жалоб и родовых приговоров, тем лучше.

Казанцев отлично понимал, что Абай слишком известен и влиятелен среди степного населения, чтобы его можно было свалить быстро. Удар нужно было готовить исподволь, накапливая жалобы. И поэтому, решив для начала вызвать Абая на допрос о случае на жайляу Кзыл-Кайнар, Казанцев поручил дело своему опытному помощнику. Он приказал допросить Абая коротко, не пробуждая в том опасения, что дело может угрожающе осложниться, но так, чтобы виновность его в этой мятежной вспышке была очевидна. Лишь впоследствии, когда высшие власти будут завалены жалобами на Абая, можно будет открыть и этот козырь — обвинение в подстрекательстве к бунту.

Абай, дав помощнику Казанцева объяснения, спокойно вернулся в свой аул, не подозревая, какие грозовые тучи, гонимые ветром вражды, собираются над его головой.

Вражда, вызванная Оспаном, отозвалась и в далеком татарском ауле.

Магрифа после первого свидания с Абишем ожидала какой-либо вести о нем, жила в радостных мечтах, не поверяя, однако, их никому. Но время шло, а вестей ни от него, ни от его родных не приходило.

Да разве можно было говорить о женитьбе сейчас, когда вражда нависла над аулами? Кроме того, твердые слова Абиша, сказанные Дармену, не давали родным возможности начинать сватовство.

Через Утегельды, который ездил в аул Абая разузнать, что же думает Абдрахман, лишь половина этих слов дошла до Магрифы: «Если когда нибудь я женюсь, никого во всем мире, кроме Магрифы, мне не нужно». Это стало ее единственной надеждой.

СХВАТКА

1

На следующий год в июле Абдрахман снова приехал домой в отпуск.

Родной аул встретил его нынче совсем не так, как год назад. В начале прошлой зимы внезапно умер Оспан. Все родственные ему аулы не откочевывали в этом году на дальние жайляу, а в знак траура остались здесь. Поэтому-то аул Абая стоял не на далеком веселом жайляу за Чингизом, где следовало быть в это время, а на скучной равнине Ералы. Здесь не было ни пологих холмов, покрытых зеленым ковром, ни журчащих прохладных ручейков и речек. Пастбища возле стоянки были уже истоптаны стадами, степь желтела далеко вокруг.

Оспан заболел, как только аул его перебрался на зимовку в Жидебай. Болезнь свалила мгновенно его огромное тело, сильно потучневшее за последние годы. Не успели разобраться, чем он заболел, как наступила агония. Все это произошло настолько быстро, что Абай, выехавший из Акшокы сразу, как только узнал о болезни Оспана, уже не застал его в живых.

Аулы, державшие траур, расположились вместе. В долине Ералы, теснясь друг к другу, их расположилось около тридцати. В середине стоял аул Оспана — Большой кунанбаевский аул, а вокруг аулы Абая, Исхака, Такежана, Майбасара и других родственников.

Белые кошмы юрт, принадлежавших трем вдовам Оспана Еркежан, Зейнеп и Торымбале, — были убраны полосами материи, расшитой черными узорами и тесьмой с густой черной бахромой. Из этих юрт дважды в день — ранним утром и поздним вечером доносился поминальный плач. В это время вся жизнь и в Большом ауле и в тех, которые расположились поблизости, замирала. Детям запрещалось шуметь, чабаны и пастухи умолкали. Никто не осмеливался начать песню, громко рассмеяться, окликнуть подругу или сверстника.

В Большой юрте — в той, где когда-то жила Зере, а потом Улжан, — плач ведет Еркежан, старшая из жен Оспана. Во второй юрте — Зейнеп. Зейнеп — хорошая певица и умеет сама слагать песни. Теперь ее искусство поражает всех: она сама сочинила плач и сама же с большим мастерством исполняет поминальную песню. Третья жена, токал, — Торымбала — еще совсем молодая. Она скромна, молчалива, замкнута в себе и ничем еще не проявила своих способностей.

Каждый раз, когда Зейнеп начинала свой плач, возле ее юрты собиралась молодежь и старики. Все слушали певицу с неослабевающим вниманием.

Когда в ауле собирается много гостей, прибывших почтить память усопшего, вдовы сходятся вместе в Большой юрте Еркежан. Все три одеты в траурные платья, головные платки их завязаны, по обычаю, крепким — «мертвым»— узлом. Зейнеп и Торымбала присаживаются на согнутых коленях рядом с Еркежан и вместе с нею начинают оплакивать покойного мужа.

Зейнеп изливает свое горе в спокойном величии. Опершись руками о колени, она, медленно раскачиваясь всем телом и порой подымая красивое матово-белое лицо, облитое слезами, говорит в плавных стихах о безвременной кончине Оспана. С ним исчезло ее счастье, ушел чтимый ею человек, без хозяина остался его аул.

Слушая звучный, проникающий в душу голос, Абай с глубокой печалью думал об умершем брате. Но и в этом искреннем горе Абая не оставляли мучившие его мысли.

Смерть, говорят люди, оправдывает все. Она повелевает вспомнить о лучших качествах умершего и забыть его пороки и преступления. Но Абай, привыкший требовательно и строго подходить и к самому себе и к другим людям, невольно думал об Оспане двояко.

Оспан был решительным человеком. Еще в юности о нем говорили: «Схватит — не отпустит, пока когти его не вырвешь; вцепится — не разомкнет пасти, пока зубы держат». Но в то же время он не был ни жадным, ни скупым, и уж если кого полюбит, души в нем не чаял, готов был отдать все. Никто из родни Абая не мог сравниться с ним в этом, и это качество Оспана Абай ценил больше всего. Но Абая теперь волновал один вопрос: о каких деяниях Оспана мог бы вспомнить с благодарностью народ? Лишь однажды Оспан выступил против злодеев, но и тут он остался подлинным отпрыском Кунанбая — сильным, жестоким, неумолимым врагом своих личных соперников. Не за народ мстил он Уразбаю, а как его личный враг боролся с ним за власть. И точно так же, как задолго до него все степные заправилы оставляли в наследство распри и смуты, так и Оспан оставил после смерти эту злобную, лютую вражду.

Думая об этом, Абай винил прежде всего самого себя. Для Оспана он был не только старшим братом, он как бы заменял ему отца, — Оспан доверял Абаю, охотно слушал его. советы. И если бы кто-нибудь сейчас обвинил Абая, почему же тот не сумел повести по пути добра такого сильного человека, каким был Оспан, — то Абаю нечем было бы оправдаться.

Горюя об Оспане, Абай осыпал себя упреками. Никому не говорил он об этом, но мысль о своей вине еще более усиливала его горе.

За те два дня, которые Абдрахман провел в траурном ауле, Абай не выходил из юрты Еркежан, не отпуская от себя и сына. Он часами рассказывал Абишу о детстве, юности и зрелых годах Оспана.

Слушая отца, Абдрахман тревожно думал о нем самом. В этот приезд он нашел, что Абай очень изменился: сильно поседел, осунулся, стал немногословным, как бы угас под впечатлением внезапной утраты; подолгу молчал, погружаясь в одинокие думы. Молодые друзья Абая с тревогой рассказывали Абдрахману, что у них, в особенности у Дармена, часто возникала теперь мысль: «Неужели огонь поэзии, горевший в его груди, угас?»

Но так казалось лишь постороннему взору. На самом деле горе, пригнувшее к земле Абая-человека, не смогло подавить Абая-поэта. В мыслях его складывались задушевные стихи. Многие из них уже жили в его душе, но ни одного из них он еще не читал даже ближайшим друзьям.

Думая об Оспане, Абай мысленно перебирал всех живых родичей. Кто из них мог быть его другом, кто мог бы заменить Оспана? Уж не Такежан ли? Или Азимбай?.. С ними идут в жизнь обман и подлость, темные злодеяния…

«Кругом враги. Враги не только мои, но и всего народа… Что ждет дальше? Сколько ни думай, ни ищи, выхода не видно». Абай чувствовал себя как бы в глухом тупике. Одинокий, он безмолвно пил горькую чашу, протянутую ему жизнью, не деля своей печали ни с кем.

Именно это состояние Абая и тревожило его молодых друзей. Они возлагали большие надежды на приезд Абдрахмана, рассчитывая, что свидание с сыном рассеет мрачное состояние Абая. Но вот прошло уже три дня со времени приезда Абиша, а Абай по-прежнему был погружен в свои хмурые думы. Почти все время он проводил в траурной юрте.

Вечером Дармен увел Абдрахмана из юрты, чтобы поговорить с ним.

Солнце клонилось к закату, весь запад был охвачен багровым пламенем. Высокое чистое небо с удивительным спокойствием простиралось над широкой равниной. Дул прохладный ветерок. Абиш глубоко вздохнул всей грудью, как бы освобождаясь от печали траурной юрты.

Жигиты шли по берегу реки. Здесь росли густые заросли типчака. Земля была покрыта невысокой зеленой травой.

Беседуя, они далеко ушли вниз по реке. Дармен первый заговорил о состоянии Абая. Говорил он не только от себя, но и от имени всех молодых друзей Абая. Абдрахман внимательно слушал его.

— Мы ждали тебя, Абиш, как человека, который может принести Абаю-ага исцеление. Сами мы не можем рассеять его тяжелую печаль. Тебе надо подбодрить отца. Придумай что-нибудь!

Абдрахман, идя рядом с Дарменом, взглядывал на него сбоку. Солнце играло яркими бликами на широком лбу жигита, на смуглой коже скул. На побледневшем лице сверкали большие выразительные глаза.

Внимательно выслушав юношу, Абдрахман ответил ему очень коротко. Считая недостойным мужчины распространяться о своей собственной печали, он сказал:

— Спасибо вам всем за ваши заботы об отце, Дармен. А как отвлечь его, нам надо подумать вместе.

Такая немногословность понравилась Дармену. Он тоже считал, что настоящий человек должен проявлять себя в поступках, а не в словах, и не любил пустых разглагольствований.

Они незаметно дошли до небольшого аула, стоявшего на берегу реки. Навстречу им кинулись, забрехав, два лохматых черных пса, выбежало несколько ребятишек, впереди которых был мальчик лет семи-восьми, напоминавший чем-то Дармена. Жигит тут же подозвал его:

— Рахимтай, отец дома?

— Нет, не дома. Он у юрты сидит, — ответил Рахим.

Абиш, Дармен и спутники маленького Рахима рассмеялись, сам он тоже улыбнулся и от смущения стал ковырять песок большим пальцем правой ноги. Дармен, ласково охватив плечики Рахима, прижал его к себе. Мальчик с застенчивым любопытством рассматривал Абиша, его белую гимнастерку, блестящие пуговицы, позвякивающие шпоры на лакированных сапогах. Живые черные глаза не упускали ничего. Рахим уже догадался, что перед ним «ученый Абиш-ага» из аула Абая, о котором все дети уже слышали, но которого не все еще видели.

Абдрахману мальчик очень понравился, и он, наклонившись, погладил его по густым блестящим волосам.

— А кто твой отец, Рахимтай?

— Ата, — ответил тот; и Дармен рассмеявшись, объяснил, что малыш — последний ребенок Даркембая.

— Нашему Дакену не везло с детьми. Все поумирали маленькими. Старик в нем души не чает.

Слова эти смутили Рахима, он высвободился из рук Дармена, говоря:

— Дармен-ага, я побегу скажу отцу о вас!

И он помчался к небольшой закопченной юрте, стоявшей посреди бедного аула. Абдрахман посмотрел ему вслед.

— Зайдем, Дармен. Дакену надо отдать салем раньше, чем другим, — сказал он и добавил — У этого старца глаза еще зорки. Мне любопытно, что видели они за все время нашей разлуки, за чем следят теперь.

Даркембая они нашли возле юрты. Он сидел в тени на шкуре жеребенка и, быстро взмахивая маленьким топориком — шапашотом, — обтесывал тяжелый молоток для забивки кольев. Видно было, что это для него не труд, а скорее удовольствие. Шапашот в его умелых руках врезался в дерево, как в масло, гладко и красиво отделывая молоток.

Старик тепло ответил на приветствие Абдрахмана, не прерывая работы. Юноша подсел к нему, с любопытством глядя на точные и плавные движения его руки, и заговорил так, словно они расстались вчера:

— Даке, мне кажется, что жизнь не поскупилась для вас на здоровье и силы, а ведь это, пожалуй, самый лучший ее дар, — улыбаясь, сказал он.

Даркембай кинул на него из-под седых бровей дружелюбный взгляд и тоже улыбнулся.

— Голубчик мой Абиш, ты повторил то, что недавно сказал и твой отец. Тут как-то у одного из наших жатаков поломалась телега, я вставлял спицы в колесо. Подошел Абай, посмотрел и сказал: «Молодец, сила у тебя еще крепкая!» И еще сказал мне: «Не поддавайся старости! Уж если получил такой дар, береги его». Хороший он человек, добра желает людям, особенно нам, нищим жатакам… — говорил Даркембай, продолжая тщательно отделывать молоток.

Потом он начал расспрашивать Абдрахмана:

— Учиться кончил, Абиш? Совсем вернулся в аул или опять уедешь далеко?

Тот ответил, что зиму он будет еще учиться, а весной, вероятно, приедет домой ненадолго, пока не начнет военную службу. А где ему придется служить, он и сам еще не знает.

— Значит, опять поедешь. А когда же здесь будешь жить? — сказал Даркембай и некоторое время строгал молча, явно недовольный. Потом продолжал: — Из того, что говорит Абай, я понял, что учиться — дело хорошее. Русское ученье просветляет человека, делает его зрячим. И руку его удлиняет. Абай и наших жатаковских детей отдал в науку. Я слышал, те, кто по-русски учились, уже людьми стали. Вот сын Молдабая — Анияр, сын Муздыбая, сын киргиза — Омарбек уже постигли науку и теперь пользу приносят. Вот хотя бы Садвакас: собрал всех сыновей жатаков — таких черномазых, как мой Рахим! — и обучает их грамоте. Нам, казахам, знающие люди нужны. Вот даже и я, хоть старик, а обучился ремеслу и тоже кому-то стал нужен! — как бы подсмеиваясь над собой, сказал он, показывая почти законченный молоток.

Дармен счел нужным вмешаться.

— Даке, вы хорошо знаете, как ценят вас в ауле. — И юноша повернулся к Абдрахману. — Работа Дакена для жатаков — большая помощь, Абиш. Он и соху и телегу починит, сделает и лопату, и косу, и мотыгу, и топор…

— Могу и котел починить и любую посуду! — с шутливой важностью подхватил Даркембай.

— Словом, стал мастером и по дереву и по металлу, — продолжал Дармен. — О нем жатаки теперь говорят: «Жил, жил конь, а к старости пошел иноходью!» Да он и сам доволен, что в нем проявились такие способности. Хоть ему уже седьмой десяток, а видишь, сам зарабатывает себе на жизнь, да и люди хвалят. Потому-то наш Дакен и говорит, что казахам нужны всякие знающие люди!

Даркембай слушал его посмеиваясь. Несмотря на различие в возрасте, они обычно подшучивали друг над другом, как сверстники.

— Э, что так говорить обо мне, милый мой! — сказал Даркембай, подмигивая Абдрахману. — Что я делаю? Какие-то пустяки! Ударишь топориком — выйдут сани, постучишь молоточком — получится телега. У нас есть другие знающие казахи, вот те поистине занимаются делом! Их работа — трескучие удары по струнам домбры да всякие «ари-айдай бойдай-талай!».[36]

Дармен и Абиш расхохотались.

— Не попадайся ему на язык, Абиш! У этого старика хватка еще крепкая! — сквозь смех проговорил Дармен, поглядывая на дядю, который довольно посмеивался.

Но тут же Даркембай вернулся к серьезному разговору:

— Хорошо то, что вы учитесь, а плохо, что, обучившись, не возвращаетесь в аул, — сказал он, обращаясь к Абдрахману. — Вот сын Молдабая уехал в Ташкент, служит там. И ты так же намерен поступить. Никак я этого не пойму. Родители вас обучали, народ вас ждал, как ждут летом сочных ягод, а вы созрели и не хотите принести пользу народу. Хотите подыматься сами, получить чины, у власти стоять. А вы поглядите, как один Абай на всю нашу округу излучает свет! Да что он! Даже этот говорун Баймагамбет, который грамоту знает не лучше, чем его конь, а и тот потерся возле Абая — и набрался знаний. С ним поговоришь — и сам умнее становишься. Когда он ночует у меня и целый вечер рассказывает, что узнал от Абая, я утоляю жажду, будто к юрте подошла многоводная река… Одинокое дерево в пустыне всегда зачахнет, если вокруг не примутся его семена. Хотите достигнуть высоты — тянитесь к ней вместе со всей порослью, а не в одиночку…

Слова Даркембая поразили Абиша. У него были свои затаенные мысли, о которых он не говорил даже с отцом: Абдрахман не раз думал, как бы избавиться от военной службы, жить в ауле и самому учить молодое поколение. И теперь слова Даркембая показались ему голосом самого народа, справедливо требующим его помощи.

К юрте подошла Жаныл с двумя ведрами молока.

Она была намного моложе Даркембая. Вышла она из рода Бокенши. Когда там умер ее первый муж, родственники-жатаки советовали Даркембаю жениться на ней. Все дети Даркембая от первой его жены умирали в раннем возрасте. С рождением Рахима в семье установилось полное и спокойное счастье. Жаныл оказалась как раз тем человеком, который нужен был Даркембаю в наступающей старости. Она искренне уважала его, заботилась о нем. Даркембай, которого Абай называл раньше «печальным стариком», за последние годы как бы возродился. Трудолюбивый вообще, теперь он считал своим долгом еще больше трудиться для Жаныл и главным образом для Рахима. Несмотря на свои шестьдесят с лишком лет, Даркембай сумел научиться незнакомым для него ремеслам и в короткое время стал кузнецом, столяром, мастером на все руки.

Друзья и родственники — все заметили, как на склоне своей жизни воспрянул духом этот старик. Особенно радовались этому Абай и Базаралы. Абай каждый год давал на лето Даркембаю корову и двух-трех кобыл для дойки, зимой присылал скот на мясо.

Увидев жену, Даркембай отложил топорик и поднялся.

— Жаныл, в твой дом пришел гость, да еще какой! Иди приведи барашка, Рахим тебе поможет. Угостим как следует такого гостя!

Жаныл приветливо поздоровалась с Абдрахманом и тут же захлопотала.

— Голубчик Абиш, что же вы сидите на голой земле? Давайте я постелю вам! — И, быстро зайдя в юрту, она вынесла оттуда кошму.

Расстилая ее возле юрты, она продолжала:

— Рахимтай мне уже все рассказал, когда я доила овец. Прибежал и говорит. «Апа, кончай скорей доить, Дармен-ага привел гостя!» — и прямо потащил меня за платье.

Рахим, смущаясь, прятался за мать и подталкивал ее, как бы говоря: «Ну ладно, что там рассказывать!»

Абдрахман начал решительно возражать:

— Нет, Даке, нет, женеше, и не говорите о баране! Уж если очень хотите нас угостить, так вскипятите овечьего молока. Да я и больше люблю его чем мясо!

Дармен поддержал его:

— Женеше, угостите его «белым козленком»,[37] это он в Петербурге, наверно, не каждый день кушал.

— Какое там! Ни разу за всю зиму не ел! — подхватил Абиш, чувствуя себя здесь, как в родном доме.

Когда сумерки сгустились, Даркембай оставил работу и вместе с гостями вошел в юрту. На очаге стоял уже небольшой казанок, поставленный Жаныл, на почетном месте расстелены одеяла и расшитые кошмы.

Усадив Абдрахмана и присев сам, Даркембай продолжал разговор, начатый перед приходом в юрту: по просьбе Абиша он рассказывал ему о положении жатаков.

— Жатаки наши совсем обнищали, голубчик Абиш, — заключил он. — Последние два года навалились на нас такой тяжестью, что мы никак на ноги не встанем.

Еще из прошлогодних встреч со стариком Абиш знал, что месть Такежана жигитекам задела и здешних жатаков.

— Даке, я давно хотел вас спросить, — обратился он с вопросом. — Скажите мне: как понимали этот набег ваши жатаки и жигитековская голытьба? Что они думали, угнав табуны всесильного Такежана?

Старик одобрительно и ласково посмотрел на Абдрахмана.

— Если я правильно понял тебя, свет мой, ты хочешь знать, как себя проявляет в испытании народ? Ты спрашиваешь, увидел ли я тогда его подлинное лицо?

Он помолчал, подкладывая в огонь кизяк, а потом заговорил, все более оживляясь:

— Видел… По правде сказать, и наши жатаки и жигитековские бедняки показали, чего они стоят. Я не раз думал об этом набеге и теперь хорошо понимаю, что поход этот был особенным походом… Походом бедняков. И не Базаралы его начал. Начал его народный гнев, дошедший до кипения. Видел бы ты, как всколыхнулся тогда весь этот смиренный люд! — Даркембай выпрямился, и в глазах его засверкал огонь. — Я и сам не узнавал многих жигитов. Что они тогда говорили? «Ну, что мы сделали — одного только Такежана разгромили! А их множество! Эх, если всю эту зиму налетать нам на них грозной бурей!» — вот что они говорили! Базаралы повел разгневанный народ, отвечал за всех один, только сам. На суде никого не назвал из тех, кто ринулся за ним в набег. Мужественный и честный человек!

Даркембай с гордостью говорил об этом и высказал мысль, поразившую Абдрахмана:

— Разве может герой родиться, если народ не родит его сам? Откуда же взяться в его сердце огню мужества и смелости? Базаралы — сын своего народа. Он смел и и стоек — и народ наш таков же. Когда на суде в городе решили, что мы должны отдать за каждого коня Такежана по два пятилетних коня, стон прошел по степи. Такого жестокого решения никто из нас и не слыхивал. Целые аулы, словно поверженные бурей, не могли двинуться с места. Как же кочевать, если нет коней? Оставалось или разбрестись по другим аулам, идти в батраки, или осесть на землю, забыв о кочевках. Но никто не жаловался, не стонал. Многие из тех, у кого была в руках сила, пошли на Иртыш работать к русским, другие осели здесь, стали трудиться на полях. И как ни тяжело нам пришлось, народ выдержал все… Я старик, а только теперь понял, что если держаться вместе, то народ подымет все, как сильный, могучий нар. Это и я думаю, и все люди из народа так думают, дети мои… Вот в чем причина, почему на седьмом десятке лет я выучился ремеслу и стал мастером!

Слова старика напомнили Абдрахману то, что он слышал в Петербурге о крестьянских восстаниях в России. И юноша заговорил об этом. Он рассказал Даркембаю, что в России все чаще и чаще поднимаются гневные силы крестьян. Беднота восстает против насилия царских властей, против гнета, хозяев-помещиков. Абиш говорил и о далеком, но памятном всем восстании Пугачева, который пошел против самой царицы, и о том, что было в России за последние десять лет.

— Больше трехсот раз в шестидесяти губерниях подымались на борьбу за свои права русские крестьяне…

Даркембай, слушая его со вниманием, одобрительно кивал головой и, когда Абиш умолк, заключил:

— Хороший рассказ, светик мой! Какая же темная глушь — наша казахская степь! Что мы тут знаем? Думали, что своим набегом на Такежана сотворили небывалое, о чем триста лет никто не слышал, а оказывается, на русских полях бушует настоящий ураган! В шестидесяти губерниях — это же целое государство! Говоришь, триста раз брались за шокпары? Вот это дело! Видно, где труд, там и мужество. Сильный, смелый народ эти русские, настоящие батыры! Не зря Абай говорит: «Учитесь всему у русских, они идут вперед, далеко вдаль».

Абиш вспомнил о Базаралы и спросил Даркембая, как тот живет.

— Тяжело, светик мой. — Старик покачал головой. — Ты не слышал, он ведь сильно болен…

И Даркембай рассказал, что Базаралы все еще прикован к постели тяжкой болезнью.

Заговорив о Базаралы, Даркембай вспомнил и о Такежане. Он все еще преследует тех его родичей с урочища Шуйгинсу, которые сделались теперь жатаками. Хотя они полностью выплатили наложенную на них судом пеню, он не довольствовался этим. Такежан, Азимбай, Майбасар и другие кунанбаевцы нещадно притесняют их, словно говоря: «Почему же все вы сидите на месте, воображая себя целым народом? Почему не разбрелись кто куда? Почему не просите подаяния, стоя у нашего порога?»

— Они по-прежнему чинят над бедняками всякие насилия, травят их посевы, — говорил Даркембай. — Да и нас не оставляют в покое. Если они еще позволяют нам жить, так не потому, что боятся бога, а потому, что оглядываются на Абая. Они его все же боятся, хотя злы на него… Есть такой косой дьявол по имени Уразбай. В прошлом году, пока был жив Оспан, он собирал целую дружину, чтобы нанести ему удар. Искал увесистых дубинок не только у нас, на Чингизе, но и на Бугылы, и на дальнем Шагане. Собирал себе союзников и в Кокше, и в Коныре, и в Мамае. А теперь, слышно, он решил завладеть всем Тобыкты иным способом. Стал опять заигрывать с жигитеками, мечтает поссорить Такежана с Абаем. Подсылает и к Базаралы, пытается и его подбить на свою сторону. Ну, Базекен ему и ответил… Хорошо ответил!

Вскипел чай. Жаныл подала гостям пиалы. Дармен обратился к Абдрахману, договаривая то, чего не досказал Даркембай.

— У Даке и Базекена нет тайн друг от друга. Я думаю, будет правильно, если ты перескажешь Абаю-ага ответ Базекена. Он, наверно, этого и хотел, посылая Абылгазы сюда.

Даркембай утвердительно кивнул головой.

— Правильно говоришь. Видимо, Базекен хочет, чтобы Абай не был застигнут врасплох. Так вот что рассказывал мне Абылгазы. Базекен ответил посланному: «Передай Уразбаю, я отлично вижу, что он хочет сделать меня мартышкой, а себя — лисой. Говорят, однажды лиса предложила мартышке делиться добычей. Увидели они капкан с куском свежего мяса. Лиса и говорит мартышке: ты, мол, мой гость, поэтому уступаю мясо тебе. Мартышка полезла в капкан, он захлопнулся, придавил ей лапы, а мясо досталось лисе. Мартышка начала упрекать лису, а та сказала ей в поучение: «Есть два рода счастья: одно для головы, другое для ног. Тебя схватило железное счастье для ног, хоть топчи его — оно уже не покинет тебя». Наверно, Уразбай считает, что провел жигитеков и дает им и мне железное счастье, от которого не избавишься. Аулы наши обнищали, сам я прикован к постели. Он хочет теперь натравить меня на Абая. Мы не враждуем с Абаем. Я никогда не изменял Абаю и не изменю! Пусть Уразбай держится от меня подальше со своими хитростями».

Рассказывая это, Даркембай не забывал подкладывать гостям «белого козленка»…

Поздно вечером друзья простились с Даркембаем, вышли из юрты и пошли по равнине к своему аулу.

Ночь была безветренна, в воздухе чувствовалась свежесть. Полная луна стояла высоко на небе. Звезды мерцали слабым светом, словно где-то очень далеко рассыпались мелкие искры. Светлое небо казалось огромным. Мир как бы еще расширился, открывая весь невообразимый простор, не имеющий пределов.

Величественная картина поразила Абиша. Вселенная, которую нельзя окинуть взором и которая не вмещается в воображении, словно растворяла его в себе, как ничтожную пылинку. Глядя в волшебное лунное небо и отыскивая на нем знакомые звезды, Абиш пытался представить себе, что каждая из них — центр своего собственного огромного мира, в сравнении с которым вся наша солнечная система кажется едва заметной точкой. Он улыбнулся при мысли: как найти в этой точке нашу землю, а на ней — племя Тобыкты и в нем — его самого, Абиша?

Степная жизнь продолжала в лунной ночи свое спокойное течение. Где-то лаяли собаки, откуда-то доносились протяжные выкрики сторожей. Порой слышно было чье-то пение или далекий девичий смех. В ярком свете луны ковыль отливал серебристым светом, слабым и мерцающим, как свечение фосфора. Порой чуть двинутый ветерком воздух разносил по степи горький аромат полыни.

Абдрахман шел не торопясь. Всей душой он впитывал в себя эту лунную степь, по которой так истосковался. Не будь тех тяжелых мыслей, которые пробудились в нем после разговора с Даркембаем, он мог бы, вероятно, сейчас бездумно наслаждаться таинственной прелестью ночи, подобной прекрасному сновидению. Может быть, он взял бы коня и помчался вскачь по лунной равнине, гонясь за чем-то неведомым ему самому. А может быть, душа потянула бы его к той, о ком он не забывал все это время…

И неожиданно для самого себя Абдрахман вдруг решился задать Дармену давно волновавший его вопрос:

— Дармен… А что же Магрифа? Где она? Как живет? Почему ты ничего не говоришь мне о ней?

— Магрифа все та же, Абиш, — охотно откликнулся Дармен. — Ничего не изменилось. Я не говорил о ней, потому что думал, ты все знаешь из писем Магаша.

— Последнее письмо я получил весной. С тех пор прошли месяцы…

Дармен угадал сомнения Абиша.

— Пройдут не месяцы, а годы, а она не изменится, — быстро ответил он. — Теперь уже видно, что никто не заменит ей тебя. Она любит тебя, Абиш.

Абдрахман вздохнул.

— А я по-прежнему ни на что не решился. И в эту зиму я все еще буду птицей, отбившейся от родной стаи… Что меня ждет, не знаю… Но как бы там ни было, мне кажется, что заставлять Магрифу ждать в неизвестности несправедливо.

Дармен согласился с ним.

— Правда, ее родные, по всей видимости, мучаются тем, что она опутана без веревки. Зато наши не собираются ни от чего отказываться. Не в прошлом году, так в этом, а не в этом, так в будущем, как ты сам сказал. Во всяком случае дело решится! Однако все-таки хоть что-то ты должен нынче сказать Магрифе. Будешь молчать — снова обречешь ее на долгие одинокие страдания.

Абдрахман ничего ему не ответил, лишь молча кивнул головой и тяжело вздохнул. Что ему было ответить? Будь он даже здоров, все равно в такое время, как сейчас, нельзя было говорить о женитьбе. Аул в трауре, а сердце отца еще больше, чем прежде, изранено. Он, сын Абая, должен еще разобраться в той вражде, которая клокотала вокруг аула отца.

— Эх, Дармен! — воскликнул он, беря друга за руку. — Нет хозяина в этой огромной многострадальной степи. И нет кары на злодеев! Неужели эти Уразбаи находят союзников себе в аулах?

— Конечно, Абиш, ведь ты сам слышал. Но Дакен рассказал не все, он говорил только об Уразбае.

— А кто еще?

— Э-э, что там говорить? Найдется много. И рядом и подальше…

— Говори точнее: кто рядом, кто подальше?

— Подальше, например, Жиренше… А рядом — Такежан, чей аул виден вон там… Этот еще присматривается, куда ударить. А Жиренше, как и Уразбай, один из главных смутьянов.

— И что же они делают?

— Подбивают всех на вражду. Нынче весной, когда аулы еще не снялись с зимовок, Жиренше заехал с друзьями к Асылбеку поесть сыбага.[38] Надо сказать, что он все подговаривал Асылбека враждовать то с тем, то с другим, а тот, как смирный и разумный человек, науськиваниям его не поддавался. И вот, войдя в дом, Жиренше с насмешкой сказал: «А ты, мой сыч, я вижу, по-прежнему лежишь без движения, не шевельнешься. Все раздумываешь о будущем?» Ты слышал, наверно, у нас говорят про сыча, будто он весь день сидит не двигаясь потому, что смотрит в будущее. Ну, Асыл-ага тут же и ответил Жиренше: «А ты, мой удод, все попрыгиваешь и попискиваешь у каждой кучи навоза, подстрекая всех?»

Абдрахман, представив себе маленькую птичку с полосатыми крылышками и высоким гребешком, вечно беспокойно подпрыгивающую, невольно расхохотался.

— Вот это красноречие! Что за мастера! Как умеют они в короткой схватке немногими словами выразить многое! Так и кажется, что они посылают друг другу не слова, а отравленные стрелы… А все-таки этих мастеров красноречия можно только пожалеть. На что они расходуют свой талант? Уж во всяком случае не на то, чтобы делать добро.

Абдрахман перевел разговор на Такежана, расспрашивая Дармена, какие же козни строит тот. Вопросы эти поставили юношу в трудное положение. С одной стороны, он не желал разжигать вражду между родственниками, а с другой — не хотел оставлять Абдрахмана в полном неведении насчет замыслов Такежана. Решившись, юноша продолжал:

— Говорят, Такежан-ага строит новые козни, ищет серьезного повода, чтобы теперь же рассориться с Абаем-ага. И, говорят, он этот повод нашел.

— Какой же?

— Раздел наследства Оспана-ага.

— Раздел? — удивился Абдрахман. — Но как же можно говорить о разделе, когда не прошел еще год траура? Кто же позволит ему делить наследство, когда еще свежа могила?

— Э-э, Абиш, в этом-то все и дело! Недаром говорится, что друг, который задумал с тобой расстаться, попросит у тебя заднюю луку седла.[39] Говорят, Такежан хочет предложить такой раздел, чтобы вынудить Абая-ага не согласиться. И тогда, свалив на него всю вину, он сможет перейти на сторону врагов отца…

Дармен замолчал, Абиш тоже не стал расспрашивать дальше, решив поговорить обо всем с Магашем.

2

Приближался конец лета. Аулы, находившиеся на жайляу за Чингизом, теперь перекочевали в Ералы и на соседние урочища, переходя на осенние пастбища. И целую неделю аул Оспана каждый день снова принимал гостей, ежедневно приезжавших почтить память покойного.

Эти однообразные дни бесконечных поминок были потревожены событием, происшедшим неподалеку. Аул Оспана находился на Ойкодыке, вокруг него расположились аулы Такежана, Абая, Акберды, Майбасара, Исхака. Эти богатые аулы выделили из своих табунов молодняк для отдельной пастьбы. С большими косяками отправились молодые хозяева: Азимбай, сын Такежана, Мусатай, сын Акберды, и Ахметжан, сын Майбасара. Они разбили свои стоянки возле ручьев Большой Каска-Булак и Малый Каска-Булак, в долине за холмами Сары-Адыр.

В той же долине стояли многолюдные аулы бедняков-жатаков возле засеянных ими хлебных полей. В этих аулах люди готовились в скором времени собрать плоды своих тяжелых трудов. Лето выдалось с дождями, и урожай радовал жатаков. Особенно хорошо уродилась пшеница у подножий Сары-Адыра и на прилегающем к ним урочище Тайлакпай. Здесь на двадцати десятинах созрели посевы шестидесяти семей, в том числе и посевы Базаралы, Абылгазы и Даркембая. Тут же впервые посеяли хлеб и несколько десятков бедняков, которые лишь недавно откочевали из байских аулов, чтобы заняться хлебопашеством.

Нивы были уже желты, и в аулах поговаривали о том, что пора начинать жатву. Однако Даркембай, у которого опыта было больше, чем у других, советовал подождать еще десять — пятнадцать дней. «Пусть поля сплошь превратятся в золото! Потерпи еще, беднота», — удерживал он людей.

Но многим уже трудно было дожидаться этого. Наступала осень, козы перестали давать молоко. Поэтому голодные семьи торопились. Они выбирали на своих участках поспевшие уже колосья, растирали их в ладонях, прожаривали зерна, толкли и кормили толокном отощавших детей и стариков. Даже эта скудная пища была уже заметным подспорьем для голодных. Поле еще не созрело, но с каждым днем все чаще возле юрт разжигались очаги и, потрескивая, пеклась на них пшеница в ковшах с рукоятками. То и дело раздавался перестук ступ. Девушки и подростки, забрав с собой маленьких братьев и сестер, целыми днями пропадали на поле, собирая созревшие колосья.

Сегодня также вышли на свой небольшой участок внуки старой Ийс — Асан и Усен. Семилетний Асан — в рубашке и коротких штанах, а Усен, которому еще только пять лет, щеголяет в одной рубашонке. Но загорели они одинаково — их личики, руки и ноги совсем черны. Едва войдя в высокую пшеницу, Асан, как старший, начинает поучать брата:

— Выбирать надо только спелую. Ты не вздумай сам рвать колосья! Я умею, я и буду выбирать!

— И я! Бабушка и мне велела брать.

— Ты напутаешь. Сорвешь неспелый колос — и есть нельзя, и поле испортишь.

— А ты меня научи, Асан! Покажи. И я буду брать только спелые.

— Говорю, нельзя. Будешь приставать, никогда больше с собой не возьму. Знаешь что? Ты лучше держи подол, а я буду срывать колосья и класть к тебе. Ладно, Усентай?

— Ладно!

Договорившись, дети стали осторожно и медленно пробираться в густой пшенице. Асан, видевший, какие колосья принесла вчера старая Ийс, начал отбирать точно такие же. Срывая их, он старался не повредить стебля и, передавая Усену, приговаривал:

— Шагай тихонько, не топчи пшеницу. Поломаешь — пропадет посев. Иди по моим следам. Сломаешь хоть один стебелек — бабушка больше не пустит!

Малыш, пробираясь за братом, мечтает вслух:

— Принесем — бабушка опять напечет зерна. Воспоминание о вчерашнем пиршестве заставляет его торопиться со сбором. Он сам тянет ручку к колосу и, лишь заметив строгий взгляд Асана, поспешно отдергивает ее.

— Не трогай! — опять предупреждает тот. И тоже начинает мечтать:

— А потом, как вчера, растолчем зерна, бабушка молоко туда нальет. Вкусно?

— Вкусно! — вздыхает Усен.

— Скоро вся пшеница поспеет. Дней через десять, — важно повторяет Асан слова Даркембая, сказанные в разговоре с Ийс. — Тогда начнется жатва…

— И опять приедет сам Дармен-ага! — радостно подхватывает Усен.

— Конечно, приедет. Он позавчера был у бабушки, сказал, что обязательно приедет. И хлеб уберет и снопы свяжет.

Асан говорит о Дармене, словно о родном старшем брате. Действительно, Дармен, у которого нет еще своей семьи, принял близко к сердцу судьбу старухи Ийс и ее маленьких внучат. «Разве эти малютки не самые несчастные из всех сирот? А я, здоровый, сильный жигит, помогу им хоть чем-нибудь, стану им опорой и защитой!» — решил он сразу после гибели Исы.

И той же осенью Дармен переселил всю семью Ийс из аула Такежана к жатакам, по соседству с Даркембаем, а сам отправился к знакомым русским крестьянам, к которым он нанимался во время жатвы, когда был подростком. Так и теперь он проработал у них всю осень и смог обеспечить Ийс и сирот на зиму. Он дал ей телку и трех баранов да еще снабдил семенами на весну: пшеницы на полдесятины и проса на четверть. Этим летом он не раз приезжал осматривать маленькое поле и обещал сам его убрать.

Собирая колосья, малыши с удовольствием говорят и о просе, посеянном Дарменом.

— Скоро поспеет просо — будет и коже.[40]

— Ой, какое вкусное коже! А с молоком еще вкуснее!

Неподалеку от них, на соседних участках, собирали колосья такие же, как они, мальчики и девочки. Здесь дети Канбака, Токсана и Жумыра, тех самых бедняков, которых прошлой осенью так жестоко обидели Азимбай и Манике. Тут же и дети из семей Абылгазы и Базаралы. Даже и Рахимтай тут. У него в мешочке немало спелых колосьев. Он отпросился у Даркембая на поле, чтобы потом натолочь ему талкан.[41] Мальчик всерьез воображал себя кормильцем семьи.

Вскоре все ребята, неся колосья в мешочках, в подоле или в снятом с плеч халатике, пошли к аулу. Личики их сияли. Оборачиваясь к своим клочкам посевов, каждый окидывал их ласковым взглядом. И так же, как Асан и Усен, эти дети говорили лишь об одном:

— Скоро жатва. Вот наберем пшеницы!

— Коже сварят. Каждый день будем варить коже!

— А у нас будет просяное коже! — объявляет Усен. Просо было посеяно только на поле старухи Ийс, и мальчик необыкновенно гордился этим!

— Ну и что? А пшеничное коже даже вкуснее просяного! — обижается маленький сын Токсана—Айтыш.

— Зато у нас из пшеницы мука будет, лепешки испекут, — подхватывает маленькая Уружман. О баурсаках она мечтать не решается, для них ведь нужно сало.

Но Усен не сдается.

— Лепешки! А из проса бабушка кашу сварит. Рахимтай затягивает песенку, дети ее подхватывают. Это веселая песенка казахов-землепашцев с шутливым припевом:

Эй ты, черноногий сынок, не спи!

Нашу пшеницу клюют воробьи!..

Маленькая Жамал хохочет, дразня мальчиков:

— И правда, черноногие! Вон один, вон другой… А этот уж вовсе черноногий! — кричит она, показывая на Усена.

Тот обижается.

— Сама ты черноногая!

— Кто? Я?

И Жамал быстро выбегает вперед, крепко придерживая подол длинного платьица, в который она набрала колосьев. Громко визжа и торжествующе смеясь, она начинает какую-то бешеную пляску, выбрасывая в сторону стройные ножки и хвастая их белизной, резко отличающейся от смуглых и загорелых ног других ребят. Даже Усену становится стыдно своих слов.

Дети уже подошли к своим аулам на урочище Тайлакпай. И тут их поразило невиданное зрелище: между аулами растянулось множество телег, словно длинный верблюжий караван чьей-то большой кочевки.

Первым высказал свою догадку Рахимтай:

— Ойбай, это русские! Глядите, вон и матушке[42] ходят! Ребята вгляделись. Телеги все были распряжены. На некоторых из них виднелись парусиновые навесы вроде палаток. Возле обоза ходили бородатые мужчины, женщины в непривычно маленьких головных платках, между телегами бегали светловолосые дети, особенно заинтересовавшие ребят.

Однако это появление в ауле чужих людей смутило маленьких казахов. Они начали замедлять шаги, а младшие принялись тихонько хныкать. Рахимтай пристыдил их:

— Чего вы напугались? Такие же люди, как мы. Погодите, еще хлеба дадут! Пойдем! Если покажем, что боимся, вот тогда они обидятся и станут ругаться.

И он повел всех ребят за собой.

Это был действительно обоз русских переселенцев. Здесь были и никогда не виданные казахскими детьми брички, и телеги на железном ходу, и большие возы, покрытые сверху брезентом. Все это расположилось вокруг многоводного колодца, находившегося между тремя аулами землепашцев. Кони были уже распряжены и пущены на выпас. В разных местах горели костры: видимо, готовилась пища.

Урочище Тайлакпай находилось вблизи тракта, и поэтому появление обоза не удивило детей. Их поразило другое: никогда еще не приходилось им видеть сразу так много русских людей. Ни лицом, ни одеждой они не походили на тех, кого ребята привыкли видеть в своем ауле.

Большинство детей уже дошло до своих юрт. Пройти мимо остановившегося обоза пришлось только Рахимтаю, Асану, Усену и шаловливой девочке Жамал. Сбившись в кучку, они храбро пошли вдоль ряда повозок. И тут их сейчас же окликнул русский дед, отдыхавший в тени передней телеги.

— Эге, да у них пшеница! Какая она тут растет? Ребятки, постойте-ка, покажите-ка вашу пшеницу!

Дети не поняли его, но остановились. Старик поднялся и пошел к ним. Его окладистая борода, седые волосы, огромный рост перепугали их. Асан даже шепнул:

— Бежим!

Но Усен и Жамал захныкали:

— Поймает нас! Ой, сейчас поймает!

Они понимали, что раз они самые маленькие, они первыми попадутся в его руки.

Но дед, догадавшись, видимо, как перепугал он ребят, шел к ним, улыбаясь во весь рот, и, показывая на колосья, успокоительно повторял:

— Постойте-ка, ребятки, обождите… А ну, покажьте вашу пшеницу!..

Рахимтай оказался храбрее других. Видя, что дед тычет пальцем в колосья, он улыбнулся ему в ответ и сказал по-казахски:

— Это наша пшеница. Своя!

Тогда дед поманил их за собой к телеге и отсыпал с воза в шапку целую кучу сухарей. Ребята заметили, что сухари были из белого хлеба. Это обстоятельство успокоило и заинтересовало даже Усена, перепуганного больше других. И как раз из подола его рубашонки старик осторожно взял несколько колосьев, а взамен их насыпал сухарей. Потом он повернулся к другим ребятам, раздав им остаток.

— Ну, грызите сухари! А я посмотрю, какая тут растет пшеница, — загудел он себе в бороду, растирая на ладони колосья.

Дети, переглянувшись, собрались уходить. Но тут из-за телег вышло несколько пожилых женщин. Улыбаясь, они обратились к детям:

— Сють… Сють бар? — повторяли они, показывая детям сухари и куски калачей.

Рахимтай и Асан поняли их.

— Есть молоко! И у моей бабушки есть! Сут бар, сут бар… Вон аул! — отвечали оба наперебой, показывая на юрты.

Женщины пошли за ними. К ним по дороге присоединились и другие. В руках у всех была посуда для молока и узелки с хлебом. За женщинами пошел к аулу и седой дед, а с ним еще двое крестьян.

Эти трое были вожаками всего обоза. Деда, остановившего ребят, звали Афанасьичем. Второго — широкогрудого великана со светлыми усами — Федором, а третьего — низенького, щуплого старика, с острыми, глубоко сидящими под густыми бровями синими глазами, — дедом Сергеем.

Подходя к аулу, дети начали звонко кричать:

— Молока просят, дадут хлеба! Бабушка, неси молока! Белых сухарей дадут!

На их крики из юрт выбежали казахские женщины. Скоро они смешались с русскими. Среди тех выделялась высоким ростом и статной крупной фигурой пожилая женщина с крепкими, как у мужчины, руками, с морщинистым властным лицом, загоревшим больше, чем у других. Остальные называли ее Дарьей.

Дарья заговорила с казашками. Передавая им сухари и хлеб, она знаками объясняла, кому налить молока. Увидев старушку Ийс, она попыталась пошутить с ней, показывая то на хлеб, то на молоко:

— Меники-сеники,[43] — приговаривала она, улыбаясь. Старая Ийс, жена Базаралы Одек и жена Даркембая Жаныл отвечали ей такой же приветливой улыбкой, повторяя по-казахски:

— Вы гости. Берите молоко, ничего не надо! Некоторые из женщин протягивали монеты, Жаныл, смеясь, отмахивалась обеими руками, выразительно покачивая головой:

— Не надо. Денег не надо, мы не торговцы! Давай налью!

И она тут же начала разливать молоко из своего ведерка с носиком в принесенную русскими женщинами посуду, с улыбкой отстраняя руки, протянувшиеся к ней с деньгами.

— Глядите-ка, бабы! Ведь видно, что не из богатых, а денег не берут, — растроганно сказала Дарья. — Киргиз гостя уважает, а они гостями нас считают. Ну, кланяйтесь, говорите хорошим людям спасибо!

Она первая стала благодарить старую Ийс и Одек, которые, глядя на Жаныл, тоже даром разливали молоко. Мужчины стояли рядом, одобрительно кивая головами на слова Дарьи.

Афанасьич подошел к Жаныл, которая понравилась ему своей веселой приветливостью, и заговорил с ней на ломаном казахском языке:

— Аул казах жигит бар?

— Что он сказал? — засмеялась Жаныл, повернувшись к остальным. — Понял кто-нибудь?

— Кажется, спрашивает, есть ли в ауле жигиты! — догадалась Одек.

Афанасьич поспешно закивал головой, услышав ее слова. Он немного понимал по-казахски и лучше других своих спутников знал казахов. Еще в прошлом году он приезжал в Семиречье «ходоком» и пробыл там год, выбирая места для переселения земляков и присматриваясь к жизни в этих краях. Теперь он вел весь этот большой обоз переселенцев.

Поняв, что он хочет поговорить с мужчинами аула, женщины вспомнили про Базаралы, который лежал больным в своей юрте: конечно, Базаралы сумеет поговорить с русскими, он же говорит на их языке! Другие называли имена Даркембая и Абылгазы.

Одек решительно повернулась и махнула рукой Афанасьичу.

— Идите! Сюда идите. Жигит бар! — и пошла к своей юрте.

Тем временем от обоза подходили все новые женщины, некоторые с грудными ребятами. Получив молоко, они медленно пошли по аулу во главе с Дарьей, заглядывая то в одну, то в другую юрту, с любопытством осматривая их скудное убранство. Они пытались заговаривать с казашками, но, не добившись толку, ограничивались только улыбками, кивками, взглядами и смехом. Все взаимно поражало и хозяев и гостей.

Между тем Дарья, заглядывая в юрты, опытным взглядом оценила благосостояние их хозяев.

— Голь перекатная. Кибитки дырявые. Внутри одни отрепья — ни одежи, ни добра. И чем они живут? А пища-то— гляньте! — И, жалостливо покачивая головой, она показывала на подростков, встряхивающих над кострами ковши с сухой пшеницей.

Окружающие ее казашки старались понять ее слова.

— Что она говорит? Что это Жарья головой качает? — спрашивали они друг друга, по-своему переделав имя Дарьи.

Зато русские женщины сочувственно подхватывали ее слова:

— Видно, сала ни кусочка нет!..

— У них, наверно, только и пищи, что молоко!

— И поди ж ты, сами голодают, а денег не берут.

— Ох, бабы, и куда мы заехали! Одна нищета, а не деревня!

— А чем же тебе не деревня? Нужда такая же, как и в нашей, пензенской.

— Такая же голь! — решительно закончила низким голосом Фекла, рослая, как и Дарья, но еще более крепко сложенная, будто литая из чугуна, пожилая женщина. И она послала неизвестно кому крепкое проклятие.

Дарья слушала эти возгласы, кивая головой. Потом она подытожила все сказанное:

— Киргизская ли нужда, русская ли — видать, все одно! Сразу узнаешь…

Тем временем в юрте Базаралы вокруг русских гостей собрались Даркембай, Абылгазы, Канбак, Токсан, Жумыр и еще несколько мужчин. Беседа шла с помощью Базаралы.

Он все еще был болен. Болезнь свою Базаралы называл «недугом суставов» — «куянг». Боль в пояснице не давала ему встать с постели. Приподнявшись на локте, он кое-как объяснялся с крестьянами по-русски и переводил их слова Даркембаю и другим.

Апанас — так выговаривал его имя Базаралы — рассказал, что обоз заблудился в степи.

— Как из Семипалатинска выехали, так, видно, и заплутались, — объяснял он. — Не на ту дорогу попали. Нам бы на тракт.

Апанас просил казахов дать обозу проводника, обещая с ним расплатиться. Поняв со слов Базаралы его просьбу, Даркембай ответил за всех:

— Найдем человека, дадим. Вот Канбак пока свободен. Пусть поедет с ними, за день обернется.

Канбак охотно согласился, и переселенцы тут же сговорились с ним об оплате.

Даркембай решил расспросить сам, откуда и куда едут путники.

— Куда поедем, Апанас, а-а-а? — с трудом подобрал он слова, но Афанасьич отлично его понял.

— В Семиречье едем, — ответил он и тут же для понятности добавил: — Семирек… Семирек едем!

Даркембай повернулся к остальным.

— Какой это Семирек? Может быть, Ак-Ирек? — старался он разгадать, называя земли соседнего рода Сыбан.

В разговор вмешался дед Сергей.

— Лепса, Лепса, — пояснил он. Теперь Базаралы понял.

— А, Лепсы! Вот они о чем говорят: им надо на Шубар-Агач и Копал!

— Да, да, Копал! — обрадовался Сергей. — Копальск. Лепса-Копал!

— Э-э, это они про Жетысу[44] говорят. Ту-у-у, это ведь край земли! Откуда же они едут? — удивился Даркембай.

На вопрос Базаралы Афанасьич широко взмахнул рукой.

— Россия… расейские… Я из Пензы, а эти вон с-под Тамбова.

Базаралы пояснил казахам, что гости едут издалека: из самой России. Узнав о том, что обоз движется уже два месяца, Даркембай покачал головой.

— Зачем же они так далеко откочевали? Какая сила погнала их с отцовской земли? — поразился старик.

На этот вопрос Апанас только развел руками.

— Плохо там было. Голодали.

— Земли было мало?

Афанасьич с горькой усмешкой кивнул головой и, как бы насмехаясь над своей долей, ответил:

— Земли-то там много. Только для нас-то ее не было.

— А у вас сколько было земли? — расспрашивал теперь сам Базаралы.

Афанасьич показал ладонь.

— Вот сколько. А нужда была большая, как мой зипун!

Базаралы рассмеялся, оценив остроумный ответ старика, повернулся к своим.

— Слушайте, что он сказал. Говорит, земли было с ладонь, а нужды — как целый чапан!

— Ай, бедный! — Слушатели сочувственно зачмокали губами.

— Как метко сказал! Такая она и есть, нужда! Апанас между тем продолжал с той же горькой усмешкой.

— А беда нависла над головой еще больше… Как вот эта твоя юрта.

Базаралы тут же перевел:

— Он еще говорит: беда у них была над самой головой, большая беда. Как эта юрта над нами. Как же было им не кочевать? Вот и решились.

Даркембай смотрел на Апанаса со все большим доверием и сочувствием.

— Вон как… Значит, как говорится: «Если бы год был хорош, зачем архарам[45] бежать из Арки?»

А Канбак, кивая головой, добавил:

— Разве это он о себе сказал? Это он про нас.

— И верно! — подхватил Токсан. — Не то же ли самое с нами? Только у нас земли много. Зато посеяно — с ладонь. А нужда да беда — то наши постоянные знакомые. Давят, как ярмо.

Базаралы, который с дружеским расположением поглядывал на Апанаса, теперь заговорил по-казахски:

— Эти люди — отважное племя. От правды они не отступят. Родились в бедности, так не станут бахвалиться: «Мы, мол, потомки богатого рода!»

Базаралы тут же принял одно решение. Он повернулся к Даркембаю, Абылгазы и к жене.

— Много хлеба и соли съел я в ссылке у русских. А больше всего кормили меня вот такие же бедняки, как эти. Только с их помощью я добрался до родины, когда бежал с каторги. Сейчас передо мной усталые путники, утомленные тяжелой дорогой. У них и горе и слова такие же, как у нас. Я все берег своего единственного подросшего барашка; думал, заколю для какого-нибудь редкого гостя. Что ж, кого лучше я найду? Давайте заколем его и угостим этих людей! Абылгазы, пошли за ним в стадо!

Друзья одобрили его решение. Одек уже готовила чай. Базаралы обратился к Апанасу и попросил его остаться у него в гостях вместе с остальными двумя, а кроме того, пригласить на обед еще пятерых почтенных людей из русского обоза. Апанас поблагодарил за приглашение и сказал, что за остальными сходит Федор.

Базаралы поручил Токсану и Канбаку вечером пройти с гостями на поле:

— Покажите им наши посевы. Мы ведь только ковыряем землю, ничего не понимая в деле. А вот Апанас знает все. Они плачут не о том, что с хлебом много труда, а о том, что для труда мало земли. Это мы жалуемся, что хлеб требует много труда, и боимся лопаты. Покажите им нашу землю, расспросите, как надо здесь пахать и сеять!

В ожидании обеда Базаралы рассказывал гостям о жизни аула землепашцев, говорил и о том, что они решились покинуть своих баев и зажить своим трудом. Рассказал он и о том, как баи морили бедняков голодом.

Под вечер, после угощения, крестьяне вместе с Даркембаем и Абылгазы пошли смотреть хлеба. Дед Сергей, о котором Апанас отозвался как о самом знающем хлеборобе, то и дело покачивал головой. Сам Апанас, останавливаясь там, где замечал огрехи, показывал их казахам и ворчал:

— Жаман!..[46] Жалкау!..[47]

А Федор, увидав эти огрехи, попросту ткнул Абылгазы в бок и яростно плюнул, выказывая полное осуждение. И хотя он не понял смысла слов, сказанных Апанасом, укоризненно повторил их:

— Жаман, жаман! Да чего там — жаман! Просто — плохо. Уж до чего плохо, хуже нельзя! Бить тебя надо, Абылгазы, — закончил он и потряс могучей рукой жигита за плечи, показав кулак.

Однако то, что, несмотря на плохую подготовку земли, на всех этих двадцати десятинах стояла густая, рослая и ровная пшеница, явно поразило переселенцев. Взяв по горсти земли, они разминали ее на ладони, рассматривая внимательно и тщательно, словно покупали дорогую муку.

Вернувшись в юрту Базаралы, Апанас, Сергей и Шодр (так выговаривали казахи имя Федор) перечислили все недостатки, замеченные ими на полях. Оказалось, что земля вспахана неровно и недостаточно глубоко.

— И как это такой плохой труд дал такой хороший урожай? — удивлялся Апанас и шутил — Видно, просто ваш аллах очень щедрый!

Сергей усмехнулся:

— Чего там аллах! Это у них земля здесь такая. Возьми вон с воза оглоблю да посади тут — гляди, телега вырастет!

Базаралы перевел его слова остальным:

— Он говорит: урожай нам дал не наш труд, а щедрость нашей земли. Говорит: в нашей земле такое изобилие, что закопай оглоблю, телега сама вырастет. Вот как хвалит он нашу землю!

Но упрек гостей Базаралы тут же отвел, с трудом объяснив им по русски:

— Бороны только две. А семей шестьдесят. Лошадей совсем мало. Да и дохлые они. Верблюда запрягли. Дойную корову запрягли. Едва борону тащили. Люди руками поле делали. Что же говорить о плохом уходе? Как мы могли иначе сделать?

В сумерках переселенцы попрощались с Базаралы и с остальными и пошли к своим телегам. Они решили тронуться в путь ранним утром. Канбак, обещавший проводить их до самого Семиреченского тракта, сказал, что с рассветом будет уже на коне.

При этом прощальном разговоре Даркембай не присутствовал. Когда он возвращался с русскими стариками с поля, зоркий взгляд его заметил на склонах холмов Сары-Адыр огромный табун пасущихся коней. Отправив стариков с Абылгазы в юрту Базаралы, Даркембай поспешил сесть на коня. Солнце уже клонилось к закату, когда он подъехал к косякам. Из табунщиков здесь был только один подросток, дневной сторож. Подъехав к нему, Даркембай, ласково называя его и «светиком» и «сынком», попросил: — Тут поблизости есть посевы бедняков жатаков. Вон там, видишь, внизу? Уже совсем поспели хлеба, вот-вот возьмемся за серпы! Как бы не случилось так, что табунщики ночью заснут и недоглядят за конями. Не дай боже, если такой огромный табун набредет на хлеба! Передай об этом ночным табунщикам, объясни им, родной, предупреди!

Вполне поняв опасения старика, жигит обещал ему предупредить тех, кто поедет в ночное, и Даркембай вернулся в аул успокоенный.

Молодой табунщик, пригнав коней на вечерний водопой, действительно передал просьбу товарищам, которые должны были вести табун в ночное. Тут же был и сам молодой хозяин—Азимбай. При имени Даркембая лицо его помрачнело, и он, нахмурясь, слушал жигита. Когда тот закончил, Азимбай приказал гнать табуны на те же места, где они паслись днем, и добавил, что нынче поедет в ночное сам.

На урочище Малый Каска-Булак паслось много иргизбаевских косяков, которых сопровождали сыновья хозяев — молодые люди, подобные Азимбаю. Молодежь часто выезжала веселой компанией с табунами в ночное. И когда нынче Азимбай предложил им: «Садитесь на коней, поедем на ночь с табунами. Устроим ночные скачки, повеселимся!» — все охотно согласились.

В сумерки к склонам Сары-Адыра направилось больше десяти косяков молодняка. С ними ехали байские сыновья, их слуги и табунщики. Тут был сын Акберды — Мусатай, сын Майбасара — Ахметжан, забияка и смутьян вроде своего отца. Были здесь и крикливый Мака, и молодой повеса Акылпеис, и известный конокрад и бездельник Елеусиз.

Азимбай придумал эту поездку неспроста. Слушая молодого табунщика, он вспомнил, что Базаралы и Абылгазы дружат с Даркембаем и что на этих полях есть, конечно, и посевы обоих его врагов. Да и сами жатаки вместе с Даркембаем давно уже вызывали злобу Азимбая. Кругом только и говорили, что урожай у жатаков в этом году будет обильный. Не очень веря этим слухам, Азимбай на днях съездил к Сары-Адыру, внимательно осмотрел жатаковские поля и вернулся еще более озлобленным. Действительно, по всему выходило, что жатаки получат превосходный урожай.

И теперь он подвел табуны к посевам. Кони, которые все это время паслись на сухом ковыле горных пастбищ, сейчас охотно спускались в низину, отыскивая свежую зелень. Впереди всех шел темно-рыжий лысый жеребец, признанный вожак тысячного такежановского табуна. Часто пофыркивая и подхватывая на ходу траву, он вел свой огромный косяк, за которым тянулись и остальные табуны. Видимо, он уже учуял близость хорошего корма и теперь уверенно шел, не останавливаясь и даже не опуская головы к земле. Азимбай вполне оценил его поведение и, подозвав к себе своих сверстников и табунщиков, предложил:

— Ну, жигиты, давайте теперь отдохнем! Слезайте с коней, полежим тут, побеседуем. Табуны сами видят, куда идти. У скотины языка нет. Если что случится, кому кони расскажут? Соберем их с рассветом и поедем домой.

Он засмеялся с откровенной злобой. Приятели поддержали его смехом, но один из молодых табунщиков, видимо не поняв хозяина, возразил:

— Тут неподалеку посевы. Долго ли до греха?

— Ложись, не болтай! — оборвал его Азимбай. — Если одни вздумали сеять, что же, другим и пасти скотину нельзя?

— Ковыряют землю. Что выдумали: ни отцы, ни деды не занимались этим! — ворчал Мака.

— Стыдно всему народу за этих оборванцев жатаков. Выгнать их пора из нашей степи, — добавил Ахметжан.

— Это дело недолгое, — сказал Азимбай. — Стоит лишь два-три раза подряд уничтожить их поля и прикрикнуть: «Не ройте землю, словно собаки перед чьей-то смертью!» — и они сами куда-нибудь откочуют.

— Верно. А если эти мужики не откочуют, так разлетятся, как пчелы из разоренного улья! — подхватил с хохотом Акылпеис.

Слова его так понравились Азимбаю, что, устраиваясь спать, он несколько раз повторил их вслух. Рядом с ним улеглись его приятели.

Этот мирный отдых в ночной степи, такой невинный на вид, на самом деле был гнусным преступлением. Если бы эти молодые негодяи снаряжали сейчас конокрада или садились бы на коней для открытого набега, или даже разжигали пожар в степи, они совершали бы меньшее преступление, чем сейчас.

А кони?.. Прекрасные, умные животные, полные достоинства и благородства, мирные друзья человека! Если бы только они понимали, чем сделала их злая воля Ааимбая! Они становились теперь разрушительной силой, подобной степному пожару, урагану или наводнению. Сплошной темной массой, покрывавшей целое поле, табун двигался в ночи, как некий тысяченогий и многозубый ненасытный разрушитель, лютый айдахар — дракон. И в голове этого гигантского чудовища, как одинокий драконий глаз, светлела темно-рыжая грива такежановского жеребца. Он шел все вперед и вперед, ведя за собою тысячный табун. Спелая густая пшеница распространяла в ночи манящий запах. И весь табун — не только яловые кобылицы, но и жеребята-стригуны — понял уже этот призыв и двинулся на посевы, заливая их сплошной массой от края до края.

Косяки как будто нарочно сохраняют полную тишину. Не заржет ни один жеребец, даже ни один глупый стригун. В глубокой тишине ночи слышны только лишь хрустящий звук перетираемых зубами колосьев да негромкое пофыркиванье, словно кони выражают друг другу удовлетворение наконец-то найденным богатым кормом. Одни из них захватывают колосья, другие перекусывают стебли пополам, а молодняк, не разобравшись в этом корме, не столько ест, сколько рвет пшеницу с корнем; не зная, с какого конца жевать колосья, стригуны, топчут их и вырывают новые.

Уничтожая посевы, несметный табун дошел уже до самой середины хлебов. Там и здесь кони валятся в ниву и, перекатываясь с боку на бок, мнут высокие стебли. Дикий молодняк, неведомо чего испугавшись, вдруг пускается вскачь, топча и ломая стоящую стеной пшеницу. Под ударами их крепких копыт колосья втаптываются в рыхлую глину, рассыпая спелые зерна… Те самые колосья, которых нынче днем боялись коснуться осторожные руки маленьких детей, сейчас вминались в землю копытами. Спелые зерна пожирались, уничтожались широкими зубами коней. Тяжкий труд, горький пот, трепетные надежды бедноты — все это было растоптано табуном.

Обоз переселенцев зашевелился еще на рассвете. Коней запрягли в телеги, готовясь тронуться в путь. Ожидали только Канбака. Он тоже встал чуть свет и пошел за своим конем, которого с вечера пустил на подножный корм, спутав ему ноги. Поднявшись на холмик возле посевов, Канбак увидел в пшенице огромный табун и, поняв весь ужас происшедшего, громко закричал, рыдая в голос, и кинулся к аулу.

Навстречу шел Даркембай, который встал пораньше, чтобы посмотреть, не забрел ли какой-нибудь стригунок в пшеницу. За ним шла старая Ийс и еще несколько женщин, вышедших на поле, чтобы нарвать спелых колосьев для утреннего чая. К ним и подбежал Канбак, рыдая и крича.

Весть быстро разнеслась по всем трем аулам. Люди сразу поняли размеры бедствия. Из всех юрт высыпали люди. Дети, хватаясь за подолы матерей, путаясь в ногах у взрослых, плакали в страхе, увеличивая общий шум, не понимая, в чем дело, но чуя большое горе.

Громкие проклятия, горестный плач, гневные возгласы… Аул забурлил, как будто готовился отразить внезапный вражеский набег.

— Будьте вы прокляты, злодеи!

— Пусть спалит огонь весь род иргизбаев!

— Кто хозяева тубанов? Погибель им!

— Пусть их внуки и правнуки в слезах влачат жизнь!

— Да затопят тебя наши слезы, лютый враг!

— Конечно, враг! Только враг мог решиться на это!

— Подлецы… Проклятия сирот на ваши головы!

Во всех аулах раздавались эти крики. С такими же гневными словами вошли в юрту Базаралы его друзья Даркембай, Абылгазы и Канбак.

Базаралы был одет, как будто собирался куда-то в путь, но встать с места не мог, прикованный болезнью к постели. Он был смертельно бледен. Прислушиваясь к рыданьям и крикам, доносившимся в юрту, он метался по постели, но не проронил ни одного слова. И лишь теперь, когда в юрту вошли мужчины, он заговорил, пылая гневом:

— Несчастный народ мой, народ труда! Да обернутся слезы твои черной кровью в глотках врагов! Но довольно рыданий, опомнитесь! Абылгазы! Канбак! Соберитесь с мыслями, начинайте действовать!

И, обводя горящим взглядом своих друзей и вошедших с ними других мужчин, Базаралы заговорил уже тоном приказа:

— Пока косяки не ушли с поля, возьмите арканы и недоуздки, идите туда и изловите тридцать коней, самых отборных! Дело идет о жизни или смерти. Чего нам теперь бояться? Шестьдесят семей засеяли двадцать десятин, каждая десятина дала бы пшеницы стоимостью по крайней мере в полтора хороших коня. Вот и заберите тридцать коней, а потом поговорим. Да коней выбирайте посильнее — может быть, на них же придется и драться с врагами. Ступайте ловите! Не сделаете так, народ вам не простит!

Даркембай одобрил его решение. И не успел бы вскипеть чай, как в аулах уже были привязаны к юртам тридцать самых лучших коней из табуна. Даркембай не успокоился до тех пор, пока всех этих коней не оседлали.

Крики, рыдания и проклятия, стоявшие над аулом, давно уже привлекали внимание переселенцев. В обозе долго поджидали Канбака, и наконец Апанас, Шодр и Сергей пришли к Базаралы, чтобы узнать, почему задержался проводник. Здесь они услышали о бедствии, обрушившемся на аул. Они близко к сердцу приняли несчастье, постигшее казахскую бедноту. Узнав о распоряжении Базаралы задержать тридцать коней, все три старика одобрили это.

— За потраву и не так взыскивать надо, — гневно сказал Шодр. — Надо в суд подать на хозяев табуна, пускай отвечают!

Афанасьич предложил составить свидетельское показание о потраве, которое подпишут все переселенцы, и тут же старики пошли к обозу.

Сразу после их ухода в ауле появилось множество всадников. Это были приятели Азимбая, их слуги и табунщики и вдобавок еще десятка полтора жигитов, охранявших по соседству иргизбаевские табуны, — всего более сорока всадников. В руках у них были соилы и шокпары. В аул они въехали, не сбавляя рыси, показывая этим, что не считают его достойным обычных приличий.

Азимбай и его сообщники спокойно спали до восхода солнца, предоставив косяки самим себе. Первым проснулся Мака и увидел, как жатаки, поймав десятка три коней, гонят их к аулу. Он тут же поднял тревожный клич:

— Аттан, аттан! На коней!

Азимбай тотчас вызвал на помощь табунщиков соседних аулов и, когда они появились, повел всех людей к жатакам.

Едва подъехав к крайнему аулу, Азимбай, не сходя с коня, повелительно крикнул:

— Эй, жатаки! Кто тут есть, выходите ко мне!

Это было как раз возле юрты Базаралы. На вызов вышли Абылгазы, Даркембай, Канбак и Токсан. Базаралы, стиснув челюсти, попытался подняться, но боль в пояснице не давала ему двинуться. Весь кипя от гнева, он прислушивался к разговору у юрты.

Азимбай, не поздоровавшись, властно приказал Даркембаю:

— Верни моих коней! Сейчас же! Всех до одного! Даркембай ответил негодующими упреками:

— Хуже, чем во времена калмыцких набегов! И враги того не сделают!

Но ему не дали договорить. Азимбай, Ахметжан, Мака и Елеусиз закричали, перебивая друг друга:

— А что вы, жатаки, делаете! Чем вы лучше калмыков?

— Мы проспали — что же, за это грабить наши косяки?

— Как посмели угнать коней? На кого ты поднял руку?

— У скотины ума нет, не знает, что ест… А ты, видно, тоже стал скотиной, потерял ум?

— Кончай болтовню, отдавай коней! Абылгазы попытался перекричать их:

— Дадите вы сказать слово или нет?

— Вот тебе слово! — И Азимбай хлестнул его плеткой по голове.

Абылгазы схватился за плетку, рванул ее так, что петля на рукоятке лопнула, и этой же плеткой замахнулся на Азимбая. Но тут его ударил соилом Акылпеис. Посыпались удары на Даркембая и остальных. Женщины, выглядывавшие из соседних юрт, в ужасе заголосили.

Но весь этот шум покрыл громкий выкрик Абылгазы:

— Аттан!

— Это было условным кличем. Держа наготове соилы, тридцать жатаков стояли за юртами у оседланных коней. Услышав призыв Абылгазы, они вскочили в седла и ринулись на врагов с криками:

— Бей, сбивай! Сшибай с коней!

Этот отряд был подготовлен Абылгазы. В нем было и несколько отважных жигитов, которые участвовали в набеге на такежановский табун. И хотя жатаков было почти вдвое меньше, чем врагов, они смело ринулись на азимбаевских людей.

Абылгазы, петляя между юртами добежал до своей юрты, вскочил на вороного коня, который ходил под самим Такежаном, и, подняв шокпар, с грозным кличем ворвался в гущу врагов.

Даркембай упал с окровавленной головой после первых же ударов. Одек втащила его в юрту. Увидев старика, Базаралы пополз к выходу.

— О, господи… уж возьми лучше мою душу, чем мучить меня так! — простонал он сквозь зубы, пытаясь подняться на ноги.

Одек хотела остановить его, но огромным усилием воли он встал во весь рост и снял висевший на остове юрты шокпар.

— Уйди! — крикнул он и, шатаясь, двинулся к выходу из юрты. — Умру в бою с врагом… Эй, жигиты! Сметай, кроши! Свершай свою месть!

Возле двери маленький Рахимтай рыдал на плече бледного окровавленного Даркембая. С ним были Асан и Усен. Со смерти Исы они привязались к Даркембаю, как к родному деду, и теперь тоже кинулись к нему, плача от страха и обиды за него.

В начале боя все трое мальчиков прятались в юрте старухи Ийс, глядя на происходящее из-под войлока двери. Но когда Азимбай и его люди начали избивать отца, Рахимтай, не помня себя, выскочил из юрты и бросился к всаднику, хлеставшему Даркембая плеткой.

— Не смей трогать отца, злодей! — кричал он в бессильном гневе.

Жалобный плач сына заставил Даркембая очнуться. Преодолевая боль, он обнял Рахимтая.

— Не плачь, мой мальчик, не бойся. Все уже прошло, — ласково повторял он.

Рахимтай поднял мокрое от слез лицо.

— Когда я вырасту, разобью голову этому Азимбаю! Узнает он у меня!

Его поддержал и Асан:

— Ничего, и мы вырастем. Вот тогда уж отомстим за деда.

Даркембай ласково притянул к себе обоих мальчиков и положил руку на голову маленького Усена, который, сверкая глазенками, тоже пытался грозить кулачком в сторону двери, откуда доносились громкие крики, перестук соилов и ржание коней.

Бой шел в самом ауле. Возле юрт бились конные противники. Падали с седел и жатаки и их враги. Бедняки подбадривали друг друга криками:

— Не отступай!.. Не сдавайся! Держись вместе!

— Не жалей, бей насмерть! — отвечали голоса врагов. Даркембай, увидев Базаралы уже в дверях, крикнул его жене.

— Иди за ним, поддерживай!

Одек подбежала к мужу. Охватив рукой ее плечи, он, шатаясь, стоял перед своей юртой, в ярости крутил шокпаром над головой и громким криком направлял жигитов туда, где требовалась помощь жатакам.

И все же азимбаевские люди начали одолевать.

Но в тот миг, когда бой мог решиться в их пользу, неожиданно, как ураган, налетела новая сила. Это были русские переселенцы.

Когда Апанас, Шодр и Сергей пошли к обозу составлять бумагу о потраве, они заметили скачущую к аулу толпу всадников. Появление их насторожило стариков. И едва в ауле началась драка, Апанас и Шодр закричали на весь обоз:

— Распрягай коней! Вынимай оглобли! Айда на помощь!

Через несколько минут больше десятка всадников мчалось на неоседланных конях к месту боя, размахивая оглоблями. За ними, схватив лопаты и вилы, бежали на помощь своим новым друзьям Дарья, Фекла и другие женщины.

Подлетев на полном скаку к Абылгазы, Шодр, оказавшийся впереди других, кинулся в бой и тут же получил сильный удар по плечу соилом от Акылпеиса. Он ответил страшным ударом оглобли. Способы боя на конях соилами и шокпарами Федору были неизвестны. Опытные бойцы бьют соилом и шокпаром по голове или по плечу, чтобы выбить из рук оружие, или по колену, чтобы не дать врагу усидеть в седле. Федор всего этого не знал и добросовестно ухал своей оглоблей по бокам всадников. Впрочем, от его ударов враги слетали с седел, как шапка с головы.

В бой ринулся и Апанас с остальными переселенцами. Азимбаевцы дрогнули. Только что они торжествовали победу и загоняли отдельных жатаков к юртам, чтобы окончательно их избить, а сейчас они столкнулись с мстителями за слезы бедняков. Русские крестьяне налетели на них с зычным криком:

— Урра! Урра!

Подоспевшие союзники едва начали разминать свои крепкие плечи, когда бой уже закончился. Враги, спасаясь, врассыпную скакали между юртами и там попадали под удары женщин, — как только начался бой, те, схватив в руки боканы,[48] притаились, подстерегая всадников.

— Ой, спасибо вам!.. Хорошие русские люди, дай вам бог удачи!.. Будьте счастливы вы сами, и дети ваши, и внуки… — благодарили казашки неожиданных заступников.

Тут в аул прибежали, запыхавшись, Дарья и Фекла со своим бабьим войском. Они смешались с казашками и вместе с ними то и дело провожали увесистыми ударами скачущих мимо азимбаевцев.

— Звери, насильники окаянные! — приговаривала Дарья, опуская лопату на чью-то спину.

— Антихристы! — басом поддерживала ее Фекла. Мака, скакавший мимо, на ходу огрел Феклу соилом по плечу. Та с неожиданной быстротой ухватилась за чембур его коня и, крикнув: «Ах ты, сукин сын!» — другой рукой легко сдернула его с седла на землю.

— Айрылмас![49] — заорал Мака, падая навзничь к ногам Феклы.

— Чего орешь? — грозно забасила Фекла и несколько раз пнула его тяжелой босой ногой. Кругом раздались восторженные крики казахских женщин:

— Смотрите на Шоклу! Ойбай, какая Шокла! Пяткой рот затыкает, а тот все орет: «Айрылмас!»

Даже маленький Усен, перепуганный и плачущий, в страхе уцепившийся за платье Ийс, и тот рассмеялся от удовольствия.

— Так его, получай! Так, так! — кричал он, наблюдая позорное поражение Мака.

Старая Ийс тоже засмеялась долгим беззвучным смехом, приговаривая сквозь все еще льющиеся слезы:

— Да буду я жертвой за тебя, Шокла… Да осчастливят тебя сыновья и дочери твои.

Так же, как и Мака, в разных местах аула были сбиты с коней еще несколько врагов. Теперь их колотили палками, лопатами и рукоятками вил русские и казахские женщины.

Около десятка азимбаевцев еще держались вместе, отступая под напором переселенцев к крайней юрте аула — как раз к той, где был Базаралы. Здесь стоял сплошной перестук соилов, оглобель и шокпаров. Почуяв серьезную опасность, байские сыновья держались плотно друг к другу. Еще немного, и они могли вырваться из аула в степь и ускакать на своих хороших конях.

И тут Базаралы крикнул во всю мочь:

— Бей, не жалей! Налетай, жатаки! Не дайте собакам уйти!

Крик его воодушевил сражающихся. Услышав его, обернулись и те жатаки, которые преследовали бежавших врассыпную остальных врагов. Базаралы, бледный, с искаженным от боли лицом, но все же размахивающий над головой шокпаром, казался живым призывом к мести. Зычный голос его, покрывавший и стук соилов и топот копыт, властно раздавался над аулом, как звонкий клекот могучего орла. И, повинуясь его призыву, жатаки, а вместе с ними и переселенцы сильным натиском потеснили ряды врагов. Пятеро байских сынков полетели с седел, среди них Ахметжан, Акылпеис и ловкий силач Елеусиз, сбивший немало жатаков.

Потеряв их, Азимбай решительно повернул коня и пустился в бегство. Абылгазы и Шодр кинулись за ним, однако догнать его никак не могли. Давно не ходивший под седлом Такежанов конь, на котором скакал Абылгазы, отяжелел и не мог сравниться с выезженным иноходцем Азимбая. А тяжелый, громадный Сивка скакал еще медленнее: Елеусиз, поняв, что седой дед, видимо, предводитель русских, сильным ударом соила оглушил его коня.

Вскоре Абылгазы и Шодр повернули обратно к аулу. Там за это время поймали и привязали к юртам тех коней, с которых были сбиты враги, а их самих выгнали из аула пешком. В юртах перевязывали раненых жатаков.

Этот бой можно было считать победой жатаков. Ярость бедняков, вспыхнувшая при виде гибели урожая, которому было отдано столько сил, дала им победу. Помогла и неожиданная помощь переселенцев. Жатакам удалось не только удержать у себя всех тридцать коней, захваченных на потраве, но и добавить к ним около десятка тех, с которых были сбиты азимбаевские люди. Если байские аулы придут с мирными переговорами, они смогут получить обратно своих коней, оплатив жатакам все убытки. Если же нет — кони останутся у жатаков.

Придя к этому решению, Даркембай и Базаралы всячески ободряли людей.

— Будьте стойки. Впереди еще много хлопот с этим делом, подпоясывайтесь потуже, — говорил Даркембай, обходя юрты аула, и, посмеиваясь, добавлял: — Расколют череп — надень шапку! Вот и мне, старику, голову разбили, а видите, еще не помер. Только не теряйте мужества!

Днем жатаки позвали к себе русских друзей и угощали их обедом в трех юртах. Все жители аулов, даже дети, приходили благодарить Апанаса, Шодра, Жарью, Шоклу. И везде, как самый смешной случай из всего боя, вспоминали поражение Мака.

— Шокла бьет его пяткой по голове, а он только покрикивает «Айрылмас!» — смеялись женщины.

До самой ночи байские аулы никого не прислали к жатакам. За это время переселенцы под руководством Афанасьича составили бумагу, в которой свидетельствовали о потраве. Здесь было указано, на скольких десятинах уничтожены посевы, оценено качество зерна, рассказано, каким образом тысячный конский табун оказался на поле, и подтверждалось, что потрава была умышленной, заранее задуманной. Обо всем этом тридцать семей русских переселенцев доводили до сведения семипалатинского уездного начальника. На бумаге расписались все переселенцы. По совету Афанасьича с этого акта тут же сняли копию: он объяснил Базаралы и Даркембаю, что свидельство надо послать в город по начальству, а копию на всякий случай лучше хранить в ауле.

Когда это важное дело было закончено, новые друзья аула стали готовиться к отъезду. Канбак порядком потерпел в бою, но, перевязав раны, все же отправился с русскими, чтобы вывести обоз на тракт. Проститься с друзьями пришло население всех трех аулов. К вечеру обоз русских переселенцев, провожаемый благословениями и словами благодарности, тронулся в путь.

Сразу после ухода обоза жатаки устроили совещание. Было решено, во-первых, теперь же послать ходатая к начальству с жалобой и с подтверждающим ее свидетельством переселенцев. Для этого в город ночью должен был выехать ловкий жигит Серкеш, знающий русский язык. Во-вторых, Даркембаю и Абылгазы поручили сейчас же ехать к Абаю и рассказать ему обо всех событиях дня.

То, что Абай еще утром узнал о преступлении, совершенном байскими сынками, жатакам не было известно. В полдень он послал на место потравы Магаша и Дармена, чтобы те точно определили размеры ущерба, нанесенного жатакам. Отправляя их, Абай предупредил, чтобы они не заезжали в аул к жатакам: он не хотел, чтобы в дальнейшей борьбе, которая неминуемо развернется вокруг этого события, его обвиняли в тайных сношениях с жатаками. Задачей его было лишь установить истину и быть беспристрастным свидетелем.

Магаш и Дармен внимательно осмотрели все двадцать десятин и убедились, что урожай погиб полностью.

— Все посевы уничтожены начисто. Все истреблено без остатка, — с таким известием вернулись к Абаю юноши.

Новое преступление насильников вовсе лишило Абая покоя. Им овладели горькие думы:

«Что же: я так и стою на том месте, откуда начал жизнь? Чем больше сражаюсь я со злом, тем яснее вижу, что оно подобно многоголовой змее. Отрубишь одну голову — вырастают две другие. Где же выход? Когда же увижу я зарю народную? Или жизнь моя осуждена на бесплодие? Ни одной мечты не дано мне достичь? Придется ли мне когда-нибудь радоваться за свой народ? Где же она, верная дорога?»

Душная волна то слезами подкатывает к горлу, то давит сердце.

Догадываясь о тяжелом состоянии отца, Абдрахман пошел к нему под вечер, когда тот сидел один, погруженный в свои мысли.

— Я понимаю, отец, что вам вдвойне тяжело, — негромко заговорил он. — Мало того, что это зло совершено рядом с вами, на ваших глазах, виновником его вдобавок оказался сын вашего родного брата… И гнев терзает вас и стыд… Вы мучаетесь молча, про себя. Не позволите ли сказать и мое мнение?

Мягкие слова сына обрадовали Абая, и он посмотрел на него благодарным взглядом, показывая, что готов слушать.

— Вы не раз защищали мирных, трудолюбивых людей от насилия. Враги ваши это знают. Нынче, нападая на жатаков, враги наступают на вас. Не так ли?.

— Ты прав.

— А вы никогда ведь не отступите от своего пути! — продолжал Абиш, не спрашивая, а утверждая.

— Не отступлю. Умру на этом пути. Это и клятва моя и убеждение мое.

— Если так, то действуйте и сами. Решитесь на смелый поступок. Встаньте сами на защиту народа. Это поможет ему, поддержит его силы, пробудит отвагу. Посмотрите на русских: у них и борьбу работников и восстания крестьян всегда поддерживают лучшие люди. Не только словами борются за бесправных и обиженных, а сами отважно вмешиваются в борьбу. Они показывают народу, какую силу может иметь он, если объединится в общем стремлении…

— Что же мне надо сделать? — в раздумье спросил Абай. — И мне сесть на коня с соилом в руке?

— Даже и так, — решительно сказал Абдрахман. — Понадобится — сделайте и это! Насилие отступает только перед сопротивлением, зло побеждается сильной волей. Базаралы показал путь. На этом пути и Даркембай и многие другие. Покажитесь сами на коне! У вас много друзей, Призовите на помощь обиженным и бесправным жатакам — вы увидите, все придут на ваш клич. Пусть враги узнают эту силу. Только перед ней они отступят, вернут покой и народу и вам!

Абай ничего не отвечал; он обдумывал слова сына.

В этом раздумье и застали Абая Абылгазы и Даркембай. Айгерим расстелила скатерть, появился кумыс.

Абай заговорил с посланцами жатаков решительно и коротко.

— Что бы ни случилось с вами завтра, я буду на вашей стороне. Всю свою силу, все умение отдам вам в защиту. Какую бы подлость ни затеяли против вас враги, я буду с вами. Вот и все. Поужинайте и уезжайте к себе.

Тут же Абай отправил к жатакам Дармена и с ним еще троих жигитов, приказав им сообщать ему все новости.

После ужина Даркембай с Абылгазы уехали к себе.

В этот же день в ауле Такежана шел совет заправил рода Иргизбай. Из аула в аул бешено скакали гонцы, пока наконец все аткаминеры и старейшины не собрались к Такежану, как волки, со злобным воем сбегающиеся в стаю.

Решение этого совета повез жатакам Акберды. Ранним утром следующего дня он с пятью жигитами приехал в аулы жатаков.

— Сегодня к вечеру вы сами приведете всех угнанных коней. Так повелевает род Иргизбай! — холодно объявил он. — Если же нет, укажите место для боя завтра утром! Помните: все иргизбаи сели на коней. Разнесем ваши юрты, разорим аулы дотла — вот наша кара, если не придете с повинной.

Разговор этот происходил в юрте Базаралы, где собрались Даркембай, Абылгазы и еще несколько жатаков. Когда Акберды замолчал, отвечать ему стал Базаралы. Даркембай и Абылгазы одобрительно кивали головами, слушая его спокойные слова:

— Не мы начали это злое дело. Мы стали бороться лишь когда на нас напали. Разве могли мы покорно принять собственную нашу гибель? От тех, кто вырвал у нас изо рта последний кусок, мы не можем ждать пощады. Хотите добить нас, разорить совсем? Что же, мы погибнем, но не в слезах и не с мольбой на устах! Губите, душите нас — мы погибнем, хватая и вас за горло… Сами мы не пойдем на вас. А нападете вы — увидите! И так уж разоренная, голодная, голая, беднота приговорена к смерти. Погибая, мы прихватим с собой и кое-кого из вас! Поезжай к своим, передай наши слова.

Когда Акберды привез этот ответ, между аулами иргизбаев опять засновали гонцы, на этот раз собирая верховых на бой.

Дармен, приехав в аул жатаков, остановился, как всегда, в юрте старой Ийс. Он был хорошо знаком со многими из бедняков, а с некоторыми просто дружен. Разговаривая с Абды, Сержаном, Канбаком и с другими, кто вел вчера бой с самим Азимбаем, которого здесь называли «волком с аршинными клыками», Дармен чувствовал, какая крепкая решимость объединяет их в стойкую силу. Даже в насмешках Ийс над крикливым Мака было видно, что все люди аула встряхнулись, расправили годами согнутые спины. Всеми владела жажда мести.

Старуха с улыбкой рассказала Дармену и о том, как внуки ее грозили Азимбаю. Юноша подозвал к себе Асана и одобрительно похлопал его по спине.

— Вижу, ты вырастешь храбрым жигитом! Твой отец Иса был настоящим батыром, не бойся и ты никого.

Маленький Усен, обиженный тем, что хвалят одного только Асана, прижался к колену юноши и, настойчиво потянув его за рукав, заговорил:

— А я, Дармен-ага? Разве один Асан может быть храбрым? И я буду батыром, как отец!

Только теперь Дармен впервые заметил, как похож малютка на Ису: те же глаза, тот же прямой нос, тонкие брови.

— Будешь, будешь непременно, мой милый. Даже смелее будешь, — ласково сказал он.

И, прижав к себе мальчика, Дармен задумался. Был бы нынче жив Иса, с каким гневом, с какой страстью бился бы он! Вот уж кто действительно имел право на месть! Горько и тяжело было думать, что Иса погиб, не дожив до такого дня.

«Зачем воспевать героев прошлых дней? — вдруг подумал Дармен. — А что, если я посоветуюсь с Абаем-ага? Не сложить ли поэму об Исе, о его гибели? Разве не достоин уважения и любви такой человек?»

Дармен чувствовал, что в голову ему пришла счастливая мысль, однако думать о новой поэме пока не было времени: Базаралы прислал сказать о разговоре с Акберды, и Дармен послал к Абаю гонца с известием о подготовке иргизбаев к набегу.

Услышав об этом, Абай начал действовать. Он позвал к себе Ербола, Акылбая, Магаша и еще нескольких человек.

— Садитесь на коней и скачите по всем окрестным бедным аулам. Передайте мой салем беднякам: пусть за эту ночь к утру все мужчины доберутся до аула жатаков. Кто не сможет дойти до них, пусть приходит сюда, в мой аул. Пусть не горюют о том, что они без коней. Скажите им, чтобы каждый захватил с собой соил или дубинку. Пусть станут стеной около Базаралы! Я помогу людям разобраться, кого же больше в степи: иргизбаев или народа?

С этим поручением друзья Абая поскакали в разные концы. И ранним утром к жатакам потянулось множество людей из бедных аулов, расположенных поблизости, на урочищах Ойкодык, Киндикты, Корык, Шолпан, Ералы. Некоторые сидели верхом на клячах, но большинство ехало на верблюдах и на волах, забравшись по нескольку человек им на спину, а еще больше людей шло пешком. Но не было ни одного человека без соила или шокпара. И эти истощенные, оборванные люди несли в сердцах справедливый гнев и гордое сознание пробудившейся чести.

Силы жатаков таким образом неожиданно увеличились во много раз.

Узнав о том, что это сделал Абай, Базаралы воспрянул духом. Он даже сумел встать с постели, как бы забыв о болезни.

— Поднялся народ! Нищий народ мой, ты на верном пути… Не клич рода объединяет нас, а насилие родичей!

К полудню иргизбаи сели на коней. Собралось более полутораста всадников. Это были вооруженные соилами и шокпарами байские сыновья и их приспешники, молодые повесы. Были здесь и пожилые мурзы, сами хозяева табунов, окруженные своими слугами и табунщиками. Тут же оказались и участники вчерашнего боя. Эти еще вчера поручили Акберды разузнать, ушел ли переселенческий обоз, — вояки, познакомившиеся с оглоблей Шодра, не очень-то хотели снова встретиться с ним. Зато, узнав об уходе обоза, они пылали теперь воинственным задором, бранили жатаков, хвастая и захлебываясь угрозами.

Все это войско двигалось к аулам бедняков неторопливо и грозно. Было видно, что иргизбаи действительно решились выполнить свое обещание — разметать аулы жатаков. Соилы зажаты под мышкой, малахаи со спущенными наушниками туго завязаны, как это полагается в бою. Лица у всех бледны, и на каждом можно прочесть беспощадную ненависть.

Жатаки тоже оседлали всех коней, которые у них нашлись, прислонили соилы к седлам и ожидали начала событий. Возле этих всадников, которых оказалось вчетверо меньше врагов, собралась большая пешая толпа вооруженных соилами людей. Став перед юртой Базаралы, они тоже ожидали нападения. Толпа эта совсем не походила на войско — казалось, что народ собрался на какое-то мирное сборище. Но люди смотрели на грозно надвигавшуюся конную лавину со спокойной решимостью.

За аулом, возле потравленных посевов, высился продолговатый холмик. Внезапно на нем показались вооруженные всадники. Их было не менее сотни. Появление их поразило обе готовые к бою стороны. Кто это? К кому они примкнут?

Не задерживаясь на холмике, верховые решительно повернули прямо к жатакам. И тут во всаднике, едущем впереди, люди узнали Абая.

Вся толпа бедняков с восторгом зашумела:

— Абай! И он сам приехал!

— Будь счастлив, опора моя! — крикнул Даркембай, кидаясь навстречу Абаю.

Тот остановил коня и наклонился к нему.

— Вот, Даке, я с тобой. Пусть попробуют взять нас!

Радостные крики раздавались в толпе. Иргизбаи, которые приблизились уже к аулу, невольно придержали коней. Акберды, Такежан и Исхак, ехавшие впереди, обменялись злобными восклицаниями:

— Неужели Абай?

— Вчера молчал, а сегодня вот на что решился! Такежан издали крикнул Абаю:

— Что же это будет? Два сына Кунанбая начнут воевать…

Абай не спешил с ответом. Он стегнул коня и выехал вперед. Следом за ним двинулись и приведенные им всадники и верховые жатаки, предводительствуемые Абылгазы.

Подъехав ближе к иргизбаям, Абай остановил коня и властно закричал, отчетливо выделяя каждое слово:

— Уходи прочь, не заносись! С тобой иргизбаи, а здесь бесчисленный народ! Это мой народ, мои родичи! Не позволю насильничать! Опомнись! Иначе схватимся с тобой в бою, хоть ты и сын Кунанбая!

Слова его смутили многих иргизбаев. За спиной Такежана поднялся ропот:

— Разве можно допустить такой грех? Сражаться иргизбаям между собой? Абай душу положит за жатаков! Видно, на все готов.

Первый боевой порыв иргизбаев был сломлен. Бой не мог начаться немедленно. Заметив это, Абай подъехал еще ближе. На лице его не было той ярости, с которой человек кидается в бой. Нет, это было холодное, спокойное лицо справедливого судьи, выносящего приговор.

— Э-э, иргизбаи! Вы видите этих людей? Они готовы умереть, но никогда не покорятся. Попробуйте кинуться на них — будете опозорены. Ускачете с окровавленными шапками на головах, с выпоротыми задами, с позорным клеймом на теле. Так угостит вас разгневанный народ! Отступите и пришлите сейчас же троих людей для переговоров!

Слова его были встречены глубоким молчанием. Часть иргизбаев уже поворачивала коней. За ними последовали остальные. Отъехав подальше, они начали совещаться.

Наконец к аулу выехали три всадника. Это были Исхак, Акберды и Шубар. Узнав их, Абай слез с коня. Сопровождавшие его, так же как и всадники Абылгазы, отступили назад и спешились. С Абаем остались только Даркембай, Ербол и Дармен.

Подъехавшие первыми приветствовали Абая, как младшие по возрасту, и, сойдя с коней, подошли к нему.

Он встретил их гневной усмешкой.

— «Абай не сядет на коня, не возьмет в руки соила, мужчинами, воинами рождены только мы?» — так думали вы? Ошиблись! Довели меня до того, что я кинулся в битву! Даже из гроба поднял бы меня нынче гнев, если б я услышал, до каких гнусностей вы дошли. Да и лучше было бы мне умереть раньше, чтобы не видеть такого позора. Но раз я жив, не уймусь, пока вы не возместите жатакам того, что натворили! Если есть у вас хоть капля совести, скажите вы сами, Исхак и Шубар, как решить? Не таитесь, скажите мне прямо в глаза вот тут же!

Так начались переговоры. Они затянулись до самого вечера. Абай оставался упрямым, несговорчивым и суровым. Он настаивал на своем, ни в чем не уступая.

Только под вечер было достигнуто соглашение: все тридцать задержанных жатаками коней перешли в пользу разоренных аулов.

3

Нынче утром к юрте Еркежан подскакал посыльный волостного молодой жигит Бегдалы. После смерти Оспана должность волостного временно исполнял Шаке, племянник Абая, который числился «кандидатом». Бегдалы передал Абаю несколько писем, казенный пакет и сказал, что у него есть поручение от волостного на словах. В юрте было полно народу — здесь были сыновья Абая, сама Еркежан и другие женщины. Бегдалы, окинув их взглядом, добавил, что поручение это Шаке просил передать наедине.

Абай накинул на плечи чапан, надел легкий тымак из белого каракуля и вышел вместе с Бегдалы из юрты. Там он молча поднял на жигита свои большие глаза.

— Шаке поручил мне сказать вам, Абай-ага, что вам тут есть повестка из канцелярии уездного, — начал посыльный. — Об этом уездный написал и волостному. Пишет, что вызывает вас на какой-то допрос, а волостному и старшине приказывает проследить, чтобы вы выехали вовремя. Шаке хочет вас предупредить. «Видимо, на Абая-ага есть какая-то жалоба, а начальство стоит на стороне жалобщиков», — вот что велел вам сообщить Шаке…

Абай молча повернулся и пошел в юрту.

«Молчит, ни слова не ответил. Что это он? — думал Бегдалы, глядя ему вслед. — Неужели так привык к вызовам начальства? Или делает вид, что ему все равно?»

Когда Абай вошел в юрту, Абиш успел уже просмотреть все письма.

— Вам повестка от семипалатинского уездного начальника, — сообщил он отцу. — А это письмо вам от Федора Ивановича, он и мне написал.

Упоминание о Павлове сразу изменило настроение Абая. Он улыбнулся и, видимо, повеселел, однако под впечатлением только что сказанных слов Бегдалы прежде всего протянул руку к повестке. Но, вспомнив, что оставил очки дома, попросил Абиша прочесть ее.

Абдрахман, не желая, чтобы слышали все, наклонился к отцу и негромко прочитал ему повестку.

Уездный начальник Казанцев по приказанию канцелярии губернатора вызывал Ибрагима Кунанбаева на чрезвычайный съезд представителей Семипалатинского, Усть-Каменогорского и Зайсанского уездов, который состоится пятого сентября на территории Карамолинской ярмарки. Повестка кончалась угрозой, что в случае неявки Абай будет привлечен к ответственности.

В повестке упоминалась и причина вызова: «…по делу недоимщиков Чингизской волости в качестве ответчика». С прошлого года Абай трижды давал показания по этому делу в канцелярии уездного начальника. Теперь было видно, что дело перешло в канцелярию губернатора. Возможно, им заинтересовались и власти повыше. Абай вспомнил, как при последнем разбирательстве этой весной чиновник намекал на то, что канцелярия генерал-губернатора в Омске требует выслать дело туда.

Вслед за этим Абиш начал читать отцу письмо Павлова. Федор Иванович провел лето на Иртыше, занимаясь обследованием жизни переселенцев. Он вернулся в Семипалатинск недавно, и один из его друзей в канцелярии губернатора сообщил ему, что в последнее время на Абая поступило много жалоб.

«Похоже, что и ваши степные сутяги и чиновники губернатора единодушно сошлись на том, чтобы потребовать от вас жертвоприношений не Аполлону, а богине правосудия, которые иначе именуются взятками, — писал Павлов с обычной своей шутливостью. — Мой совет вам: с самыми высокопоставленными чиновниками держитесь смело, с гордо поднятой головой. У вас есть на это право. Ваша популярность среди степного народа велика, я понял это в беседах с казахами Зайсанского и Усть-Каменогорского уездов. Я рад этому и горжусь за вас. Народ ваш с вами, а может ли человек мечтать в своей жизни о большей награде? А то обстоятельство, что жизнь есть борьба, — это мы с вами, кажется, отлично поняли…»

Слушая письмо Павлова, Абай словно освобождался от того оцепенения, которое все это время владело им. Горе, давившее его, наводило его на мрачные мысли и порой даже заставляло думать: зачем жить? Павлов своей умной и деятельной дружбой и на этот раз поддержал его. Способность Федора Ивановича глубоко и вдумчиво относиться ко всем жизненным событиям давно привлекала Абая. «Мудрость побеждает любое зло. Если будешь опираться на нее, подымешься над подлостью и злобой. Лишь тогда рассыплются в прах низкая зависть, коварные замыслы, завистливое соперничество. И тогда, превратись в крошечных муравьев, они не всползут выше твоей щиколотки», — думал Абай.

Павлов, давший размышлениям Абая новый толчок, поистине был его верным другом. Эта мысль согревала сердце Абая.

В письме Федора Ивановича к Абдрахману, которое Абиш тоже прочитал, было радостное и счастливое известие. Многолетняя преграда, стена, которую возводили жандармские канцелярии, рухнула: Павлов наконец официально женился на своей любимой Саше. Абдрахман знал из прежних бесед с Федором Ивановичем, что она была отправлена вместе с ним в ссылку из Харьковского университета, прошла множество этапов и пересыльных тюрем.

Все эти испытания не сломили ее смелого духа настоящей революционерки. Когда Саша была вместе с Федором Ивановичем в ссылке в Тобольске, они соединили свои жизни. Но Павлов, высланный в Семипалатинск, вынужден был с ней надолго расстаться.

Рассказывая сейчас о тяжелой жизни Павлова, Абиш, как бы обращаясь к своим молодым друзьям, сделал вывод, что умному, сильному духом и волей человеку никакие страдания и муки не могут помешать отстаивать свою свободу.

— А как же Федор Иванович был сослан вторично? — спросил Магаш. — Разве за один и тот же проступок можно дважды наказывать?

Абдрахман рассказал, как это произошло:

— Федор Иванович, попал в Сибирь еще до убийства Александра Второго. И когда в России стали приводить народ к присяге на верность новому царю, Александру Третьему, Федор Иванович оказался одним из тех немногих людей, которые на деле показали верность своим убеждениям. Когда от него потребовали принести присягу новому царю, он ответил: «Моя молодая жизнь проходит в ссылке, на которую обрек меня умерший царь. Если один царь подверг меня такому наказанию, как же можно думать, что я могу быть верным слугой другого царя? К чему же брать с меня клятву? Для меня и новый и старый царь — одно и то же. Лицемерно клясться в верности ненавистной мне власти я не могу. Ссыльный Павлов останется ссыльным, преступником, которому нет дела до царей».

— Молодец! Вот это ответ! — восхищенно восклицали Магаш и Какитай.

— Да, для этого нужно было иметь мужество, — продолжал Абиш. — Далеко не все находившиеся в ссылке решились на такой смелый шаг. Но так же поступил и крупный русский писатель Короленко. Он был в ссылке на Урале, а за это попал в Сибирь. Павлова же из Тобольска выслали сперва в Омск, а потом в Семипалатинск. А Саша так и осталась в Тобольске, несмотря на ее просьбу выслать и ее вместе с ним. Жандармы не признавали ее женой Федора Ивановича: ссыльные могут вступать в брак лишь с разрешения властей, а им не удалось получить его. Больше того, когда срок ссылки Саши кончился, долгое время ей не разрешали жить в Семипалатинске в качестве ссыльнопоселенки. Жандармы издевались над ней. Но теперь Федор Иванович пишет, что она добилась распоряжения из Петербурга, приехала в Семипалатинск и они наконец официально поженились…

Рассказ Абиша вызвал искреннее сочувствие всех, кто был сейчас в юрте. Молодежь оживленно обсуждала упорство и настойчивость Саши. «Неукротимый дух! Верная душа!» — слышались восклицания.

Магаш, обеспокоенный вызовом Абая к начальству, завел было разговор о поездке, но отец перебил его, снова заговорив о Павлове:

— Вот я слушаю о нем и думаю: что знают о России и о русских наши казахи, все эти уразбаи, которые преследуют меня кляузами? «Белый царь», «корпус», «уездный» — вот все, о чем они твердят! Русских они представляют себе только чиновниками, урядниками, стражниками… А кем считают они таких русских людей, как Павлов?

Лицо Абая побледнело, глаза расширились. Давно уже молодые друзья не видели его в состоянии такого подъема.

— А между тем стоят ли сами эти чванливые людишки одного лишь волоска Павлова, которого они именуют «преступником»? — продолжал он. — Благодарение создателю, что рядом с нами оказалась Россия! В ней и сила мысли, движение вперед и поистине богатое искусство. Когда наш народ, разоренный, несчастный, претерпевший «Актабан шубырынды»,[50] кинулся на север, он нашел у России защиту. Но потом жил рядом, в своей глухой степи, темный и забитый. Первым посланником его к русским, первым глашатаем был Алтынсарин. Я пошел по его пути. Мне посчастливилось встретиться с хорошими русскими людьми. На них и стал я опираться. Да и не один я. И вы, получая от русских свои знания, тоже опирались на этих людей. Они помогли нам, открыли глаза на жизнь… Но какое счастье ждет те поколения, которые сменят мое и ваше! Они пойдут к русскому соседу всеми кочевьями. Сойдется народ с народом. История повернет свой путь… Верно ведь я говорю, Абиш? — сказал он, стремительно поворачиваясь к сыну.

Абдрахман, взволнованный, молча кивнул головой. Остальные молодые люди жадно вслушивались в слова Абая, следя за ходом его мысли.

— Если сумею я быть проводником каравана, кочующего на те прекрасные жайляу, труд мой не будет напрасен! — продолжал Абай. — Даже мытарства мои будут моими успехами: быть может, по ним другие поймут, что добро отыскать не легко, что путь к нему — это путь мучений и страданий. На примере лучших русских людей вы видите это своими глазами. Чего только не пережили великие русские поэты Пушкин и Лермонтов, которые для меня были первыми русскими друзьями! А Герцен и Чернышевский?.. А рядом с нами Павлов, жизнь которого проходит в гонениях и в ссылке? Разве услышишь от него жалобу, ропот? Мужество, которого не знавали легенды, величайшее упорство проявляют русские герои! На истории их жизни надо воспитывать наше молодое поколение.

Абай замолчал, погрузившись в думы, и потом снова заговорил, медленно и негромко:

— Я-то на своем веку не увижу этого. Но время, которое ждет вас впереди, изменится необычайно. У людей будет другая жизнь, новые законы. Народ достигнет большого счастья. И это прекрасное время придет! Если я сумею положить хоть один кирпичик будущего здания, которое я уже вижу в мыслях, мечта моей жизни будет исполнена. Если ты можешь сказать, что хоть чем-нибудь помог своему народу приблизиться к счастью, можешь считать себя бессмертным. Пусть наши, мусульманские проповедники сотни лет твердят, что наступает конец мира, что близко светопреставление! Нет, близок не конец мира, а конец зла. Нам надо только суметь подготовить к этому свой народ.

Даркембай и Какитай не отрывали взгляда от Абая, ожидая, что он будет говорить еще. Но Абай замолчал. Он встряхнул свою черную шакшу, высыпал на ладонь насыбай и, положив щепотку его за губу, обвел глазами молодых людей. Те тоже молчали. На лицах их выражалось глубокое волнение. Они давно не слышали таких слов Абая, такого вдохновенного излияния дум.

— Федор Иванович разбудил вашу мысль, Абай-ага, — сказал восхищенно Какитай. — Да исполнятся все его желания!

— Ваши слова заслуживают того, чтобы сохраниться запечатленными на бумаге. Вы словно разговариваете с будущим, перекликаетесь с потомками, — проговорил Абдрахман.

Магаш и Какитай, вполне разделяя его мысль, одобрительно переглянулись. Но Абай отрицательно покачал головой.

— Не я первый их говорю, ты ведь сам знаешь, Абиш, — сказал он, проводя ладонью по раскрытой тетради, лежащей рядом с ним. — Вот здесь у Пушкина написано:

Товарищ, верь взойдет она,

Звезда пленительного счастья…

— Это верно, — возразил Абдрахман, — но у нас, казахов, не было еще ни одного человека, кто, обращаясь к будущему, высказал бы эту мысль, полную такой веры в него.

Абай не ответил, и Абдрахман, взяв в руки письмо Павлова, заговорил, обращаясь ко всем:

— Послушайте, что еще пишет Федор Иванович. Он как будто развивает эту вашу мысль, отец. — И он начал переводить на казахский слова Павлова — «Ибрагим Кунанбаевич, всякий труд, особенно ваш поэтический труд, делается во имя будущего. Ваши стихи служат будущему, где народы ждет небывало прекрасная жизнь. Это время настанет, не может того быть, чтобы оно не пришло. Никакие цепи, наказания, никакие грозные силы не будут ему преградой! Готовьте к нему свой народ, его молодежь, потому что, чем больше будут люди подготовлены к будущему, тем полнее оценят они все его блага, тем больше плодов вкусят!»

— Прекрасная мысль! Эти слова Федора Ивановича можно считать заветом настоящего революционера — борца за народ, — с глубоким чувством сказал Абай.

Он взял письмо Павлова, бережно сложил его, спрятал в карман и встал, чтобы ехать в свой аул.

Были сумерки, когда Абай спешился возле юрты Айгерим. Огня в юрте не было, никто не вышел его встречать. Он сам привязал коня и, откинув дверь, негромко окликнул:

— Айгерим, ты здесь?

Из темноты отозвался мягкий, красивый голос:

— Абай, это вы?

Тон, которым Айгерим произнесла эти слова, говорил о нежданной радости. Она спросила так, как будто короткая разлука измучила ее. И у Абая опять потеплело на сердце. Он быстро переступил порог и вошел в юрту. Айгерим встретила его у самых дверей, протянув к нему маленькие руки. Абай горячо ее обнял.

— Как я соскучился по тебе, Айгерим!.. Такие мрачные стоят дни, печальные и тяжелые. А сейчас ты произнесла мое имя так, как будто запела какую-то нежную, прекрасную песню! Свет мой, я печален и озабочен. Успокой меня, согрей своим нежным дыханием, целительница моя…

И в ответ ему донесся чуть слышный шепот, похожий на шелест тальника:

— И я стосковалась, солнце мое. И мне было тяжко.

И, как будто стыдясь своих слов, она спрятала лицо на его груди.

Со времени смерти Оспана Айгерим тоже часто приходила к Еркежан и, сидя рядом с ней, порою начинала и свой поминальный плач. Абай все еще не оправился от тяжелого горя, постигшего его. Но вместе с этой общей печалью горячее чувство, которое они питали друг к другу, как бы окрепло. Видясь теперь редко, на людях, они передавали свои сокровенные мысли друг другу движением бровей, взглядом, полуулыбкой. Их давняя большая любовь и верная крепкая дружба теперь еще больше усиливались. Всю эту неделю разлуки Айгерим провела в одиночестве, тоскуя об Абае. Теперь он возвращался домой, как в давние годы первых лет их любви.

Полное взаимное доверие и прочное счастье тех времен вернулись к ним во всей силе. И это помогло Айгерим спокойно выслушивать сплетни, ходившие в ауле.

Судьба трех вдов Оспана не давала покоя тем, кто любит влезать в чужие дела. Таким людям доставляет огромное удовольствие делать свои заключения, строить разные догадки, решать за других, как заблагорассудится. Аульные сплетники — сварливые старухи и досужие старики, которые умели распустить слух не только по аулу, но и по всему Тобыкты, — целыми днями судили и рядили о наследстве Оспана и об его овдовевших женах. То обстоятельство, что на вдов приходилось как раз три брата Оспана, усиливало их интерес к этому делу. «Три вдовы и три аменгера[51] — кто на ком женится? Вот в чем главный вопрос!» — рассуждали о них, почмокивая губами и покачивая головами, и жадно ловили все слухи и новости. И чем ближе подходил день годовщины смерти Оспана, когда судьба трех вдов должна была решиться, тем больше росло любопытство сплетников.

Эти все усиливающиеся пересуды не могли не доходить до Айгерим. Но она только посмеивалась, пропуская сплетни мимо ушей. Красивое ее лицо, до сих пор не тронутое ни одной морщинкой, оставалось спокойным. Уверенная в любви и душевной привязанности к ней Абая, она не боялась будущего, и все разговоры о его новой женитьбе никак не затрагивали ее.

И когда Айгерим, так тосковавшая об Абае, нашла в нем сейчас такой искренний отклик, это наполнило ее благодарностью. Сердцу, которое было горячим и светлым, как солнце, можно было верить. И если в словах Абая «целительница моя» звучала глубокая нежность, то в словах Айгерим «мое солнце» были вера и преклонение.

Выпустив Айгерим из своих объятий, Абай ласково попросил ее распорядиться по хозяйству:

— Айгерим, я позвал нынче Магаша, Абиша и молодежь, чтобы кое о чем поговорить без посторонних. Вели зарезать барашка, приготовить чай.

Айгерим зажгла большую лампу, придвинула к Абаю низкий стол, постелила перед ним одеяло и положила ему под локоть две белые подушки, которые она сняла со своей высокой кровати. Она собиралась уже уйти, когда Абай, поблагодарив ее, попросил:

— Дай мне Лермонтова.

Айгерим быстро нашла эту книгу среди остальных и протянула ее Абаю. Тот раскрыл ее на заложенной странице, положил перед собой и углубился в чтение.

Молодежь, появившись в юрте, внесла в нее оживление. Айгерим начала разливать чай.

Магаш был озабочен и, видимо, расстроен. Мысль о повестке Казанцева не оставляла его. Что мог означать такой вызов? «Наверно, начинается новая распря, вражда, которая лишь растравит его раны. Как уберечь от этого отца, как избавить его от лишних мучений?»

Он был совершенно уверен в том, что Абай позвал их всех к себе именно для того, чтобы поговорить о надвигающейся неприятности. Но неожиданно для него Абай заговорил совсем о другом:

— Дорогие мои, я хотел рассказать вам о предложении нашей родни. Нынче утром ко мне приезжал от Такежана и от Исхака Есиргеп. Оба за моей спиной уже договорились, теперь хотят и моего согласия…

Услышав имя своего отца рядом с именем Такежана, Какитай сильно встревожился. Неужели отец его задумал что-то такое, что может огорчить Абая? Хотя он был родным сыном Исхака, но все его слова и поступки оценивал со стороны, привыкнув глядеть на жизнь так, как его воспитал Абай. Он мало о чем разговаривал с отцом и не знал ни его дел, ни замыслов, однако тревога, что Исхак может поступить по отношению к Абаю предательски, никогда не покидала его.

Заметив, как юноша изменился в лице, Абай поспешил докончить, чтобы успокоить его:

— Я ожидал, что он заговорит опять о потраве. Думал, они снова начинают дрязги. Оказывается, сейчас они говорят о мирном деле, общем для всей нашей семьи. Такежан и Исхак собираются справить поминки по Оспану еще до зимы.

— Э-э, почему же такая спешка? — как всегда, первым отозвался Магаш. — Ведь до годовщины еще болъше трех месяцев.

— Для этой спешки у них есть причины довольно веские, — ответил Абай. — Год со дня смерти Оспана исполнится в конце ноября. К этому времени все будут уже на зимовках, — где же справлять поминки? А сейчас все аулы в сборе, нет никаких неотложных забот. Поминки можно вполне успеть справить в течение этих двух-трех недель. Потом наступит осеннее ненастье, аулы начнут откочевывать на зимовки. Вот они и говорят: «Не все ли равно — сейчас ли справлять годовые поминки, или через три месяца? Лучше сейчас, если это удобнее для всех».

Абай выжидательно обвел сидящих глазами. Все молчали, обдумывая сказанное. Наконец первым заговорил Кокпай.

— Абай-ага, мне кажется, они правы. Называть ли этот сбор асом[52] или годовыми поминками — суть одна: нужно принять множество людей. А конечно, это удобнее сделать тут, на просторе, чем в тесной зимовке. Я не вижу более подходящего времени, чем сейчас.

Абдрахман и Какитай поддержали его, и Абай поручил Кокпаю сообщить Такежану и Исхаку его согласие. Но тут вмешался Магаш. Он не был против решения отца, но присущая ему справедливость заставила его подумать о тех людях, которых оно прямо касалось.

— Решение это, конечно, правильное, — сказал он, в раздумье поглядывая на Абая. — Но не лучше ли будет обо всем дальнейшем говорить без всяких посредников, вроде Есиргепа. Мне кажется, будет правильнее обсудить вопрос на семейном совете в ауле Оспана-ага, пригласив и наших аксакалов, и всех трех вдов, и детей — Аубакира и Пакизат.

Это действительно не приходило в голову Абаю, и он охотно принял справедливый совет. Слова Магаша, который поправил его, очень ему понравились. Впрочем, то, что именно Магаш первым подумал о том, как бы не обидеть и так уже опечаленных женщин, не удивило Абая. Чуткость Магаша и его способность проникать в самую душу человека, угадывать его состояние по малейшему движению бровей были теми качествами, которые особенно любил в нем отец. И сейчас, ласково взглянув на невысокого, хрупкого юношу, он одобрительно кивнул ему.

Решив, что на этом разговор о поминках закончился, Магаш заговорил о том, что волновало его с самого утра.

— Отец, мне кажется, что стоило бы обсудить и другое событие: повестку уездного. — Он посмотрел на Абиша, как бы ища его поддержки, и закончил — Может быть, поговорим об этом сейчас?

Абдрахман поддержал его, сказав, что и он не может понять, почему отец так спокоен.

— Может быть, вы уже пришли к какому-нибудь решению, отец? — И он выжидательно поднял глаза на Абая.

Тот сразу же ответил спокойно и решительно:

— А о чем же советоваться, что обсуждать? Письмо Федора Ивановича показывает, что ехать надо. Поеду, встречусь с начальством, узнаю, в чем меня обвиняют. Если можно будет, — встречусь с самими клеветниками. Решать тут нечего, надо ехать.

Услышав это, Магаш просветлел. Тревога, которая мучила его, исчезла при этих словах Абая. И остальные молодые люди, молча переглянувшись, тоже внутренне одобрили спокойную твердость Абая.

Из его слов было понятно, что он решился встретить опасность лицом к лицу и что и на этот раз он готовился выйти в схватку один, привыкнув к своему одиночеству. Видимо, предстоящая схватка, которая молодым людям казалась такой опасной, самого Абая не пугала и не тревожила. Он предпочел даже и не говорить о ней с неокрепшей еще молодежью.

Высказав свое решение, Абай сделал неожиданный вывод:

— Пожалуй, поминки по Оспану лучше будет справить до поездки в Кара-Мола. Ведь до этого целый месяц.

Абай, видимо, не хотел высказываться откровенно, и каждый понял его слова по-своему. Ближе других к правде был Дармен, который подумал, что Абай до поездки на допрос к начальству хотел сделать так, чтобы у Такежана не было никаких поводов к новой вражде.

На другой день в Большой юрте Оспана собралась его ближайшая родня — все три его вдовы, приемные дети — Аубакир и Пакизат, братья — Такежан, Абай, Исхак. Из племянников Оспана старшие пригласили только Абдрахмана.

После встречи в ауле жатаков Абай сегодня впервые увиделся с братьями. Но сейчас они как будто вовсе забыли о том событии. Ни выражением лица, ни своим поведением они и не напоминали о вражде, возникшей между ними и Абаем. Но чем тщательнее скрывали они свои чувства, тем недоверчивее смотрел на них Абай и тем яснее становилось ему, что они таят какие-то замыслы. Однако он старался не подавать и вида, что понимает это. «Разве бывали они когда-нибудь искренними?» — подумал он и вспомнил Оспана. Любил ли тот или ненавидел, он открывал свои чувства. А с этими своими братьями Абай был как будто среди чужих. Но делать нечего: нужно обсуждать вместе с ними все, что касается памяти Оспана. Абай хотел только одного: решать все вопросы без споров, молча соглашаясь с ними.

Обычай устраивать в первую годовщину смерти пышный и торжественный ас за последнее время в этих краях постепенно исчезал. Даже не было аса в память Кунанбая. И хотя многие и осуждали за это его сыновей, однако сами тоже ни разу не созывали людей на ас в память своих умерших родственников.

Такежан, который в своих тайных целях всячески старался возможно скорее справить поминки по Оспану, лучше других знал, что аса никакого не будет. Однако, для того чтобы оправдаться перед невестками и в будущем избавиться от обвинений, что об асе даже не вспомнили, он долго объяснял, почему нужно решиться на скромные годовые поминки, а не на ас: на такое большое торжество гостей приглашать надо за полгода, зимой же справлять большой ас невозможно — значит, его следует отложить на весну. Таким образом все пришли к решению устроить не многолюдный ас, а годовые поминки и назначить их через три недели.

Тут же было установлено и число приглашаемых и количество скота на угощение.

Гостей предполагалось созвать много. По словам Такежана и Исхака, все иргизбаи были так или иначе обязаны Оспану и теперь охотно примут участие в расходах на поминки. Было уже договорено, сколько скота дает каждый аул.

Абай и вдовы Оспана не возражали против этого. Однако Абдрахман не смог промолчать.

— Чем же тогда эти поминки будут отличаться от аса? — задал он вопрос. — И в том и в другом случае соберутся не одни только родные. Наедет множество людей, скучающих от безделья. Что для них память об Оспане-ага? Они приедут сытно поесть, поглазеть на байгу, на состязание в борьбе. Для них это не поминки, а развлечение, они и не будут думать об умершем, чтить его дух, вспоминать его дела. Может быть, из ста только один подумает об этом. А скота на них уйдет множество. Так не лучше ли как-нибудь иначе использовать этот скот? С большей пользой, чем на угощение бездельников…

Слова Абдрахмана не удивили Такежана. Он снисходительно улыбнулся, как бы прощая то, что, воспитываясь у русских, племянник перестал понимать родные обычаи.

— Э, милый мой, при таких обстоятельствах расход скота вполне уместен! Уж если где проявлять щедрость, так на поминках. Это и предки наши делали, это и шариат поощряет.

— В шариате говорится, что на поминки приглашают нищих, нуждающихся, — возразил Абиш. — Что же понуждает нас поить кумысом и кормить мясом сытых людей, которые любят повеселиться? Не лучше ли весь этот скот, который вы выделяете на поминки, раздать тем, кто рядом с нами голодает? Вот так мы действительно почтим память умершего, люди с благодарностью о нем вспомнят. И такое поминовение — не пустое бахвальство, не честолюбие, а добро.

— Ну и кому же, по-твоему, раздать этот скот? — спросил Абай лишь для того, чтобы и другие поняли справедливость необычной мысли Абиша.

— Как кому? Разве мало вокруг людей, которых извела нужда? Почему не раздать этот скот хотя бы жатакам Ералы, поддержать их разоренное хозяйство? Если говорить правду, так и сами они, и отцы, и матери их долгое время работали на нас, были пастухами, слугами, табунщиками нашего аула. Разве нет у них права на долю этого скота, хотя бы в награду за давний труд? По-моему, нет ничего плохого в том, что такие уважаемые люди, как вы, воспользуются удобным случаем, чтобы помочь оборванным, измученным и голодным.

Абдрахман говорил волнуясь, искренне, и слова его неожиданно для него самого были красноречивы. Абая поразило и другое: в речи сына он услышал голос нового поколения.

Но для его братьев слова Абдрахмана звучали странно. Такежан, не собираясь спорить с «русским воспитанником», ответил, неодобрительно усмехнувшись:

— А что ты беспокоишься об этих жатаках, Абдрахман? Если поискать бедняков, то их найдешь и в наших аулах. О них мы подумаем, это всегда делается. — И он взглянул на Исхака, ожидая его поддержки.

Тот ограничился также коротким замечанием:

— На милостыню будет выделено нужное количество скота. Незачем об этом сейчас говорить.

Абай ничем не отозвался на слова сына. Но когда, договорившись обо всем, родичи стали расходиться и Абай пошел вместе с Абдрахманом в свой аул, он обнял его.

— Мне понравилось то, что ты сказал, Абиш, — начал он. — Твои слова о бедняках жатаках — слова правильные. Но скажи мне: что тебе внушило эти мысли? То ли, что ты прочел в книгах, или действительное положение наших жатаков?

— И то и другое, отец. То, что я читал в книгах, совпало с тем, что видел у жатаков.

— А ты был у них? И Даркембая видел?

— Видел и говорил с ним. Да я и без него знаю, как живут жатаки, я часто захожу к ним в юрты.

— Хорошо делаешь, мой Абиш! А с Даркембаем говори почаще. Многое из того, что мы с тобой узнали из книг, он узнал из самой жизни. Он и горькое пробовал и тяжелое таскал — вот откуда его знания. Голова у него умная, опыт большой. Говоришь с ним — и слышишь голос народа.

Абай помолчал и потом с горечью продолжал:

— Предположим, мы выделим какое-то количество скота и в память Оспана раздадим жатакам. Конечно, это было бы гораздо полезнее, чем угощать любителей повеселиться, о которых ты говорил: все-таки каждая такая бедная семья проживет некоторое время не голодая. Но как они будут жить остальное время? И что делать с нуждой множества тех семей, которым мы не сможем дать даже и овцы? Ведь наша помощь будет крупинкой, которой не накормишь всех голодных. Хорошо, что ты подумал о нищих, разоренных людях. Но не видишь ли ты другого способа, как помочь огромной массе народа? — И Абай пристально посмотрел на сына.

— Я ведь еще не закончил учиться… — ответил Абиш, не успев собраться с мыслями.

— Конечно. Но скоро закончишь! — перебил Абай. — И я говорю не об одном тебе: ведь есть и другие молодые люди из наших казахов, кто уже закончил учебу. Я слышал, начали появляться образованные люди, вышедшие из Каркаралы, Омска, Акмолинска, и жигиты Малого Жуза — из Оренбурга, Троицка. Вы, как перелетные птицы, несете с собой весть о новой эпохе. И должны вы подумать о своем народе, о тяжелой его доле сейчас, о будущности его? Вот о чем надо спросить всех вас, молодых казахов, получивших русское образование!

— Не всех, отец, — возразил Абдрахман. — Множество из этих жигитов, получив образование, перестает учиться дальше…

— Это верно, — снова перебил Абай. — Не только перестают, но, став толмачами, забывают и то, чему их учили. Многие из них самое большее — могут стать ловкими чиновниками. Но, пожалуй, лучше вовсе ничему не учиться, чем сделаться такими мастерами кляузы и взятки, каких высмеивал Салтыков-Щедрин.

— Узнаю ваши слова, — улыбнулся Абиш. — Ведь об этом вы писали в стихотворении «В интернате»? Оно очень нравится многим нашим казахам, которые учатся в русских школах. Мне рассказывали об этом и в Омске и в Семипалатинске.

— Ну вот, если и они и ты сам понимаете мои мысли, какой же дадите ответ на мой вопрос?

— Ответ может быть только один, — с уверенностью сказал Абиш. — Кончим учиться — будем работать на пользу своему народу.

— А где работать? В канцелярии уездного? В суде? Кто же будет искать новые пути и указывать их своему народу? Есть ли среди вас такие, которые, как русские мыслители, думают о народе и живут только для него?

— Еще нет, отец. Для этого нет у нашей молодежи достаточных знаний.

— Да, ты прав, таких образованных казахов мы еще не видим. Если я окажусь отцом, у которого вырастут такие сыновья, не будет для меня большей радости.

— В нашем поколении и я не вижу таких, — сказал Абдрахман. — Но были два передовых и образованных человека из наших казахов. Они действительно могли помочь народу.

— О ком ты говоришь?

— Один из них — Чокан Валиханов, который умер совсем молодым двадцать пять лет назад. А второй — Ибрай Алтынсарин из-под Оренбурга.

Абай слышал об Алтынсарине, но о Чокане Валиханове он не знал, и Абиш долго рассказывал о нем, приводя восторженные отзывы многих выдающихся русских сибирских деятелей.

— Я не мог достать его трудов: они не напечатаны, — говорил Абиш. — Но от многих людей, которые его знали, я слышал, что этот человек оставил хорошее наследство казахскому народу. А Ибрай Алтынсарин оставил не только книги. Он обучал казахскую молодежь в открытой им русско-киргизской школе, по его примеру такие школы открыли и другие. Эти люди действительно отдали народу свои знания, посвятили всю жизнь благородной цели!

— Конечно, прекрасный пример… — задумчиво сказал Абай. — Если все наши казахи, которые учатся в городах, вернутся в аулы, в степь — это было бы началом огромного и нужного дела.

Абдрахман сказал вдруг, решившись:

— Если хотите, отец, я скажу вам, как я хотел бы построить свое будущее.

Абай молча поднял на него глаза.

Абиш заговорил о том, как тяготит его военное училище. Вынужденный поступить в него помимо своей воли, он и не предполагал, как жестока система воспитания в военно-учебных заведениях. Они готовят лишь слепую, бездушную силу для защиты царского трона, в стены училища не проникает ни одна светлая мысль о народе, всякая критическая мысль здесь душится. Вот почему Абиш и мечтает избавиться от военной службы сразу же после производства в офицеры.

— Я думаю, — говорил Абиш, — как мне вернуться в наш край, сюда, в Ералы, в Акшокы. Как-то Даркембай сказал мне: «Не уезжай опять далеко, спрятав свои знания за пазуху. Просвети свой народ. Сделай наших детей такими же, как ты сам, обучи их по-русски». И, мне кажется, это слова не только Даркембая. И сегодняшний день и будущее требуют от меня этого. Когда я предлагал аксакалам иначе использовать скот, выделенный на поминки Оспан-ага, я не мог сказать всего, что думал. А думал я о том, что на такие средства, которые будут выброшены на поминальный пир, можно было бы построить школу. Что скажете об этом?

Абай привлек к себе сына.

— Чем же кроме благодарности, я могу ответить тебе, мой Абиш? — растроганно сказал он. — Пусть теперь и ученье твое и все твои мысли ведут тебя к этой цели. Если наступит такой день, когда осуществится твоя мечта, ты оправдаешь перед народом не только свою жизнь, но и вернешь ему долг своего отца, — закончил он дрогнувшим голосом.

Слова отца сильно взволновали Абиша. Он гордился тем, что в душе его отца, не ослабевая, жила великая забота о народе.

Взволнован был и Абай. Он слушал сына с глубоким удовлетворением. Еще в прошлом году Абай увидел, что его сын близок к передовым идеям лучших людей России. И теперь он начал расспрашивать Абиша, каким же образом тот пришел к своим вольнолюбивым взглядам, несмотря на то, что военная школа в самом зародыше губит мысли о справедливости и свободе. Кто сейчас заменил собой в новом русском поколении Герцена и Чернышевского, есть ли у них последователи и как они борются за счастье народа? Встречается ли с ними Абиш? Откуда у него появились новые мысли?

Отвечая на вопросы, юноша с благодарностью вспомнил Павлова. В Петербурге Абиш нашел его старых друзей и родных, сблизился с ними. Все новое, лучшее, что появилось в России, почерпнуто им именно из этой среды. Друзья Павлова далеко шагнули вперед. Революционное движение обновилось, все идет сейчас по-новому. Борьбу против царизма взяло в свои руки сильное, молодое, упорное и смелое поколение. Революционеры опираются теперь на несметный трудовой люд, на рабочих русских фабрик и заводов. Новое, революционное, учение, озаряющее путь в будущее, распространяется в народе все шире, ряды борцов множатся с каждым днем, крылья их крепнут ото дня ко дню.

Абиш рассказал, что сам он не знаком с руководителями этого нового движения, а знает лишь тех, кто распространяет их наставления и указания, но он жадно читает их книги, призывы, обращения к народу, тайно распространяемые среди передовой молодежи.

— Теперь борьба стала совсем иной, — закончил Абиш. — Новый путь ведет вдаль, к высокой цели. И она будет достигнута, потому что на борьбу выходит великая сила неисчислимого народа, которому суждено владеть будущим. И он не обманывается пустой надеждой, будто убийством одного царя можно чего-нибудь добиться. Нет, эти люди хотят вырвать с корнями старые порядки. Только так можно добиться свободы и равенства всех угнетенных, всех бесправных нынче народов.

Теперь Абай в свою очередь с гордостью смотрел на сына, открывшего ему то великое новое, что происходило в жизни.

— Абиш мой, ты для меня — вестник новых времен! Слушая тебя, я вижу зарю нового мира. Я всегда чувствовал себя беспомощным, бессильным поводырем, который заблудился во мраке. Как мог я вывести к свету свой народ, обреченный на несчастье! Какое благо, что ты видишь перед собой путеводный свет! И если ты слил свои мысли с новыми людьми, иди, не оглядываясь, не раскаиваясь, иди только этим путем!

Они уже подходили к аулу. Абай, помолчав, вдруг решительно сказал:

— О школе думать еще рано, но другое твое предложение осуществить можно. Завтра я поговорю об этом. Когда будет выделен скот на поминки, распределять его будем мы все вместе — я, Такежан и Исхак. Думаю, мне удастся заставить их выделить часть скота для жатаков.

Абдрахман ничего не ответил. Он вдруг замедлил шаги и отстал от Абая, и тот, обернувшись, увидел, что юноша стоит держась за грудь. Отец подошел к нему и заботливо спросил, что с ним.

Абдрахман справился с болью и успокоил его:

— Ничего, отец. Закололо в груди… Наверно, продуло, ночью был легко укрыт…

Он ни слова не сказал отцу о том, каким грозным признаком был его сухой кашель. За все лето у него ни разу не было приступа, и объяснение сына вполне успокоило Абая.

4

Прошла неделя. Как-то вечером к Дармену приехал Утегельды и сказал, что ему нужно серьезно поговорить с Абдрахманом.

Такого поручения ему никто не давал, но он сам хорошо видел, что неопределенность мучает Магрифу и что все старшие в ауле тоже сильно озабочены. На сватовство с ними всегда охотно шли самые знатные и богатые казахи, и в этом году из дальних родов уже дважды приезжали сватать Магрифу. Но еще осенью Дильда тайно присылала сказать своей племяннице Турай, а через нее — матери Магрифы: «Пусть о других женихах не думают. Если бог позволит, у меня нет другого желания, как видеть счастье Абиша и Магрифы. Прошу терпеливо ждать, когда все решится». Сватам пришлось отказать.

Всю зиму никаких новостей больше не было. Магрифа была как бы связана без пут. Весной, когда траур по Оспану не давал возможности и думать о сватовстве, родные Магрифы вполне понимали, что нужно ждать еще. Но когда Абиш приехал домой, а Магрифа не получила ни слова привета, в ауле заволновались. И старшие и молодые ее родственники тревожно обсуждали создавшееся положение.

Утегельды прекрасно понимал все. Он знал также и то, почему Магрифа ничем не выражала своего беспокойства, — он был одним из немногих, кто знал о письме, полученном девушкой от Абиша зимой.

Беседуя как-то с Магашем о Магрифе, Дармен и Утегельды попросили его, как брата, написать о ней Абишу.

Из Петербурга пришло письмо Абдрахмана. Он отвечал не только Магашу, но через него обращался и к Магрифе с учтивыми и сдержанными словами. Дармен тотчас же вызвал Утегельды, и Магаш поручил ему передать письмо девушке.

Но жигит тут же начал шутливо возражать:

— Что хотите, а я не могу быть простым посыльным! Где это видано, чтобы наперсница невесты не была посвящена в тайну?

И он тут же превратился в разбитную и хитрую молодую женге, хлопочущую о подружке.

— Что это такое? Как вы скрываете такие дела от женге?.. — затрещал он. — Прочтите письмо сперва мне, тогда я уж, может быть, соглашусь отвезти его моей красавице!..

Так, балагуря и шутя, уморительно изображая обиженную женге, он все-таки добился того, что письмо было ему прочитано. Но оно принесло ему сильное разочарование. Он ждал, что там будет сказано что-нибудь вроде того, что Абиш собирается жениться на Магрифе, что просит ее дать ему слово ждать его. Но в письме было только написано: «Благородная моя сверстница, я не забыл вас. Сердце мое полно уважения и почтения к вам. Пусть мой привет выразит вам это».

С такой тонкой учтивостью Утегельды никогда не приходилось иметь дело, и он даже растерялся.

— О чем этот ваш русский тюре[53] пишет? Почему бог не внушил ему настоящих слов: «Я жажду тебя видеть… я люблю тебя… скоро пришлю свата, дай мне слово быть моей верной супругой»? Скажи он вот так прямо, разве кто-нибудь обвинил бы его? А теперь что такое? Опять ни то ни се! Снова всякие волнения в ауле! — Утегельды скорчил обиженную гримасу, и заговорил плаксивым голосом, хватаясь за голову и изображая отчаяние: — С чем же я вернусь? Что мне ответить нашим байбише? Говорить, что женится? Или же сказать, что пока что только кланяется, а свататься не хочет?

Но все-таки он отвез Магрифе это письмо и был поражен тем, как оно обрадовало ее. Девушка словно ожила. То и дело раздавался ее негромкий смех, которого он давно не слышал. Магрифа не расставалась с тетрадью стихов Абая, и теперь она часто напевала своим тихим мягким голосом те из них, в которых говорилось о волнении молодого сердца. Особенно нравилось ей письмо Татьяны, в котором, казалось, были выражены ее собственные чувства. Порой, проходя близко от Утегельды, она пела так, чтобы он услышал:

Когда б надежду я имела,

Хоть редко, хоть в неделю раз,

В деревне нашей видеть вас…

Наблюдая все это, Утегельды внутренне негодовал на Абиша. Ничтожный призрак надежды, мелькнувшей в его письме, девушка приняла со всей радостью чистого, доверчивого сердца. Прямой и решительный жигит не мог простить Абишу его непонятной уклончивости и начал уже сам волноваться и терять терпение.

И теперь он, ни с кем не советуясь, приехал к Дармену и сказал ему, что намерен поговорить с Абдрахманом с глазу на глаз и объяснить, как мучается девушка. Дармен оставил его ночевать в своей юрте, а сам пошел вечером к Абишу и откровенно высказал ему все, что думал.

Абдрахман и на этот раз уклонился от всяких объяснений, сказав только:

— Из слов Утегельды я понимаю, что Магрифа по-прежнему верит мне и ждет моего слова. Но я ничего не могу передать ей через него. У меня есть тайна, которую я могу открыть только ей самой. Я хочу говорить с ней наедине. Если я чем-нибудь обидел ее, я же сам и должен просить прощения. Поэтому прошу тебя и Утегельды: устройте так, чтобы я мог повидаться с Магрифой без посторонних.

Утегельды отлично понял всю необходимость такой встречи и, вернувшись к себе в аул, передал это пожелание Абиша Магрифе, посоветовавшись сперва с женой Мусабая. Было решено устроить свидание через три дня. Жигит снова прискакал в аул Абая, сговорился с Дарменом о месте и часе встречи и вернулся обратно.

На третий день к вечеру, когда скот возвращался с пастбища, Абдрахман и Дармен незаметно выехали из аула, никому не сказав о предстоящем свидании. К татарскому аулу они подъезжали уже поздно вечером. На каменистой тропе, где их должен был встретить Утегельды, они остановили коней.

Луна светила ярко, низкорослые осенние травы тускло белели в ее лучах. Стояла полная тишина.

Утегельды не впервые был посредником между влюбленными, он даже любил говорить, что это — его основное занятие. Готовясь к поездке, он надел серый чекмень и сел на светло-саврасого коня. В мглистой лунной ночи ни Абдрахман, ни Дармен так и не смогли его заметить. Лишь по топоту копыт Дармен понял, что ловкий жигит, сохранявший тайну этой поездки, уже приближается. Увидел он его лишь когда тот подъехал вплотную.

— Э-э, Утегельды, из земли ты вырос, что ли? — воскликнул юноша. — Уж не колдун ли ты? Мы тебя и не видели!

Утегельды, довольный, рассмеялся и, упав головой на гриву коня, лукаво посмотрел снизу на обоих жигитов.

— Ну, разве я не гожусь в конокрады? Про такого, как я, говорят: «И собака не почует!» Вот въеду сейчас в аул — и ни один самый чуткий пес не тявкнет! — похвастал он и повернул коня. — Ну, сейчас самое время: в ауле почти все улеглись. Поезжайте оба потихоньку прямо на ту желтую звезду. — Он показал плетью на запад. — А еще лучше — вон на ту гору.

На светлом горизонте жигиты ясно различили высокую гору Догалан. Над ее черными зубцами, вырисовывавшимися четкой ломаной линией на бледном небе, мглистом в лунном свете, сияла желтая звезда. Прямо под ней выделялась одинокая скала. На нее и показал Утегельды.

— Поезжайте на эту скалу, двигайтесь не торопясь, шагом. Чуть заметите аул, остановитесь. Я поскачу вперед, предупрежу, что вы здесь, и снова встречу там вас.

И он умчался, сразу растворившись в неверном лунном свете.

Час спустя жигиты привязали своих коней по-калмыцки друг к другу и пошли в аул, уже спящий крепким сном. Утегельды вел их в Гостиную юрту возле юрты Мусабая, где, как оказалось, было безопаснее всего устроить свидание.

На круглом столе в юрте горела большая лампа, на почетном месте разостлано корпе. Магрифа и жена Мусабая стояли справа от входа возле кровати с костяными украшениями.

Девушка была в черном бешмете из толстого шелка, наброшенном на яркий камзол, на голове ее была шапочка с золотым шитьем и с украшениями из перьев филина, та же, в которой Абдрахман увидел девушку в прошлом году.

От волнения Магрифа была бледна. Нежная мягкость черт лица, свойственная первой поре юности, уже исчезла, точеные линии теперь приобрели совершенную законченность. Большие серые глаза по-прежнему притягивали к себе взгляд. Они как бы излучали свет и выражали все душевные движения девушки.

Абдрахман, подойдя к ней, поздоровался по-городскому, за руку. Магрифа мгновенно залилась горячей волной румянца. Жена Мусабая приходилась Абишу старшей родственницей, и поэтому он приветствовал ее свободно и тепло, называя просто по имени.

В юрте кипел самовар, женге тут же начала угощать чаем Абдрахмана и его друзей, расспрашивая, надолго ли Абиш приехал домой, сколько ему остается учиться, где он думает жить после. Вызывая друзей на шутки и ведя непринужденную беседу, она быстро сгладила первую неловкость встречи. Кроме того, умная и ловкая женге, пользуясь своим правом старшей родственницы, расспрашивала молодого жигита о нем самом, задавая именно такие вопросы, которые могли интересовать Магрифу. Напившись чаю, Утегельды и Дармен пошли к коням под предлогом, что надо позаботиться о них. Женге, убрав посуду, тоже вышла из юрты.

Оставшись наедине с Магрифой, Абдрахман повернулся к ней.

— Я просил о встрече с вами, Магрифа, и благодарен вам, что вы согласились, — начал он чуть дрогнувшим голосом.

Магрифа не ответила. Она лишь со смущенной улыбкой бросила на Абиша быстрый взгляд. С чем он пришел? Что она услышит от него сегодня? Никогда еще не приходилось ей беседовать наедине ни с одним жигитом. А этот — и по своему поведению все это время и по таинственности сегодняшнего разговора — был для нее совершенной загадкой. Юная красавица смутилась и опустила глаза.

— Магрифа, дорогая… Прежде всего я должен просить вас о прощении…

В начале этой необычной ночной беседы Магрифа не проронила ни слова. Все, что могла бы она ответить юноше, которого жадно слушала, теснилось в ее мыслях и чувствах, но в слова не облекалось. И когда он заговорил о прощении, она подумала, как бы отвечая ему: «Почему о прощении? Чем он передо мной виноват?»

Абдрахман продолжал:

— Я прошу простить мне, что я так долго заставил вас ждать каких-нибудь моих слов, какого-нибудь решения…

«Разве я когда-нибудь обвиняла вас?»—снова в душе ответила ему девушка, с участием видя, как вспыхнуло его лицо. Что-то мучило его: он нахмурился. Сердце Магрифы дрогнуло.

— И за нынешний разговор вынужден просить прощения. Если бы сегодня я пришел к вам с каким-то твердым решением, можно было сказать: «Доброе дело никогда не опаздывает». Но я пришел к вам с моей правдой. Я принес вам свою тайну, которую ношу в себе, не делясь ею ни с братьями, ни даже с отцом. Правда моя в том, что и сегодня у меня по-прежнему нет никакого решения…

«Зачем же вы тогда приехали?» — закричало все внутри девушки. Кровь снова отхлынула у нее от лица. Она стиснула руки так, что побелели суставы ее точеных пальцев.

— Вы услышали правду, Магрифа. Теперь выслушайте и мою тайну. Едва увидев вас в прошлом году, я тотчас понял, как достойны вы уважения. Вы для меня лучшее, что есть на свете. Если бы не одно непреодолимое препятствие, я не колебался бы ни на миг. Но сейчас я не могу позволить себе решить наше будущее. Не могу и сказать нашим родителям, чтобы они начинали сватовство. Вот я и пришел к вам, чтобы сказать об этой моей тайне.

Сердце Магрифы сжалось от ревнивого подозрения. Теперь она, не опуская глаз, смотрела на него взглядом, полным горького укора. «Я знаю эту тайну: это ваша возлюбленная! Как же может быть иначе? Разве я одна на свете могла полюбить такого жигита? А препятствие — это слово, которое вы дали ей. Если так, зачем же мне все это открывать?» Эти мысли жгли ее душу. Но лицо юноши кажется таким искренним, таким чистым. Оно то вспыхивает, то бледнеет.

— И тайна моя и препятствие — это одно и то же, Магрифа.

«Конечно, одно и то же! Другая девушка. Сейчас я услышу ее имя… Пусть говорит, пусть кончает все скорей!»

Она замерла, сердце ее как бы остановилось, по всему телу пробежал холод. Она не могла больше смотреть на Абиша и снова опустила глаза, ожидая его слов, как удара ножом.

— То, о чем я говорю, Магрифа, — это моя болезнь.

— Болезнь? — вскрикнула девушка.

Лицо ее снова порозовело, глаза заблестели. Она не знала, пугаться ли ей или радоваться. Совсем другого ожидала она и теперь обвиняла себя: как могла она подумать, что Абиш изменил ей. А болезнь — какое же это препятствне? Она внутренне торопила юношу: скорей, скорей, надо узнать, что ему грозит! И взгляд, который она не сводила теперь с Абдрахмана, был полон любви и тепла.

Он негромко продолжал:

— Петербургские доктора говорят, что легкие мои поражены опасной болезнью. Это чахотка. Один известный врач сказал, что о свадьбе мне думать пока что нельзя. Он говорил, что своей болезнью я могу убить жену… Вот, Магрифа, и мое препятствие и моя тайна… Вот моя правда. Вот все, что я хотел сказать вам и с этим уехать.

— Только это? Только это, Абиш? — спросила девушка.

С какой радостью, доверчивостью и нежностью она вскинула на Абиша глаза! Юноша с изумлением смотрел на нее, не понимая ее вопроса.

— Болезнь, опасная болезнь, — повторил он. — Поймите, каким препятствием встала она между нами… Для меня это — тяжелое горе…

Решение возникло в душе Магрифы мгновенно. Но эта быстрота не была легкомыслием. Магрифа не узнавала себя самое — так твердо, непоколебимо, безвозвратно сердце ее сказало свое слово. Это решение было решением сердца, а не ума. Если бы девушка стала раздумывать, взвешивать, она никогда не позволила бы себе такого искреннего порыва.

— Ваша болезнь, Абиш, — и для меня горе. Но если препятствие только в этом, что вы опасаетесь за меня, хотите сберечь меня, — значит, и решать надо мне самой. Вот мое слово: лишь тогда жизнь будет настоящей жизнью, когда она сольется с жизнью любимого, когда все радости и печали ты разделишь вместе с ним. Если я правильно понимаю стихи Абая-ага, так говорит о любви и он. Я не понимаю ни любви, ни дружбы, если они отступают перед жертвой. Сама я хочу лишь одного: прожить жизнь вместе с вами, делить с вами все, чем бы ни угрожала вам судьба.

— Магрифа, милая… Неужели вы так любите меня?

— Для моей любви ничего не страшно.

— Дорогая Магрифа, думаете ли вы, что говорите? Ведь смертью грозит моя судьба — и мне и вам… Если болезнь моя вспыхнет, она убьет и вас!

— И только?

— Как — только?.. Ведь между нами — смерть.

— Если умрете вы, зачем же жить мне? Тогда смерть будет для меня счастьем… — Крупные слезы покатились из глаз девушки.

Девушка протянула жигиту свои прекрасные руки. Препятствие, сдерживавшее влюбленных, рухнуло, и чувство прорвалось, затопило их своим неудержимо хлынувшим светлым потоком.

Юноша не заметил и сам, как очутилась Магрифа в его объятиях. Он понял это лишь тогда, когда почувствовал на губах соленый вкус слез, заливших ее лицо.

Когда наступило время расставаться, Абдрахман сказал:

— Поминки по Оспану-ага родные решили справить раньше, не ожидая годовщины. Сразу после них в ваш аул приедут для сватовства. Магрифа, вы моя возлюбленная, дороже вас у меня нет никого в жизни.

Магрифа и не догадывалась прежде, что можно быть такой счастливой.

Под утро жигиты сели на коней, и Утегельды без шума вывел их из аула. Абиш обратился к друзьям:

— Всей душой благодарю вас обоих. Я счастлив! Мы все решили. Сразу после поминок наш аул начнет сватовство.

— Э-э, дорогой зятек, вот это настоящие слова, да будут они благословенны! — воскликнул Утегельды. И все-таки не удержался от шутливого укора — Давно бы тебе взяться за дело по-нашему, по-степному.

Дармен всей душой разделял его радость. Утегельды, попрощавшись, весело поскакал обратно в аул, куда Абиш в следующий раз вернется уже зятем.

В КОЛЬЦЕ

1

На поминки Оспана съехалось так много гостей, что долина Ералы оказалась уже непригодной для стоянки: вся трава вокруг была истоптана. Поэтому сразу после поминок аулы кунанбаевцев ушли на другие места.

При этой перекочевке аул Исхака по настоянию его жены, своевольной, надменной Манике, верховодившей и своим мужем и всем аулом, расположился неподалеку от аула Такежана. Это отвечало и желанию самого Такежана: вопрос о дележе наследства Оспана требовал частых встреч и обсуждений, и братьям нужно было теперь держаться рядом. Именно поэтому он пригласил семью брата и людей его аула на «ерулик».[54]

После обеда братья ушли в Гостиную юрту для переговоров, а Манике, окинув сидевших в Большой юрте мужчин и женщин ее аула властным взглядом, приказала:

— Ну что же, погостили в доме Такежана-ага — пора и к себе в аул! Попили, поели — надо и на скот свой взглянуть!

Выпроводив так своих людей, Манике осталась в Большой юрте наедине с Каражан.

Худая, высохшая, суровая, Каражан казалась теперь почти старухой. Манике — полная, красивая черноволосая женщина с крупными чертами лица — наоборот, выглядела еще очень молодо. Ее умные карие глаза, готовые вспыхнуть опасным огоньком издевки, чуть вздернутый прямой нос, капризные губы, то и дело складывающиеся в насмешливую улыбку, резко выделяли ее среди других. Держалась она надменно, гордо, одевалась со вкусом на зависть всем остальным. Первая в этих краях она начала подсинивать кимешек и подкрахмаливать платья, которые трещали и шумели на ней при каждом ее движении.

Она была второй женой Исхака. Первая умерла, оставив двух сыновей — Какитая и Ахмедбека. Несмотря на то, что у Манике была только одна дочь, она сумела полностью забрать власть над своим мужем и стала его единственной и любимой женой, не позволяя ему и думать о новом браке. Красноречивая, решительная, избалованная, она делала все, что взбредет в голову. Так в последние годы она придумала себе новое развлечение, неизвестное в степи: она начала курить опиум, приучив к этому самого Исхака.

Привыкнув вертеть своим мужем, она и с другими обращалась так же, как со своими домашними, — надменно, властно. Не только женщины, но и многие мужчины Иргизбая отступали перед ней. Лишь Оспан, видя, какой самовлюбленной и заносчивой становится его женге, незадолго до смерти жестоко высмеял ее.

— Вполне понятно, что ты верховодишь не только мужем, но и всем аулом, — сказал он как бы в шутку. — И по уму и по красоте ты выше всякого земного существа! Где уж нам, неуклюжим казахам и глупым их бабам, равняться с тобой, — все мы знаем, что ты не простая смертная, а неземное воздушное существо, ангел, сошедший к нам с неба. Только открой нам, милая, свою тайну. Скажи, пожалуйста: когда ты ходишь на двор, остаются там какие-нибудь следы, как от нас, грешных, или отбросы выходят из твоего желудка благовонным ароматом, как у гурий?

Эта злая насмешка над самоуверенной Манике быстро полетела по степи. Много людей, потерпевших обиду от высокомерной и властной Манике, повторяли эти слова, на свой лад переделывая и приукрашивая их. Однако и это не уменьшило надменности Манике. Злопамятная красавица, сама умеющая владеть острым оружием насмешки, не отомстила Оспану только потому, что тот вскоре неожиданно умер.

Манике вообще умела постоять за себя. Лишь один человек был ей не по зубам — Абай. Будь он младшим братом ее мужа, она, может быть, сумела бы справиться и с ним. Но Абай был старше Исхака, и Манике поневоле должна была, хотя бы внешне, относиться к нему с уважением. В душе же она сильно недолюбливала Абая. За его спиной она зло издевалась над тем, что делается в ауле Абая, над его сыновьями, пристрастившимися ко всему русскому. Она не стеснялась высмеивать Абая не только перед Исхаком, но даже и перед пастухами и слугами своего аула. Стихи Абая и его поучительные слова, доходившие до нее, не вызывали в ней ничего, кроме злобы. Скривив тонкие губы, она обычно с презрением говорила:

— Ладно, хватит, не повторяйте эту чепуху! Удивительно, если это в самом деле сказал такой почтенный человек, как Абай-ага! В чем здесь выразилась его мудрость? Где тут его знания? Оказывается, и умные люди могут ошибаться!

Все это, конечно, доходило до Айгерим, но та относилась к словам Манике с откровенной насмешкой.

И вот сейчас эта самая Манике, сидя наедине со своей невесткой Каражан, начала разговор о том, что волновало сейчас обе семьи, — о наследстве Оспана.

Обе эти невестки были и умны, и властолюбивы, и корыстны, обе подчинили своему влиянию мужей, и обеих мучило честолюбие, которое было развито в них не по-женски. Благодаря сходству своих характеров они легко договорились о том, что надо делать. Еще задолго до годовщины смерти Оспана они начали торопить своих мужей поскорее устроить поминки, чтобы можно было наконец приступить к разделу наследства. Они сошлись даже и на том, что обе прикажут своим мужьям жениться на вдовах Оспана, чтобы не упустить его богатства.

Однако и внезапно вспыхнувшая дружба двух невесток и их решения — все это было подсказано Азимбаем.

Хитрый, дальновидный, расчетливый сын Такежана все продумал. Дружба матери с Манике нужна была ему для того, чтобы сблизить отца с Исхаком. Если из трех наследников имущества Оспана двое будут держаться вместе, то они сумеют заставить Абая согласиться на такой раздел наследства, который будет выгоден обоим. Не особенно рассчитывая на мать, Азимбай решил привлечь для своих целей Манике. Он то и дело появлялся в ауле Исхака и наедине с ней разговаривал. Однажды Азимбай сказал:

— Женеше, неужели ваши не видят, что происходит? Поглядите-ка, Абай днюет и ночует у Еркежан в Большой юрте Оспана-ага, а наши беспечно дожидаются, когда исполнится год траура. А между тем абаевцы и внучат своих— Аубакира и Пакизат — держат в ауле под видом детей Оспана. Не кажется ли вам, что они хорошо обдумали, что делать? Как бы к тому времени, когда мы начнем говорить о наследстве, не оказалось, что Большая юрта и все ее стада уже перешли к нашим бескорыстным абаевцам? Как вы думаете?

Манике и в голову не приходила такая мысль. Но она не могла показать этого и, снисходительно взглянув на племянника, начала со своего обычного присловья, показывавшего ее проницательность и ум:

— Э-э, что тут говорить, я давно знала об этом! Абай только делает вид, что горюет и сочувствует Еркежан. На самом-то деле он просто ее обхаживает! Тебе это еще в голову не приходило, а я уже спрашивала: почему это Абай не выходит из Большой юрты? Ведь он же — не вдова, кому нужно днем и ночью оплакивать умершего? Я всем говорила: неспроста!

Азимбай тут же начал превозносить ее мудрость и дальновидность.

— Иногда я жалею, женеше, что создатель не наделил вашим умом моего отца, — беззастенчиво льстил он. — Ни он, ни Исхак-ага не видят того, что вы давно видите своим проницательным взором! А попавшись в западню, будут разводить руками и негодовать. Доверчивы они очень, вот и поплатятся за свою наивность!

Он отлично знал, что отец его вовсе не наивен, но слова его дышали такой убежденностью, что даже Манике приняла их за правду.

— Ну, и ты от них недалеко ушел! — сказала она с покровительственной насмешкой. — Я-то думала, что ты передаешь отцу все мои подозрения, а ты только вздыхаешь о том, что он наивен и беспечен.

Азимбай добился своего. Слушая самодовольные поучения Манике, он сокрушенно кивал головой, притворяясь, будто только сейчас понял, что происходит в юрте Еркежан, и, прикидываясь беспомощным, ответил:

— Хорошо было бы, чтобы вы сами объяснили свои догадки моему отцу и матери. Я этого не сумею.

Говоря все это, Азимбай имел в виду еще одно серьезное препятствие. Оно заключалось в том, что Каражан могла решительно возражать против женитьбы его отца на одной из вдов Оспана. Между тем, по обычаю аменгерства, если родственник умершего не женится на его вдове, он не может предъявить свои права на наследство. Вот это-то и беспокоило Азимбая. Отец его, как старший из трех братьев, вполне мог рассчитывать на брак с Еркежан — и в этом случае к нему переходила Большая юрта Кунанбая со всем имуществом и огромным количеством скота, что и было главной целью Азимбая.

Поэтому-то, следя с таким подозрением за пребыванием Абая у Еркежан, Азимбай опасался и того, что мать из ревности не даст отцу согласия на брак с Еркежан и весь план рухнет.

Говорить с родителями о таком щекотливом деле он сам, конечно, не мог. И ему пришло в голову сделать орудием своих замыслов Манике. Одним из качеств ее было умение хранить тайну. Она никогда не позволяла себе проговориться о том, что было ей доверено.

Через Манике Азимбаю удалось добиться того, что Каражан обещала не возражать против женитьбы Такежана на одной из вдов Оспана. Теперь задачей его было сделать так, чтобы отец женился именно на Еркежан, владелице Большого аула.

И нынче Азимбай незаметно руководил угощением, заботясь о том, чтобы Исхак и Манике чувствовали себя почетными гостями. Он же устроил так, чтобы его мать и Манике могли начать беседу, которую он сам тщательно подготовил.

Оставив их вдвоем, Азимбай вышел из юрты и, усевшись возле нее, вынул нож и занялся обстругиванием палки, как бы весь углубившись в это занятие. Увидев свою жену, смуглую и молчаливую Матиш, он подозвал ее и, нахмурясь, приказал строгим шепотом:

— Никого сюда не пускай! А в Гостиной юрте сидят отец и дядя. Смотри, чтобы и туда никто не заходил!

Расставив сети, Азимбай спокойно ожидал, когда добыча сама попадется в них. Широколицый, румяный, с пухлыми красными веками, прикрывающими холодные и хитрые глаза, он иногда с довольным видом гладил свою красивую, окладистую черную бороду, отливающую синевой, как воронье крыло, поглядывая исподлобья на Большую юрту. Порой он еле заметно улыбался, видя в мечтах то, что может дать ему сегодняшний разговор матери и тетки. Перед глазами его уже проходили тысячи саврасых, гнедых и серых коней, как бы говоря ему: «Мы твои!»

В юрте в это время Манике подсела поближе к Каражан и негромко заговорила:

— Женеше, что говорит ваш муж? Когда наши мужчины начнут разговоры о наследстве?

— Кто их знает? — пожала плечами Каражан. — Мне кажется, они никак не могут решиться на это. Боятся, наверно, что абаевцы или вдовы упрекнут их, зачем так торопятся.

— Э, я давно знала об этом! — по привычке подхватила Манике. — Ваш Такежан такой же простачок, как и мой Исхак! Оба они ни на что не решатся сами! Они и за еду не сядут, пока не взглянут на Абая и не убедятся, не хмурится ли он!

— Так думаешь, он их обойдет?

— А как же! Человек, который еще до поминок залез в юрту, на все решится, вот увидите!

— А что там у них творится? Слышала что-нибудь об этом?

— Разве они позволят ходить слухам? Абай позаботился, чтобы у Большой юрты не шныряли собаки, а над ней не летали птицы. Но уж, конечно, он подумал: «Пусть они заставили справить поминки раньше годовщины, а остальное я сам устрою!» Наши еще только почесывались, а он все уже сделал. Перетянул на свою сторону весь аул, всех табунщиков, соседей, чабанов. Сразу двоих внучат там держит, чтобы ухватить наследство, и сам оттуда не выходит и сыновей своих таскает. Другим туда и носа не просунуть… Ведь покойник и сам всю жизнь преклонялся перед Абаем, своих людей делал его сторонниками… Теперь Абай, как всегда, сам молчит, а других заставляет защищать себя.

Беседа подходила к тому главному вопросу, из-за которого Азимбай и устроил это свидание женщин.

Натравить друг на друга соседей и поссорить их, напоить двоих чабанов и заставить их подраться, подзадорить двоих болтунов, подбить их на насмешки друг над другом и привести к разрыву — с самого детства было любимым занятием Азимбая. Двуличничая, прикидываясь другом, он часто заставлял людей делать то, что ему хочется, заранее рассчитывая ходы, как опытный игрок.

Чтобы заставить двух женщин, умных и хитрых, выполнить его собственные корыстные расчеты, он напряг теперь все эти свои способности. Главной задачей Азимбая было подстроить так, чтобы отец женился на Еркежан. Для этого нужно было добиться, чтобы того же не потребовал Исхак. И он нашел способ воздействовать на Манике. Накануне, разговаривая с ней о дележе наследства, Азимбай как бы вскользь заговорил о том, что Каражан никогда не допустит этого брака.

— Хотя матери и очень хочется получить скот и имущество Большой юрты, однако она согласия не даст, — огорченно говорил он Манике. — Подумайте сами, женеше: Еркежан — женщина красивая, с покладистым характером, умеет нравиться людям. Какой же мужчина не увлечется такой женщиной? Всякий, кто женится на ней, так и будет кружиться возле нее, ни на шаг не уйдет, забудет прежнюю семью и жену. Разве моя мать этого не видит? Понятно, что она боится Еркежан.

Азимбай говорил все это как бы о Каражан. На самом же деле все его слова были рассчитаны на Манике. И они попали в цель. Лицо ее изменилось. Широко раскрыв глаза, она в упор уставилась на Азимбая. Неожиданное открытие заставило ее даже удивленно зачмокать губами. Но потом, спохватившись, она по привычке заговорила:

— Э-э, я давным-давно это знала, — и тут же махнула рукой, сделав вид, что не стоит даже и говорить об этом.

В действительности же соображения Азимбая поразили ее, как громом. До сих пор она совершенно не думала об этой опасности, наоборот — сама готова была бороться за то, чтобы Исхак взял в жены Еркежан и получил этим право на Большую юрту. Теперь она не на шутку взвол-новалась.

Азимбай, внимательно следивший за нею, продолжал, как бы ничего не замечая.

— Зейнеп или Торымбала, конечно, совсем другое дело, мать сумеет сразу поставить их на место! А Еркежан привыкла быть первой, она знает, что с ней муж получает и Большую юрту. Разве непопытается она стать любимой женой? А отец, вы сами знаете, человек увлекающийся, его такая женщина легко приберет к рукам, — закончил он.

Слушая его, Манике думала не о Такежане, а об Исхаке и заволновалась больше: прежнего.

— Единственно, чем можно успокоить страхи моей матери, — это то, что у нее все-таки есть взрослый сын, — говорил между тем Азимбай, будто доверчиво делясь своими мыслями. — Она имеет право требовать уважения к себе. Но все же уговорить ее согласиться на этот брак будет трудно. Правда, она не такая молодая, как вы. И, может быть, чувство ревности в ней уже притупилось.

Каждое из этих слов впивалось в сердце Манике отравленной стрелой. У нее-то не было «родного сына», о котором нарочно упомянул Азимбай. Если Исхак женится на Еркежан, что будет с Манике? В каком положении она очутится, если вдобавок у Еркежан будет сын? Поняв, какой страшной опасности она не замечала, спокойно думая о выгодном браке Исхака с Еркежан, Манике ужаснулась. Теперь она решилась не испытывать судьбу. Зачем ей лишаться своего положения в семье, зачем вводить в дом соперницу?

Увидев, что слова его достигли цели, Азимбай успокоился: теперь самолюбивая, ревнивая Манике никак не позволит Исхаку жениться на Еркежан. Значит, Исхак уже выпал из игры. Здесь была еще и другая выгода: спасая себя, Манике, наверно, постарается уговорить Каражан согласиться на брак Такежана с Еркежан. Сам отец, как бы ни хотелось ему получить Большую юрту, конечно, не рискнет заводить об этом разговор.

Манике именно об этом и начала говорить с Каражан:

— Женеше, скоро, наверно, пойдет уже разговор о вдовах. Как вы думаете, кто на ком женится?

— А что ты об этом думаешь? — ответила Каражан, желая знать сперва ее мнение.

— Право, не знаю, — начала хитрить Манике. — Конечно, если наши захотят избежать спора, так они выберут двоих младших. Ведь спор пойдет только об Еркежан, раз у нее Большая юрта. Конечно, если решать справедливо, первым выбор должен делать, по старшинству, Такежан-ага. Разве другие могут оспаривать его права? — И сказав это, она выжидательно посмотрела на Каражан.

Та молчала, нахмурив брови, внешне спокойная. Однако внутри у нее происходила настоящая буря. С одной стороны, в ней давно уже жило жадное желание заполучить скот и богатство Большой юрты, с другой — опасения, о которых Азимбай говорил Манике, и ей самой приходили в голову. Не раз уже думая об этом, она пришла к выводу, который и высказала сейчас Манике.

— А почему бы нашим просто не разделить имущество Большой юрты? Тогда не надо никому и жениться на Еркежан!

Манике тут же возразила:

— Ну, о чем вы говорите, женеше? Положим, наши женятся на младших вдовах, тогда они и получат с каждой ее долю. А скот и имущество Большой юрты так и останется у Еркежан. Сначала там будет хозяйничать Аубакир, а потом и сам Абай. Нет, женеше, не надо нам отступаться от борьбы!

— Ты так думаешь? — неуверенно спросила Каражан. И Манике, следя за малейшими изменениями ее лица, вкрадчиво заговорила:

— Конечно! Чего же вам бояться? У вас есть такой сын, как Азимбай, опора и надежда отца. Ведь это же ваш родной сын, кровь от вашей крови! Вы — счастливая и гордая мать. А что такое Еркежан? Пусть она богата, но все же знают, что она бесплодна, как высохший пень! Никогда она и не посмеет соперничать с вами! Да, по правде говоря, и Такежан уже вышел из того возраста, когда вы могли бы его ревновать. Нет, женеше, не делайте опрометчивого поступка! Ведь вы сами знаете, все зависит от вас: если вы не благословите Такежана на этот шаг, считайте, что своими руками отдали и Большую юрту и все богатство! И всем этим будут владеть абаевские сынки, а ваш родной сын Азимбай останется нищим. Я ведь давным-давно вижу, чего дожидается Абай!

Каражан напряженно слушала ее, в отчаянии повторяя про себя: «Конечно, так. Конечно, так».

Ее всегда называли скаредной, расчетливой, жестокой. Почему же она была такой? Ради чего она и хитрила, и жадно берегла всякое добро, и придиралась к слугам? Только ради того, чтобы создать Такежану богатство, а вместе с ним и влияние. Разве заботилась она о чем-нибудь кроме благополучия его самого и его детей? Всю свою суровую, невеселую жизнь она прожила только ради Такежана, не думая, что есть на свете кто-либо другой кроме него. И вот теперь, когда красота ее увяла и молодость ушла, она сама должна подсказать мужу, чтобы тот взял в дом токал, которая и моложе, и красивее ее, и вдобавок несет с собой богатство.

Каражан долго сидела, мучаясь этими мыслями, и вдруг разразилась слезами так внезапно, словно внутри у нее что-то лопнуло. Она плакала, вся содрогаясь от рыданий, громко всхлипывая. Наконец она с трудом успокоилась.

— Покойная старая мать, — вспомнила она Улжан, — однажды говорила с горечью: «Проклятая женская судьба! Как бы ни была ты избалована и любима, в тот день, когда муж охладеет к тебе, цена твоя будет не дороже старой, истоптанной стельки!» И правда, когда взоры мужа обратятся к токал, о тебе будут думать меньше, чем о щенке, забытом на старой стоянке при откочевке аула… Вой, плачь, обливайся слезами, а муж и не взглянет на тебя, увлеченный красотой новой подруги…

И Каражан снова зарыдала.

Манике не прерывала ни ее причитаний, ни слез. Видно было, что Каражан уже готова дать согласие. Пусть поплачет, попричитает…

Манике, умная, хитрая и красноречивая, отличалась какой-то странной бесчувственностью. Чужое горе не только не трогало ее, а, наоборот, раздражало.

Конечно, плачущий человек не может показаться привлекательным, а слезы и чужое горе не могут доставить другому никакого удовольствия. Но понимать их, разделять горе, быть сострадательным—свойство каждого сердечного и честного человека. Что же касается Манике, то она не могла без отвращения наблюдать плачущих людей. Право на слезы она признавала только за собой и, с некоторым недовольством, — за своими домашними. Но рыдания чужих просто озлобляли ее. И поэтому, когда у пастухов или слуг умирал кто-либо в семье — старик ли, ребенок ли, — себялюбивая байбише не разделяла их горя. Больше того, она позволяла себе даже кричать на женщин, проливающих слезы, и бранить их.

Горе Каражан никак не затронуло черствого сердца Манике. Наоборот, видя в этих слезах свою победу, она даже чуть улыбалась, скривив свои тонкие губы. И, вполне уверенная, что теперь Каражан даст согласие, как бы сейчас она ни рыдала, Манике встала и вышла из юрты.

Увидев Манике, Азимбай направился к ней из тени Большой юрты. Березовый шест был уже оструган и превратился в красивый курук. Громкие рыдания матери были хорошо слышны Азимбаю, но никак не взволновали его. Наоборот, услышав их и поняв, что Манике добилась своего, он спокойно встал, сбрасывая с колен стружки, как будто стряхивая с себя слезы родной матери, и пошел рядом с Манике. Показывая в улыбке белые зубы, блестевшие под черными усами, он, довольный, слушал ее рассказ о беседе в Большой юрте.

Беседа же, которую в Гостиной юрте, также наедине, вели Такежан и Исхак, закончилась раньше. Вопроса о женитьбе на вдовах братья не касались: с одной стороны, ни один из них не пришел еще к твердому решению, а с другой — начинать разговор прямо с этого было и неудобно и преждевременно.

Поэтому беседа их пошла о том, как лучше вести переговоры с Абаем. Встретиться ли с ним самим или, может быть, лучше будет говорить через посредников? А если так — кого для этого выбрать? В конце концов они решили, что для начала надо послать к Абаю посредников, а личную встречу устроить лишь в том случае, если он сам ее предложит, как это было при обсуждении срока поминок.

Целью этих переговоров было решить, когда и как делить наследство Оспана и как быть с его вдовами. И Такежан и Исхак вполне соглашались с тем, что говорили им жены: конечно, Абай не зря кружит около Большой юрты — вероятно, он хочет завладеть ею через своих внучат. И поэтому он будет стараться затягивать переговоры о дележе. Конечно, он сумеет найти для этого какую-нибудь причину; наверно, станет уговаривать и вдов.

Раз так, то посредников надо было найти таких, чтобы Абай считался с ними. Перебрав множество людей, братья остановились на Ерболе и Шубаре. Ербол был давнишним другом Абая, а о Шубаре оба думали, что тот, конечно, станет на их сторону и сумеет повлиять на Ербола. К тому же Шубар — близкий родственник, и его нельзя оставлять в стороне при разделе наследства его дяди.

На следующий же день Ербол и Шубар были приглашены в аул Исхака. За обедом братья объяснили им, чего от них хотят. Ни тот, ни другой не возражали быть посредниками: годовые поминки уже состоялись, и разговоры о разделе наследства были вполне уместны. Ербол подумал: «Не обрадует это Абая, еще больше усилит его печаль. Но могу ли я отказаться? Лучше разделить с ним его горе и заботы; может быть, чем-нибудь пригожусь ему».

Манике, выбрав время, отвела Шубара в сторону и сообщила, что все сходятся на том, чтобы Такежан взял в жены Еркежан. Это его право. Исхак поддерживал его, Каражан дала согласие. Раз из троих аменгеров двое пришли к такому решению, третий не должен препятствовать ему, и Абаю нужно об этом твердо сказать.

Таким образом в интригу, затеянную Азимбаем, захватившую сперва Манике и Каражан, а потом Такежана и Исхака, оказался втянутым и Шубар. Хитрый замысел уже переходил в поступки. Черная туча, увеличиваясь и сгущаясь, нависла над головой Абая, угрожая ему.

Но какой бы грозной она ни казалась, сам Абай не выказал ни малейшего волнения, когда Шубар и Ербол, приехав к нему, заговорили о желании его братьев начать раздел наследства.

Прежде чем идти к Абаю, Ербол повидался с Магашем и Акылбаем, сообщил им о цели своего приезда и предложил присутствовать при беседе, чтобы помочь своим советом. Акылбай, не любивший никаких деловых разговоров, наотрез отказался:

— Ну зачем я пойду? Абай-ага сам придумает что-нибудь. Лучше уж пусть Магаш идет!

Сообщение Ербола возмутило Магаша.

— Что они так торопятся? Не могут подождать с разделом, пока отец вернется из Кара-Мола с допроса? Опять впутывают его в свои дрязги!

Идти к Абаю вместе с Ерболом он счел неудобным.

— Это дело касается отца и его братьев, нам вмешиваться нельзя. Другое дело вы, Ербол-ага, вы его друг, и вы, подобно опытному старому верблюду, знаете, где в реке сыскать брод. Этот проклятый раздел приведет лишь к новым осложнениям. Уж вы помогите отцу избавиться от них.

Проводив Ербола до юрты отца, Магаш и Акылбай вернулись к друзьям.

Гостиная юрта Абая, как всегда, была полна молодежи. Последнее время жигиты стали снова часто собираться, с увлечением беседуя о новых стихах и поэмах.

Над бездымно горящим очагом стоял котел, где варилось мясо. Молодежь расположилась на разостланных на полу белых шкурах баранов и архаров, окружив дорогого гостя: на днях, к общей радости, из города приехал Павлов. Он, как и все, был одет по-казахски: в бешмете, в легком тулупе с лисьим малахаем тобыктинского покроя на голове. Поглаживая волнистую русую бороду, он добродушно смотрел сквозь очки на молодежь. В натопленной юрте Павлову показалось жарко, и он снял малахай, стянул высокие сапоги с войлочными чулками — байпаками, отороченными черным бархатом. Однако вскоре холодный воздух, пробиравшийся понизу, дал о себе знать. Абиш, Дармен, Альмагамбет и остальная молодежь с улыбкой посматривали, как, разговаривая, Павлов то и дело совал ноги в снятый малахай.

Павлов приехал в аул Абая два дня назад. Искрение соскучившись по нему, Абай не отпускал его от себя, и Федор Иванович до глубокой ночи сидел со своим другом. Им было о чем поговорить.

Абай расспрашивал, какие вести привезли в Семипалатинск новые русские ссыльные. Что делается нынче в России? Есть ли успехи в борьбе фабричных рабочих против хозяев? Что слышно о крестьянских бунтах? Кто из передовых русских людей показал себя как защитник народа? Какие интересные книги появились? Что интересного пишут в журналах? Есть ли новые русские поэты и писатели? Можно ли достать их книги в Семипалатинской библиотеке?

Ответы Павлова превращались в долгие рассказы о рабочем движении, о литературе, о жизни России. У него была способность к метким и злым характеристикам людей, напоминающим острые сатирические портреты Салтыкова-Щедрина. И когда Федор Иванович рассказал несколько анекдотических случаев, происшедших в канцелярии губернатора, в областном суде, героями которых были взяточники-чиновники, Абай искренне хохотал, видя их как живых.

В свою очередь, Павлов забрасывал вопросами Абая. Заметна ли перемена в жизни трудовых людей степи, в особености оседлых жатаков, занявшихся земледелием? Какие формы принимает борьба бедняков против степных воротил — аткаминеров? Его интересовала также и судьба степной бедноты, ушедшей на заработки в город. Как они там устроились, что дает им непривычный труд? А как с образованием? Охотно ли отдают родители своих детей в русские школы?

Отвечая другу, Абай сам приходил к новым мыслям. Расспросы Павлова заставляли его невольно задумываться над тем, что раньше проходило мимо его внимания. И теперь многое в жизни степи он сам видел по-новому.

И Абай все с большим уважением смотрел на Федора Ивановича. Вопросы того показывали, какого заботливого и верного друга получил в этом русском ссыльном трудовой люд казахской степи. Порой Абай угадывал в его словах свои собственные мысли и поражался, как мог прийти к ним Павлов, живущий в городе, вдали от степной борьбы.

Лишь на третий день Абай отпустил своего друга к молодежи, нетерпеливо ожидавшей его. Беседа велась с помощью Абиша и Какитая, переводивших Павлову слова друзей.

Густой, хорошо перебродивший кумыс подогрел настроение собравшихся. Здесь были и Кокпай и Муха. Появился нынче и Баймагамбет, который все лето разъезжал по аулам, где он был почетным и желанным гостем. В последние годы слава о нем как об отличном рассказчике и сказочнике распространилась по всей степи. На чьем бы жайляу, на какой бы зимовке он ни появлялся, везде его встречали с радостью, приглашали из одной юрты в другую, угощали и просили рассказывать романы и сказки, перенятые им от Абая.

Иногда он подолгу не возвращался в аул, совершенно не думая о жене и детях, оставшихся дома. Абай с нетерпением ожидал его возвращения, скучал по нему и даже ворчал на него, когда он появлялся.

И сегодня, когда Баймагамбет наконец вернулся в аул после долгой отлучки, Абай даже не ответил на его приветствие, молча подняв на него недовольный взгляд. Длинная рыжая борода, закрывающая рот и половину лица, придавали Баймагамбету весьма степенный вид. Лишь острые синие глаза, быстрые и живые, выдавали его настоящий характер — непостоянный, взбалмошный, как у ребенка. Подумав об этом, Абай невольно рассмеялся.

Баймагамбет насторожился:

— Э-э, над чем это вы смеетесь?

В юрте, кроме Айгерим и Злихи, угощавших их чаем, никого не было, и Абай позволил себе пошутить над Баймагамбетом.

— Вспомнил, что услышал однажды у тебя в юрте, когда ты шатался по гостям, — сказал он. — Оказывается, твоя Каракатын не уступит нашим акынам. Подошел и слышу: поет поминальный плач. Я и слова запомнил:

Меня мой родимый хвалил, баловал,

Да взял меня в жены обманщик бахвал,

Когда порешил он очаг мой покинуть,

Зачем он желанной меня называл?

И бросил он, рыжий бродяга, семью,

Омыла слезами я долю свою.

Грешно, говорят, не оплакивать мертвых…

Это она не тебя, а твое бродяжничество поминала, — смеясь, закончил Абай и, глядя на ощетинившегося Баймагамбета, добродушно засмеялся, трясясь всем телом.

Айгерим тоже не могла удержаться от смеха, прыснула и Злиха, отвернувшись к двери. Смех их еще больше рассердил Баймагамбета: как, и женщины смеются?!

— Говорят, «у всех, кто носит малахай,[55] общая честь», Абай-ага. Неужели у вас не нашлось ни одного слова для ответа?

Абай еще громче рассмеялся:

— Конечно, нашлось! Вот что я ей ответил:

Что тебе шариат? Смелей!

Порадей о судьбе своей!

Каракатын, спал ли муж твой дома

Хоть одну из летних ночей? —

прочел Абай только что пришедшие ему в голову стихи и закончил — Что ты на это скажешь?

— Ну и оказали услугу! Для всех у вас найдется добрый совет, а для моей жены вы лучшего не нашли?

И, допив чашку чаю, Баймагамбет поставил ее на скатерть донышком кверху и тут же поднялся с места, подчеркнув этим свою обиду. Из юрты Абая он прошел прямо к молодежи, чтобы попросить кого-нибудь сочинить для него ответные стихи. Но высказать свою просьбу при Абише и Павлове постеснялся и сейчас сидел, безучастно слушая других.

Павлов с любопытством осматривался по сторонам. Веселая, приветливо встретившая его молодежь удивительно ему понравилась. Он внимательно рассматривал этих новых для него людей. Все они были очень разными, и каждый привлекал к себе его внимание.

Рыжебородый, синеглазый Баймагамбет, которого Павлов хорошо рассмотрел еще в Семипалатинске, совсем не похож на Акылбая, чей продолговатый череп, крупный прямой нос, серые глаза, светлая кожа, жиденькая бородка и усы представляли совершенно иной тип. А Какитай — круглолицый, смуглый, с небольшим вздернутым носом и острыми, сверкающими глазами слегка навыкате — также казался человеком совсем другого племени. Пакизат, приемная дочка Оспана, своим темно-коричневым плоским лицом, которое оживлялось быстрыми черными глазами, напоминала больше калмычку.

Совершенно своеобразными были Абиш и Магаш. Тонкие черты и светлая матовая кожа их лиц, темные брови, как бы вырисованные острой кисточкой, некрупные изящные губы, над которыми пробивались маленькие каштановые усики, — все это отличалось каким-то спокойным благородством. А Дармена, с его черными, отливающими синевой бровями, с небольшими карими глазами, горбатым носом, смуглым лицом и красивыми, коротко подстриженными густыми усами, вполне можно было посчитать представителем кавказских племен.

Это удивительное разнообразие типов среди сыновей одного и того же народа поразило Павлова, который до сих пор видел только городских казахов.

Магаш и Акылбай вернулись в Гостиную юрту, когда Дармен уже начал новую песню. Накинув на плечи чапан и сдвинув набекрень малахай, юноша склонился над столом с домброй в руках. Перед ним лежала раскрытая тетрадь со стихами. Дармен с жаром, с настоящим вдохновением пел недавно законченную им поэму об Енлик и Кебеке. Стихи взволновали Магаша — он почувствовал в них искренний гнев и глубокую горечь. Не желая мешать Дармену, он присел возле дверей, слушая с восхищенным вниманием каждое слово молодого поэта. Так же слушали его и все находившиеся в юрте. Абдрахман, склонясь к уху Павлова, пересказывал ему содержание поэмы.

Дармен пел долго. Поэма подходила уже к концу, когда в юрту вошел Шубар, приехавший в аул вслед за Ерболом, и остановился у дверей, не снимая пояса и не выпуская из рук плети. Песня продолжала литься широкой волной, полная гнева, скорби и вдохновенной силы:

…В покое дни бесплодны, песни спят,

Но в скорбный час бегут за рядом ряд

И мечут жемчуг мысли, будто волны,

Слова, подобно молниям, блестят.

…Я видел смерти яростный оскал,

Я боль и стоны прошлых дней собрал.

Зло раскрывать и обличать пороки

Акын — учитель мой — мне завещал.

…Я видел муки дедов и отцов.

Минувшего я слышал властный зов.

Я помню: бий не пожалел младенца,

Угасшего под вечер средь холмов.

Я слышу плач влюбленных до сих пор,

И до сих пор им вторит эхо гор.

В их ледяных объятиях прочел я

Проклятие — и руки к ним простер.

Я помню бия-кабана, и вот

С тобою говорю, о мой народ!

Абай дал слову мощь, а песне — душу,

И голос мой в тебе не пропадет.

По просьбе Павлова Абдрахман стал подробно переводить ему заключительные строки поэмы. Магаш и Какитай, Муха и Альмагамбет наперебой выражали Дармену свое восхищение.

Один Шубар сурово нахмурился. Хотя он не знал всей поэмы, но с него было довольно и того, что он слышал. Тыча рукояткой плети в тетрадь Дармена, он заговорил холодно, словно произносил приговор:

— Это не искусство, а яд. Того, чью память, как святыню, чтит целое племя, песня называет «бием-кабаном». Куда ты тянешь? Что мелет твой язык? Ты хочешь, чтобы сердца людей, которые услышат это, содрогнулись? И зачем ты говоришь, что такую песню сложил по совету Абая-ага? У него и так много влиятельных и яростных врагов, а ты хочешь вызвать этим новые потоки злобы, раздуть еще сильней пламя вражды!..

Шубар был старше других, пользовался среди родичей уже большим влиянием, и никто из молодежи не рискнул ему ответить. Только Абдрахман, который слушал его, едва скрывая раздражение, не удержался:

— С каким гневом вы обрушились на бедного Дармена! Неужели его поэма так возмущает вас?

— Конечно, возмущает! Нынче поносят почтенных биев, завтра начнут обливать грязью ханов и султанов, а потом подымут руку на законы отцов, на мудрость ислама! И все это с глупой приговоркой: «Правда — у русских, кааба — у русских… Жизнь и счастье — все у русских». Куда мы идем наконец? Куда ведем и наше поколение и будущие? Во что же превратился в самом деле этот аул?

Абдрахману было понятно, что все эти обвинения направлены не на Дармена и не на «этот аул», а на самого Абая. И, отвечая Шубару, он тоже не назвал имени отца.

— Значит, по-вашему, этот аул ведет народ в пропасть? Нет, он ищет для народа выход из невежества и нищеты! — горячо сказал он и добавил с насмешкой — И что вы так накинулись на русских?

Шубар пожал плечами.

— Если все русское плохо, — насмешливо продолжал Абиш, — зачем же наши степные воротилы лебезят перед царскими чиновниками? Готовы на все, только бы получить печать волостного и сесть на спину своим сородичам. Лижут у городских властей пятки, а перед народом клянутся в верности исламу, обычаям предков! Вдвойне лгут — и вдвойне давят народ — и законами старины и именем царя. Как же должен называть народ таких людей?

Абдрахман даже побледнел от негодованя.

— Вон до чего ты договариваешься… — угрожающе протянул Шубар.

— А что же мне, молча слушать ваши слова? Ни у Такежана, ни у самого Уразбая еще и в мыслях этого нет, а у вас такая ядовитая клевета на «этот аул» уже на языке!

Гневные упреки Абиша смутили Шубара. Не в его расчетах было открыто рвать с Абаем, и он предпочел промолчать, чтобы не обострять разговора.

Абдрахман взволнованно продолжал:

— Да, и этот аул и я сам, мы говорим: «Правда — у русских, кааба — у русских». И говорим верно. Но у каких русских? Не у Казанцева и Никифорова, не у губернатора и урядников, а у других русских. У тех, кто хочет помочь нашему отсталому, несчастному народу… Кто принесет в нашу невежественную степь просвещение, знания… И сами мы тоже должны помогать народу понять, кто у него друзья и кто — враги. Надо говорить ему правду о темных силах степи, и Дармен сказал эту правду! Он на верном пути!

Шубар, хмуро смотревший на Абиша, ничего не ответил и вышел из юрты.

Федор Иванович, выслушав перевод Абдрахмана, потянулся к Дармену и, взяв его руку, долго ее тряс, приговаривая:

— Жаксы, Дармен! Жаксы, акын, молодец! — И, повернувшись к Абдрахману, закончил — Именно так песня и должна говорить правду — смело и гневно!

Абдрахман перевел его слова и добавил от себя:

— Вот так и рождается новый певец новой эпохи. Поэт должен бороться со злом, невежеством, с насилием. От имени народа он выносит справедливый приговор насильникам. Прямо, не таясь, нужно высказывать в песне гнев и презрение народа. Лучшие песни поэтов уходят корнями в народ. В них голос совести народной. Они выражают гнев его против биев, ханов и царей. И такие песни народ будет хранить, как золото, почитать и передавать из поколения в поколение!

Павлов тоже продолжил свою мысль:

— Дармен! И вы, Магаш! Вокруг вас и сейчас кипит захватывающая борьба, рождаются примеры отваги. Почему бы вам не написать, например, о подвиге Базаралы, совершенном на ваших глазах? Каким умным, сильным и стойким показал он себя в недавней схватке жатаков с иргизбаями! Ведь он болен, но нашел в себе силы руководить людьми, поднявшимися на борьбу!.. В его поступках я вижу будущее вашего трудового народа. Рассказать об этом людям—самая почетная обязанность акына!

Дармен ответил сразу и Абдрахману и Павлову.

— Ваши слова глубоко отозвались в моей душе, — взволнованно сказал он. — Вот Шубар возмутился сейчас, услышав мои стихи о Кенгирбае. Он возмущен как потомок Кенгирбая. Почему же мне, потомку Кодара, чья безвинная кровь была пролита Кунанбаем, не возмущаться преступлением, погубившим моего предка? Вы кстати напомнили мне об этом, Федор Иванович! А героев, как Базаралы, я буду воспевать с особенной любовью и жаром. Я и сам давно задумал написать поэму о нем. Ведь не только с ним — со всеми обездоленными жатаками слита моя душа! И когда я вспоминаю о том, что пережили Базаралы и жатаки и что видел я сам, моя кровь начинает клокотать во всех шестидесяти двух жилах. Если я не спою об этом, я не буду достойным сыном народа!

Глаза Дармена горели. Сын народа, поэт, только что создавший правдивую песню, выразившую гнев народа и защищавшую его честь, теперь, как отважный боец, был готов к новой открытой битве. Его состояние глубоко почувствовали Абиш, Магаш и Какитай.

Но с особенной теплотой смотрел на него сейчас Абдрахман. Для него Дармен стал за последнее время ближе всех остальных. В тот тяжелый миг, когда счастье его готово было рухнуть, именно Дармен помог ему преодолеть все препятствия. А совсем недавно, после поминок по Оспану, Дармен отправился в татарский аул в качестве свата вместе с Акылбаем и Ерболом и повез Магрифе письмо Абдрахмана. Он же привез ответ девушки.

Акыны горячо обсуждали совет Павлова писать о том, что происходит вокруг. Магаш начал рассказывать друзьям новости, привезенные Ерболом из аула Такежана. Его особенно поражало то, что в раздел наследства вмешались обе байбише — Манике и Каражан.

— Что скажет на это Федор Иванович? — обратился он к Абдрахману, который пересказывал Павлову его слова. — Не стоит ли написать и об этом?

— Конечно! — живо откликнулся Павлов. — Говорят, что у степной жизни свой ход, медленный, как движение каравана. Но так ли это? Разве то, о чем сейчас говорил Магаш, не показывает огромных перемен? Посмела бы какая-нибудь байбише еще недавно, при ага-султане Кунанбае вмешаться в дела рода? А теперь в этих женщинах таятся корни вражды. Степная жизнь резко изменилась, появились новые способы борьбы, о которых раньше никто не смел и думать. Семья ага-султана вышла из повиновения одному владыке, стала подчиняться нескольким помельче. Именно так всегда и разваливались всякие султанства и ханства. Писать об этих женщинах, конечно, необходимо! Их надо высмеять, показать их жадность и властолюбие. Вот знал бы об этом Салтыков-Щедрин!.. Ох, как он был бы вам сейчас нужен! Он сумел бы показать вам, как нужно бичевать насмешкой!

Абиш переводил слова Павлова. Магаш и Какитай ответили, что высмеивание пороков, насмешка над злом и несправедливостью широко распространены и у казахов. Акылбай, как всегда, вмешался в разговор не сразу. Он долго обдумывал и наконец высказал то, что никому не пришло в голову.

— Неужели вы считаете, что они сами решились на такие дела? — спросил он и тут же сам ответил — Не ошибусь, если скажу, что обеих ловко подбивает Азимбай.

Все понимающе засмеялись. Магаш, Дармен и Какитай поддержали Акылбая.

— Конечно, для него это самое важное! Если не столкнет кого-нибудь лбами, ему и еда в горло не пойдет!

— И ведь всегда молчит. Он — будто темная вода, которая течет без всякого шума.

— Стравить двоих в драке — на это он мастер, — вставил Альмагамбет.

— Да, в этом деле он, пожалуй, самому Калдыбаю не уступит, — отозвался Какитай.

Это имя вызвало новый взрыв смеха.

— А кто такой Калдыбай? — спросил Павлов. Какитай, прищурившись, начал рассказывать:

— Есть у нас такой человек. С виду степенный, неразговорчивый, смирный и тихий. А сосед его славится как забияка. Вот однажды к Калдыбаю приехал еще один такой задира, вдобавок считавший себя силачом. Калдыбай стал его угощать чаем, а тут в юрту вошел сосед. Не успел он войти, Калдыбай говорит жене, но так, чтобы услышали оба жигита: «Япрай, что теперь будет? Как бы они у меня тут не сцепились, ведь оба такие батыры!» Гость тут же повернулся к вошедшему и говорит: «Эй, куда ты лезешь? Видишь, я здесь сижу?» Тот в долгу не остался: «А кто ты такой, что я и войти не могу?» — и крепко его выругал. Калдыбай тотчас подхватил: «Ну, говорил же я! Сейчас полезут драться!» Гость вскочил с места и закричал вошедшему: «Что ты там болтаешь?» А Калдыбай край скатерти заворачивает: «Ой, смотри, жена, уже сцепились! Пай-пай! Убирай живей посуду, всю перебьют!» Те и в самом деле кинулись друг на друга, а Калдыбай отскочил и опять говорит жене: «Ну, нам с тобой их не разнять — оба силачи, давай лучше отойдем». Таким образом и место для драки было освобождено. Начали они тузить друг друга как следует, а Калдыбай в стороне приговаривает: «Ойбай, жена, беги позови длинноногого Мусу, пусть вступится! Да скажи: пусть скорей идет, а то, пока он их разнимет, они друг друга вовсе измолотят!» А юрта длинноногого Мусы была на краю аула, в полуверсте оттуда. Калдыбай сидит и любуется, как забияки лупят друг друга. Никто их не разнимает, Мусы все нет и нет, а остановиться ни один не хочет: ведь тогда можно будет подумать, что он побежден! Длинноногий Муса добрался до Калдыбая, когда у них последние силы иссякли, — стоят, едва дыша, и держатся друг за друга. Не успел Муса войти в юрту и крикнуть: «Что вы делаете?» — оба драчуна рухнули на землю.

Насмеявшись вволю над тем, как проучили забияк, молодежь снова перешла к беседе о том, что более всего занимало ее умы: Кокпай уже закончивал поэму о походах Аблая, Акылбай продолжал давно начатую большую поэму из жизни зулусов. Потом зашел горячий спор и о поэме, задуманной Магашем.

В юрте Абая в это время шел разговор, далекий от того, что волновало молодежь. Абай молча слушал Шубара, который передавал ему предложение Такежана и Исхака начать переговоры о разделе наследства Оспана, и когда тот замолчал, поднял на него холодный, испытующий взгляд.

— Ну, это они предлагают. А что ты сам об этом думаешь? — спросил Абай.

Шубар отлично знал, что как ни увиливай от прямого ответа, Абай все равно добьется правды. Поэтому он и не пытался скрывать своих мыслей:

— По-своему они правы: поминки совершены, можно подымать разговор и о наследстве. Конечно, лучше было бы подождать до годовщины. Но раз такой разговор начался, затягивать его нет смысла.

— Что же, если оба считают, что начинать раздел уместно, могу ли я возражать? Пускай начинают переговоры, — спокойно согласился Абай и некоторое время сидел в молчаливом раздумье.

Горько было сознавать: только что умер Оспан, и уже идет этот непристойный разговор о дележе. И поэт все яснее понимал, что и Оспан и он сам всю жизнь были для Такежана и Исхака не родными братьями, а чужими людьми. И вот Оспана нет, а те двое еще в полном расцвете сил и здоровья. Если они и вспоминают о нем, то только тогда, когда думают о наследстве. И Шубар, приехавший от них, видимо, не считает их мысли и действия неправильными.

Абай снова почувствовал себя совершенно одиноким. Потом взял себя в руки и поднял на Шубара суровый взгляд.

— У меня одно условие: говорить будем лицом к лицу. Конечно, вы оба должны быть с нами до конца переговоров. Надо пригласить еще Шаке и Смагула, они ведь такие же родственники Оспана, как и мы.

На следующий день все близкие родственники собрались в ауле Оспана. Если в недавнем споре о деле жатаков Абай держался непримиримо, то сегодня он вел себя миролюбиво и сговорчиво. Он предложил Такежану, как старшему, говорить первым.

Тот завел речь издалека: жизнь не считается с горем, она заставляет думать и о делах; не могут же все родные сойти в могилу вслед за умершим… После долгих вступительных слов он перешел к тому, что настало время решить вопрос о наследстве. Двое из трех родных братьев, оставшихся после Оспана, согласны приступить к разделу его имущества и скота. Он попросил Абая высказать свое мнение.

Абай начал с того, что через неделю он должен быть в Кара-Мола на чрезвычайном съезде, на дорогу нужно два-три дня.

— Я буду здесь еще четыре-пять дней, — сказал Абай. — Нет такого разговора, который за это время нельзя было бы окончить. Нужно лишь открыто высказать свои мысли и намерения. На вопрос Такежана я отвечаю: пусть раздел состоится, я не возражаю. Дели как хочешь, будь хозяином! Подсчитай весь скот, все имущество, зимовки, угодья — и раздели все сам!

В этот первый день сородичи и занялись учетом наследства.

Три вдовы Оспана владели тремя зимовьями. Зимовье Еркежан, владелицы Большой юрты, находилось на Жидебае. В трех-четырех верстах южнее стояла зимовка Зейнеп — Мусакул. Когда-то Мусакул принадлежал Такежану, но, построив себе большую зимовку у Чингиза, Такежан передал Мусакул во владение Оспана. Третье зимовье, где жила младшая жена Оспана Торымбала, находилось на расстоянии перехода ягнят к западу от Жидебая, в местности Барак.

Эти три зимовья, как все весенние и осенние пастбища, покосы, а также жайляу, колодцы, родники, озера, реки, посевы, покосы, а также все косяки лошадей, стада верблюдов и коров, отары овец были взяты на учет.

Каражан и Манике, услышав, что Абай не только согласился на раздел, но и предоставил Такежану, как старшему, разделить наследство по его усмотрению, от удивления зачмокали губами.

— Искренне это или какая-то уловка? — недоумевала Манике. — Ну, посмотрим, что будет… Но, коли так, пусть Такежан-ага открыто скажет, что возьмет себе главную долю! Зачем ему скромничать! Раз братья отдали поводья ему в руки, пусть он крепко держит их!

Каражан такая мысль пришлась по душе. Она передала мужу слова Манике как добрый совет всей семьи, всех родичей.

На следующей встрече Такежан объявил, что, как старший, берет себе самую большую долю. Абай не возражал и против этого.

Тут же было решено, какие из осенних, весенних и летних пастбищ отойдут к Такежану и Исхаку, какая доля скота перейдет к каждому из них. Потом Такежан обратился к Абаю, попросив его сказать, что именно рассчитывает он получить из угодий и скота. Абай не захотел брать сейчас никакой доли наследства.

— Аул Оспана — аул моих родителей, он не должен исчезнуть. Как бы мы ни делили наследство, Большая юрта останется. А остальное решайте сами. Сохраните мое право на долю наследства, но не выделяйте мне пока ни скота, ни земель. Но сами-то вы берите свое, не оглядывайтесь на меня.

Это решение Абая заставило других родственников призадуматься. До самого вечера они уговаривали его взять все-таки свою долю. Но Абай не соглашался. И когда Такежан стал утверждать, что его отказ мешает и им самим начать дележ наследства, Абай снова пояснил:

— Я делаю это не по обиде на вас и не для того, чтобы навредить вам. Я хочу только одного: чтобы Большая юрта не исчезла. Через два-три года она снова восстановит свое богатство, вот тогда я возьму свою долю. Лишнего просить не буду. Возьму только то, что вы сами назначите мне сейчас, и буду этим доволен.

Вечером, когда в юрте Такежана обсуждали эти слова Абая. Азимбай решился наконец заговорить открыто.

— Надо воспользоваться тем, что Абай предоставляет вам право выбора, — сказал он отцу. — Скажите ему, что в Большой юрте вы будете жить сами. Все ваши обсуждения ни к чему не приведут, пока не начнется разговор с Еркежан.

Родителей не удивила такая смелость сына, заговорившего о новом браке отца. Оба уже привыкли к тому, что хитрый, коварный и осмотрительный Азимбай дает им дельные советы. И на следующий же день, снова встретившись с сородичами, Такежан заговорил откровенно и властно.

— Если вы, Абай и Исхак, в самом деле предоставили все решать мне, то вот мое слово. Самый важный вопрос — это вопрос не об имуществе и зимовьях, а о вдовах. Если решить его, все остальное разрешится само собой. После Оспана осталось три жены. Нас тоже три аменгера. Но пока что мы не решили, кто из нас на какой вдове женится. Вот о чем нужно сейчас говорить. Скажите свое мнение.

Исхак поспешил заявить, что вполне согласен с Такежаном.

К удивлению обоих, Абай не стал возражать и против этого предложения. Больше того, он попросил братьев сказать, какую из вдов каждый изберет себе в жены.

Такежан, помня вчерашний разговор с Азимбаем, сказал, что сам он женится на Еркежан. Услышав это, все взглянули на Абая — кто со злорадством, кто с любопытством. Ербол тревожно следил за Абаем, ожидая, что тот скажет.

Абай и на этот раз не задержал ответа. Спокойным, негромким голосом он повторил, что Такежану было дано право решать все дело. Раз он пришел к такому решению, следует согласиться.

Таким образом, основной вопрос был разрешен неожиданно быстро и гладко. Упрощался и раздел наследства; нужно было установить, какая доля его идет с Большой юртой, а все остальное решалось уже легко.

Оставалось переговорить с самой Еркежан, хозяйкой Большой юрты. Первым заговорил об этом Исхак, его поддержали Шубар и Ербол. Но Шаке, который до этого сидел лишь в качестве слушателя, выразил другое мнение:

— Почему же только с Еркежан? — спросил он. — Поговорить надо со всеми тремя. Плохо, что они не участвуют в этом обсуждении с самого начала.

— Э-э, зачем же со всеми разговоривать? — неодобрительно сказал Исхак. — Разве у женщин спрашивают о том, что решают мужчины? Вот сейчас зашел разговор о том, что Такежан-ага женится на Еркежан, ее и надо уговорить на это. А остальные при чем?

Шаке этот ответ не понравился.

— Что вы говорите, Исхак-ага? — сказал он, сдерживая возмущение. — Неужели вы собираетесь поделить их заочно, даже не поговорив с ними? Это похоже на дележ добычи! Ведь они же для вас не чужие, да им и не по шестнадцати лет. Разве нет у них своей воли, своих желаний?

Шаке был одним из немногих сородичей Абая, кто старался брать пример с него. И сейчас он понял сердцем, что Такежан, добиваясь выгодного для себя раздела, готов защищать любые дикие и невежественные обычаи старины.

Хотя слова его пришлись не по вкусу Такежану, Исхаку и Шубару, однако резко ответить на них было нельзя, и они, пробормотав что-то невнятное, замолчали. Абай с любопытством переводил взгляд с одного на другого, молча наблюдая за ними. Поддержал Шаке только Ербол. Он почувствовал, что слова того понравились Абаю, и смело высказал свое мнение:

— Шаке прав. Эти женщины — ваши невестки, жены вашего брата, кровные ваши родственницы. И ваш долг — посоветоваться с ними. Только так и надо решать.

Такежан посмотрел на Абая.

— Что ты скажешь?

— Я соглашусь со всем, что ты делаешь, кроме одного — насилия, — по-прежнему спокойно ответил Абай. — Как бы ты ни решал, ты не должен делать этого помимо воли самих женщин, Такежан. А вот всем остальным распоряжайся, как считаешь нужным.

— В таком случае переговорим со всеми тремя, — тут же объявил Такежан. — Шубар и Ербол, поезжайте и расскажите им наше решение!

Он сказал это твердым тоном, но в глубине души подумал: «Если где-либо таилось препятствие, то оно, наверно, здесь». И, обдумав положение, он перед отъездом сказал Шубару и Ерболу:

— Со всеми тремя вдовами говорите пока что только об одном: шариат велит трем аменгерам брать в жены трех вдов, пусть сперва они дадут согласие на это… — Помолчав, Такежан выразительно посмотрел на Шубара и добавил — Каждая из них будет следовать примеру другой. Поэтому начните с Торымбалы. Она моложе других, пусть скажет свое слово первой.

Посредники так и сделали. Но как ни уговаривал Шубар Торымбалу, она не дала никакого ответа.

— Опережать Еркежан и Зейнеп я не могу, — упорно повторяла она. — Ответят они, тогда скажу и я, — пока меня не невольте!

Шубар и Ербол поехали к Зейнеп. По дороге Шубар поделился с Ерболом своими сомнениями.

— Самый тяжелый разговор будет с ней… Ведь она больше всех их горюет об Оспане. Ербол согласился с ним. Всем было известно, как трогательно оплакивала Оспана в течение всех этих месяцев Зейнеп. Те, кто побывал в траурной юрте, говорил о ней с уважением и сочувствием: «Как искренне горюет она о муже! Какая верная была у Оспана подруга! И слова на ее устах, и слезы на ее глазах, и тоска в ее сердце — все доказывает это. Умирать никому не хочется, но если тебя будут оплакивать так, как Зейнеп Оспана, можно умирать спокойно». Зейнеп была против преждевременных поминок, а когда все-таки их решили справлять, она с этого дня до самых поминок оплакивала Оспана не дважды, а уже трижды в день.

Поэтому-то Шубар начал свою речь издалека, заговорил об обычаях, о шариате, и говорил долго, мастерски, прибегнув ко всему своему красноречию. Зейнеп слушала молча и внимательно, переводя с Шубара на Ербола взгляд своих красивых глаз, в которых светился ум. Лицо ее не выражало ни удивления, ни горя. Ербол даже подумал: «Она слушает так, будто с ней не раз об этом говорили. Неужели вдовы, узнав о переговорах у Такежана, посоветовались между собою и уже что-то решили? Если так, не станет ли и она, как Торымбала, кивать на Еркежан?»

Но когда Зейнеп заговорила, ответ ее поразил обоих посредников.

— Дедовских обычаев я не нарушу, спорить с сородичами не стану, — спокойно сказала она, выслушав Шубара. — Поступайте как знаете, я приму ваше решение.

Шубар, искоса взглянув на Ербола, с трудом удержался от улыбки. Однако Зейнеп удивила их еще больше, неожиданно заговорив и о том, чего они еще не хотели касаться. Прямая, дальновидная и решительная, Зейнеп не любила крутить вокруг да около и всегда подсмеивалась над тем, что мужчины, ведя переговоры, говорят намеками и обиняками.

— Скажу еще об одном, — продолжала она так же спокойно и рассудительно. — Хотя сейчас вы молчите, но завтра опять приедете ко мне с новым вопросом: «А кто из вас за кого пойдет замуж?» Так вот я отвечаю сейчас: и это решайте сами! Если нас осталось три вдовы, то, благодарение богу, есть и три деверя. И все они люди еще не старые, до земли не согнулись. А я — не в расцвете молодости, мне не семнадцать лет. Если один будет старше другого на семь лет, а другой на четыре, стоит ли об этом говорить? Да и кто скажет про этих трех мужчин: старый, а тот молодой? Все они между сорока и пятьюдесятью годами, все средних лет. Стоит ли рассуждать о том, что суйем меньше карыса?[56] Решайте сами.

Теперь Шубар не мог уже удержаться от улыбки. «А я-то думал, что она будет отказываться! Видно, ей не терпится слопать еще одного мужа!»— подумал он, но, боясь, что улыбка его может обидеть Зейнеп, сейчас же сказал вслух, продолжая улыбаться:

— Женеше, милая моя! Как хорошо, что вы откровенно сказали то, что думаете1

Но как только они отъехали от аула Зейнеп, Шубар не удержался от шуток.

— Ты видел, как она встрепенулась? Я так и думал, что она вцепится в меня: где, мол жених, подавай его сюда скорей!

— Правда, — согласился Ербол смеясь. — Другие молчат, а она уже выбирает себе мужа.

— Хитрая лиса! Так и юлит, так и мелькает, показывая аменгерам красный мех: вон глядите, мол, я здесь!

В тот же день они приехали к Еркежан.

Учтивая, немногословная, хорошо владеющая собой, Еркежан встретила их сдержанно, почти холодно. Всем своим обликом она не походила на казахских женщин. Она была рослая, прямая, с тонким станом; сильно удлиненный овал лица, большие, глубоко запавшие глаза, белая кожа, прямой с небольшой горбинкой нос — все показывало, что в ней смешана различная кровь.

Не успел Шубар договорить до конца то, что было ему поручено, как Еркежан заплакала.

— Не надо дальше ничего говорить, — перебила она. — Я все уже поняла… Разве словами ты уменьшишь горе, которое приносишь ко мне?.. — Разрыдавшись, она упала на подушку, уткнулась в нее лицом.

Посредники молча ожидали, когда она успокоится. Наконец она подняла голову.

— В день его смерти я дала клятву, — начала она решительно. — Оспан взял в дом двух птенцов — Аубакира и Пакизат, которых мы воспитывали сызмальства. Я не считаю себя бездетной женщиной. Я поклялась жить только для этих двоих моих детей, жить, вспоминая мужа и забыв все другие желания. Я не выйду замуж, даже если меня выкинут из Большой юрты. Одно из двух: или я сама уйду из нее, или добьюсь того, что в этой Большой юрте буду жить одна с моими детьми и ее по-прежнему будут называть домом Улжан и Оспана.

Продолжать разговор она не позволила. Ее твердый тон свидетельствовал о непоколебимой решимости, слезы на глазах высохли. И когда она сказала Шубару, чтобы больше он не приезжал к ней с такими поручениями, это звучало почти приказанием.

На обратном пути посредники снова заехали к Торымбале. Ничего не говоря о неудачном посещении Еркежан, Шубар рассказал ей лишь ответ Зейнеп и добавил, что придется согласиться и ей. Торымбала была молода и неопытна, и настойчивый Шубар заставил ее дать согласие.

Услышав от Шубара, что ответили вдовы, Такежан, Азимбай и Исхак были ошеломлены. Все их расчеты были разрушены словами Еркежан. Если она не согласилась, что же можно делать дальше?

В подозрительное и лукавое сердце Такежана закралось сомнение, и на первом же обсуждении он обратился к Абаю:

— Все-таки нам надо было бы решить, кто на ком женится. Я свое желание высказал. Ты следующий по старшинству. На ком ты хочешь жениться?

— Ни на ком.

— Э-э, что ты говоришь? Что за слова!? — одновременно воскликнули Такежан и Исхак.

Ответ поразил всех. Шубар, Смагул и Шаке удивленно подняли глаза на Абая.

— Я пришел сюда на раздел наследства, а не на сватовство, — продолжал тот спокойно. — Разве я обещал жениться?

— А где же твой долг аменгера? Как можешь ты не жениться, если мы берем вдов себе в жены? — резко заговорил Такежан.

Абай насмешливо улыбнулся:

— Уж не хочешь ли ты меня женить силком?

— Придется, если ты нарушаешь обычай… Не нами он установлен, а дедами, а они не справлялись, насильно или по своей воле женится на вдове аменгер.

— Времена меняются, меняются и обычаи. Если бы ты держался только за дедовские законы, тебе пришлось бы теперь пить кровь… Многие обычаи уже устарели и для нас негодны.

— Что же, выходит, мы говорим впустую? Брось, Абай. Твои слова лишь разрушают наше гнездо.

— А чем они его разрушают? — по-прежнему спокойно возразил Абай. — Ты предложил разделить угодья и земли — разве я был против? Захотел получить скот — разве я возражал? Ты решил поделить жен — разве я остановил тебя? Ты хотел жениться по своему выбору— разве я тебе запретил это или соперничал с тобой? Я и раньше на все соглашался и теперь молчу. Чем же я разрушаю наше гнездо?

— Если ты искренне соглашался со мной, так женись!

— Нет, дорогой! Не все же твои прихоти мне выполнять. Уж не считаешь ли ты Абая бесправной вдовой, которую можно насильно положить на постель? Подумай, что ты говоришь! — И Абай окинул брата уничтожающим взглядом.

— Значит, ты не женишься?

— Нет.

— Тогда скажи: почему?

— Потому что у меня есть любимая жена. Другой я искать не хочу. Вы хотите взять жен — берите, а я не буду.

Такой решительный ответ заставил Такежана замолчать. Потом он сказал, поглядывая на Исхака:

— Если Абай несогласен, его воля. Но не может же из-за этого остановиться все дело. Давайте говорить о вдовах! Что вы скажете об их ответах?

Исхак, поняв его намерение, стал резко осуждать Еркежан. Вместе с Такежаном они наперебой стали твердить, что ее нужно уговорить или даже просто заставить выйти замуж. Исхак ссылался на то, что редкая женщина соглашается на брак без слез и причитаний. Шаке, отстаивавший свой взгляд, по-прежнему возражал против такого решения. Смагул тоже заявил, что Еркежан никому не чужая и что приневоливать ее нельзя. Даже и Шубар согласился, что принуждать Еркежан невозможно, — и в прежние времена такое насилие применяли лишь к очень молодым женщинам. Здесь же шел разговор о всеми уважаемой вдове, которая была главой целого аула, хозяйкой Большой юрты, матерью детей. Ее нельзя рассматривать как добычу и обращаться с ней как с переметной сумой.

Мнение Абая было известно.

Таким образом, только Такежан и Исхак оказались сторонниками резких мер. Все остальные родственники думали иначе. Сегодняшнее обсуждение ни к чему не привело.

Такежан, весь потемнев и насупившись, молча злился, лишь этим выказывая свое недовольство. Зато вечером в юртах Такежана и Исхака происходили тайные переговоры. До самого утра там шептались и сговоривались то Азимбай с Манике, то Исхак с Азимбаем, то Такежан с Исхаком. Оставался лишь один день: послезавтра Абай должен был уехать на съезд в Кара-Мола.

На следующий день, когда Шубар и Ербол приехали в аул Такежана для продолжения переговоров, им объявили решение, к которому родичи пришли ночью.

Прежде всего было решено продолжать переговоры не в прямой беседе с Абаем, а через посредников. Объяснялось это тем, что сказанные сгоряча, необдуманные слова могут в таком остром споре стать причиной распри. На самом же деле Такежан и Исхак боялись прямых и откровенных слов Абая. Кроме того, Абай всегда умел убедить остальных сородичей, и те переходили на его сторону.

Братья тут же поручили Ерболу и Шубару передать Абаю то решение, к которому пришли все родичи.

Посредники пошли к коням. Там же оказался и Азимбай, по-видимому собравшийся куда-то ехать: молодой жигит подвел ему оседланного коня.

— Куда это ты собрался? — спросил Шубар.

— Тошнит уже меня от всех этих переговоров, — нахмурившись, отвечал Азимбай. — Уезжаю, чтобы не быть свидетелем их.

— Куда же ты едешь?

— Медеу все просит свести с ним дружбу. Вчера прислал сказать, что достал для меня хорошего беркута, вот и еду за ним.

И Ербол и Шубар отлично понимали, что Азимбай говорит все это неспроста. Было видно, что и возле коней-то он задержался только затем, чтобы дождаться посредников и сообщить им о своей поездке. Это была скрытая угроза. Медеу — сын Уразбая, а аул Уразбая всегда готов был оказать помощь кому угодно, если дело шло против Абая. И, говоря о своей поездке, Азимбай хотел, чтобы слух о ней дошел до Абая. Это должно было заставить его взвесить свой ответ: если мир с родными ему дорог, он согласится на то, что ему предлагают сегодня через посредников. Если же он не согласится, это будет грозить тем, что Такежан открыто перейдет на сторону Уразбая.

Азимбай вскочил на коня и поскакал из аула.

Ербол, приехав к Абаю и беседуя с ним наедине, не стал скрывать того, что видел. Рассказ об отъезде Азимбая заставил Абая задуматься. Он некоторое время сидел, опустив голову, что-то взвешивая в мыслях, затем выпрямился с таким видом, как будто пришел к твердому решению. Быстро повернувшись к Шубару, вошедшему в это время в юрту, он коротко бросил ему:

— Ну, рассказывай, чего теперь хочет Такежан?

Братья предъявили Абаю два требования на выбор: или он сам возьмется переговорить с Еркежан и уговорить ее выйти за Такежана; или же, если Абай не согласен на это, все три брата, действуя вместе, должны силой принудить ее выйти замуж за Такежана.

На оба эти предложения Абай ответил отказом.

Целый день между аулами Такежана и Абая посредники скакали взад-вперед. В ответ на требование братьев Абай ответил:

— Сам я на Еркежан не женюсь, пусть Такежан не беспокоится. Но принуждать ее я не буду, не позволю и другим приневоливать ее. Других слов у меня не будет, не беспокойте меня больше.

Совет родичей, собравшийся у Такежана, вынес новое решение. Оно было направлено и против Еркежан и против Абая: «Если Еркежан не хочет выходить замуж, пусть она остается в своей Большой юрте. Но надо, чтобы имущество ее было и в самом деле общим для всех детей Кунанбая и Улжан. Сейчас, когда в доме Еркежан живут внуки Абая, нельзя считать ее дом общим для всех нас. Она несомненно находится под влиянием Абая. Пусть Еркежан вернет Аубакира и Пакизат Акылбаю, тогда она может не выходить замуж и жить в Большой юрте одна».

Абая возмутило такое дерзкое требование. Кроме того, он отлично понимал, что означает для Еркежан разлука с детьми. Ни он сам, ни кто другой из родственников не считали Аубакира и Пакизат детьми Акылбая: они с малых лет воспитывались у Оспана и Еркежан, как их родные дети.

— Не хочу даже и слушать о таком деле, — ответил через Ербола Абай. — Никогда на это не соглашусь. Спросите Еркежан, что скажет она на это?

Казалось, чем больше ударов обрушивалось на Еркежан, тем крепче она становилась. Услышав об этом решении, она даже не заплакала. Видно было, что она была готова на любую борьбу.

— Это уже прямое насилие, — ответила она. — Значит, родичи хотят, чтобы я ушла из Большой юрты. Хорошо, я согласна. Уйду. Поставлю на краю аула какой-нибудь шалаш. Но я была возлюбленной моего мужа; пусть во имя этой любви мне дадут немного скота и имущества. Детей же, которых мы с ним воспитывали как своих родных и кровных, я возьму с собой!

Таким образом, долгие переговоры всех этих дней не привели ни к чему. Такежану и Исхаку пришлось отложить начатый ими раздел наследства. О женитьбе на вдовах Оспана они больше не заговаривали. Но все же посредники привезли Абаю последнее решение братьев: «Пусть аул Оспана остается как был, пусть Еркежан по-прежнему живет в Большой юрте. Но нельзя, чтобы в этом ауле жили только потомки Абая. Пусть потомки двух других братьев будут участвовать в управлении хозяйством Большой юрты, а для этого Еркежан должна усыновить кого-либо из детей Исхака и Такежана».

Этому решению Абай уже не противился. Согласилась на него и Еркежан. Она попросила, чтобы, ей отдали сына Исхака — Какитая. Со своей стороны, Каражан не пожелала отпустить единственного сына Такежана — Азимбая.

Итак, споры о дележе были отложены на неопределенное время, а Какитай ради временного затишья переехал в аул Оспана, чтобы управлять хозяйством.

Абай наконец собрался ехать в Кара-Мола и вечером созвал в юрту Айгерим молодежь.

Теперь, казалось, к нему вернулось душевное спокойствие. Обо всем том, что пережил он в эти четыре дня, Абай вспоминал с отвращением. Он почти не говорил об этом с сыновьями и друзьями, сказал лишь коротко:

— Такежан нарочно заторопился с поминками, узнав о моей поездке в Кара-Мола. Я хотел всячески удержать его от вражды, уступал во всем, чтобы он не присоединился к моим врагам. Теперь я вижу, что Такежан в союзе с Уразбаем. Значит, тот, ободренный поддержкой, усилит свой нажим на меня. Наш спор из-за наследства отзовется там, в Кара-Мола.

Утром Абай выехал в Кара-Мола.

В то же утро из аула Такежана выехал к Уразбаю Азимбай, везя с собой тайное поручение отца.

2

В Кара-Мола Абай взял с собой Ербола, Кокпая и Баймагамбета, а из молодежи Магаша и Дармена. Хотели поехать также Какитай и Абдрахман. Но хотя Абай раньше всегда брал Какитая с собой, сейчас он оставил обоих в ауле.

— Ты очень помог бы мне там, как всегда, — сказал Абай Какитаю. — Но родня решила, что ты должен быть в ауле Оспана. Если поедешь со мной, пересуды снова начнутся. Оставайся и управляй аулом.

Абишу он отказал по другой причине:

— Ты приехал отдыхать. Не вчера начались и не сегодня кончатся распри и козни врагов против меня. Чем ты сможешь помочь мне? Брызгая водой с крыльев, ласточка не потушит пожара. Лучше я понесу свою ношу сам. А ты оставайся здесь, отдыхай, набирайся сил.

Абай не хотел втягивать Абиша в степные кляузы и в свои личные дела. Но он не знал, что Абиш за последнее время немало поработал для того, чтобы помочь отцу в предстоящих ему испытаниях. Абиш действовал по совету Павлова, взяв себе в помощь молодых друзей.

И ему и Павлову было ясно, что ответ, который Абай будет держать перед губернатором, чреват опасными последствиями. Поэтому нужно было иметь оправдывающие свидетельства, ходатайства и другие бумаги, которые чиновничьи канцелярии предпочитали всему. Конечно, там уже заведено дело на Абая и, наверно, накопился ворох кляуз, прошений, донесений и прочих бумаг. Опорой и оправданием Абая были признаваемые всеми его справедливость, честность и дружеское доверие всего народа. Но все это никак не расценивалось на канцелярском рынке: мысли и чувства людей для чиновников цены не имеют.

Именно поэтому Абиш и приступил к составлению некоторых бумаг. В них было написано обо всех злодеяниях и преступлениях, которые вызвали в прошлом году гнев недоимщиков. Все это сообщалось самим пострадавшим народом. В заявлении особенно подчеркивалось то, что Абай боролся только против незаконных «черных сборов». Упоминалось и о том, что лишь вмешательство Абая предотвратило опасное столкновение между уездными властями и степной беднотой. Мирное население степи по многим примерам знает, что Абай всегда справедливо и законно заступался за народ, а поэтому и теперь он оправдывает его перед властями. Подтверждая это, люди всей Чингизской волости и скрепляют бумагу своими подписями.

К жатакам с этой бумагой приехал Дармен. Он обошел все юрты — побывал у Ийс, у Жумыра, Канбака, Токсана, Серкеша и других. К прошению приложили руки не только мужчины, но и женщины. Подписывая его, Даркембай, Базаралы, Абылгазы и все остальные жатаки приговаривали: «Для Абая не только подписи — крови нашей не пожалеем».

Посоветовавшись с Дарменом, Даркембай решил послать с Абаем на всякий случай молодого расторопного жигита Серкеша, который не раз бывал в городе и, зная привычки русских властей, мог помочь ему. Кроме того, он снарядил на съезд в Кара-Мола любимого Абаем старого акына Байкокше, давнишнего его друга.

Когда подписи под прошением были собраны, Абдрахман отправил его с Альмагамбетом в Семипалатинск, в канцелярию губернатора. Копию же вместе с копией акта, составленного русскими крестьянами-переселенцами, он вручил Байкокше и Серкешу, чтобы подать их самому губернатору, когда тот появится в Кара-Мола.

Павлов в день отъезда Абая предложил ему:

— Ибрагим Кунанбаевич, вы едете по неприятному делу. Не могу ли я вам чем-нибудь помочь? Вы и ваш аул стали для меня близкими. В Семипалатинске я просто скучаю, не видя никого из вас. И приехал-то просто потому, что захотелось всех вас повидать. Жаль, что не вовремя попал. Зато для себя я получил много нового — и поминки впервые видел и впервые узнал, что у вас в степи есть свои собственные Салтычихи и Кабанихи… — Он рассмеялся, вспомнив интриги Манике и Каражан. — В разделе наследства я, конечно, ничем не мог вам помочь, — с улыбкой продолжал Павлов. — Но, может быть, теперь вам пригодятся мои советы? Спрашивайте о чем хотите, с удовольствием вам помогу.

Абай поблагодарил Федора Ивановича за дружеское участие и тут же воспользовался его предложением.

— Нынче в Кара-Мола приедет семипалатинский губернатор, — начал он. — Мне никогда не приходилось встречаться с ним. Что это за человек? Как вы советуете с ним разговаривать: лично или через кого-нибудь из его чиновников? А может быть, защищаться самому мне и не стоит? На меня так много подано жалоб и доносов. Не лучше ли взять адвоката?

Павлов, подумав, ответил:

— Он человек новый, приехал не так давно. Говорят, если он видит, что перед ним трепещут, он и грозен и беспощаден, но едва почувствует решительность и смелость— резко меняет тон и даже может отступить. Вот что говорят о нем чиновники и адвокаты. Может быть, вам это пригодится.

— Конечно. Хорошо, что вы сказали.

— У вас есть свое сильное оружие, Ибрагим Кунанбаевич. Воспользуйтесь им. Все эти чиновники считают казахскую степь дикой и темной, а людей ее — невежественными. С кем бы вам ни пришлось встретиться и говорить, — покажите им, что в этой степи есть настоящие люди. Пусть знают. Покажите им, что Ибрагим Кунанбаев, который и родился и вырос в этой степи, лучше их знает, что такое поэзия и искусство, глубже понимает, что такое человеческое достоинство, справедливость. Держите себя с достоинством. Помните, что вы представляете честь вашего народа.

Павлов разгорячился и взволновался. Его большие синие глаза сверкали, он выпрямился. «Ссыльный, скованный, а как он горд, как смел!.. — подумал Абай. — Ни страха, ни робости…» Ему невольно припомнились те русские, о которых читал он в книгах: рассеянные по тюрьмам, ссылкам, каторгам, гордые, непреклонные сыновья русского народа.

Разговор был прерван внезапно. Тяжелые шаги и позвякивание шпор возвестили о появлении в ауле постороннего. В дверях юрты показался рослый жандарм с красными витыми шнурками, спускающимися с левого плеча, с шашкой в блестящих ножнах.

— Господин Павлов? — обратился он к Федору Ивановичу. — По личному приказанию его высокоблагородия полицмейстера города Семипалатинска прибыл за вами. Вы привлекаетесь к ответственности за самовольную отлучку в киргизскую степь. Потрудитесь немедленно следовать за мной.

Это неожиданное появление взволновало Абая. Но Павлов, насмешливо сощурив глаза, спокойно посмотрел на усатого толстяка, который напыщенным тоном, казалось, хотел придать себе важности.

— Ну, немедленно я никуда двинуться не могу, — с явной издевкой сказал он. — Вот закончу свои дела, соберусь — тогда и отправимся.

— Мне приказано доставить вас сейчас же… — начал было жандарм.

Павлов перебил его.

— Если вы торопитесь, поезжайте один. Я же сказал, что мне нужно закончить здесь свои дела… Пойдемте, Ибрагим Кунанбаевич, — он повернулся к Абаю, — угостите меня кумысом в последний раз в этом году.

Только в середине дня Павлов смилостивился над жандармом и объявил, что готов ехать.

Абай, прощаясь, крепко обнял друга. Молодежь с грустью проводила дорогого гостя.

Когда тележка с Павловым была уже далеко от аула, Абай и его спутники сели на коней и тоже двинулись в путь.

Эти дни Базаралы проводил на коне, объезжая аулы.

Теперь он был почти здоров. С того самого дня, когда во время боя с Азимбаем он нашел в себе силы встать на ноги, Базаралы как будто забыл о своей болезни. Успех, хотя и временный, помог ему воспрянуть духом. Видя, что он может уже садиться на коня, Даркембай уговорил его поехать на урочище Гайлакпай. Там находилось соленое озеро Ушкара; говорили, что грязь этого озера — самое верное средство против «куянга». Даркембай продержал Базаралы там две недели, каждый день укладывая друга в деревянное корыто и обмазывая теплой грязью его ноги. Леченье это действительно сделало свое, и Базаралы сам подшучивал над собой.

— Оказывается, зря я дрожал перед своей болезнью, — говорил он друзьям. — Вел себя как глупый жаворонок, который, боясь взлететь, прячется от лисы в траве. Давно надо было полечиться грязью![57] Когда на меня валились всякие беды, я никаких болезней не знал. Спасибо Азимбаю и Даркембаю: помогли мне нынче стать на ноги: один — бедой, другой — грязью!

Базаралы пустился в эту поездку ради Абая. Он посещал один за другим все бедные аулы, везде собирая приговоры в защиту Абая. Решение это было вызвано тем, что незадолго до отъезда Абая в Кара-Мола рассказал ему Дармен.

Тот говорил, что число врагов Абая все растет. Такежан и его прихлебатели давно уже объявили Абая отступником от пути Кунанбая и предков, называли его совратителем, обвиняли в кощунстве. А нынче появился новый ядовитый змей — Уразбай. Этот молит о каре Абая уже не бога, а городские власти, обвиняя Абая не в кощунстве, а в непослушании царю. Сейчас Абая хотят судить за то, что в прошлом году он поднял народ против сбора недоимок.

Выслушав Дармена, Базаралы начал раздумывать вслух:

— «Не сын Кунанбая», «не потомок предков», «отступил от пути отцов»… А что же, они ведь правду говорят! Только плохо ли это? Да, он отпал от всех этих такежанов и ушел к народу. Ради народа он сцепился сейчас с волками-сородичами. Вот за это его и тянут в суд… Но теперь надо и народу вступиться за него. Ты ничего не говори Абаю, а я вот сяду на коня и по-своему попробую помочь ему.

Надежды его оправдались.

Во всех бедных аулах он рассказывал о том, что Абай попал в беду. Имя Базаралы после его отважного набега на табун Такежана было хорошо известно, и слушали его с доверием и уважением. И везде— в аулах Кокше, Мамая, Жигитека и отдаленного рода Жуантаяк — Базаралы находил сторонников Абая.

— Разве мало помогал нам всем Абай? А можем ли мы сказать о себе, что хоть раз помогли ему? — говорил Базаралы, убеждая решиться на составление приговора.

В другом ауле он говорил:

— Царские власти и наши степные воротилы объединились против Абая, у них один общий клич: «Пусть погибнет тот, кто заступается за народ!» Наши на него клевещут, а те готовят ему кару. А что же народ не заступится сам за Абая?

Там, где его окружали такие же бедняки, как он сам, Базаралы говорил яснее:

— Абай стоит за народ, а народ — за Абая. Если есть за кого поднять шокпары — так за него. Он давно показал нам светлый путь славной борьбы. Не было в степи ничего лучше того, к чему он зовет, есть за что пролить кровь.

Вскоре обе его переметные сумы были набиты бумагами с печатями волостных старшин — приговорами, в которых аульные сходы просили начальство не допустить несправедливости в решении дела Ибрагима Кунанбаева.

Абай не очень торопился на кара-молинский «шербешнай».[58] В дороге он рано останавливался на ночевку у друзей в разных аулах, поздно выезжал по утрам. Лишь на четвертый день путники выехали на берег реки Чар.

День выдался ясный и теплый. Дул легкий ветерок. Узкая река вилась между крутых берегов, которые порой переходили в широкие поймы, зеленевшие сочными травами. Прозрачная, удивительно чистая вода бежала по крепко слежавшемуся песчаному дну, колыша травинки, залитые ею. Степь почти вся еще была зеленой; лишь далекие холмы и перевалы покрывал побелевший ковыль. Вблизи же было видно, что сквозь него уже пробивались вспоенные дождями осенние травы, зеленея между белыми или соломенно-желтыми стеблями.

Путники уже дважды пересекли Чар. Кони, идя берегом, фыркали, тянулись к воде. Когда, проехав широкий луг, покрытый низкой ярко-зеленой травой, всадники снова очутились на пологом берегу Чара, им еще раз пришлось перебираться через реку. Кони, вступив в воду, настойчиво потянули поводья, пытаясь опустить губы в прозрачную струю. Байкокше, строго следивший в пути за длиной перегонов и сроками привала, теперь приказал:

— Здесь будем поить коней. Больше нам переходить Чар не придется.

Всадники, не слезая с седел, разнуздали коней. Абай тоже нагнулся к удилам, но его опередил Ербол, остановивший коня рядом с ним; быстро перегнувшись с седла, он разнуздал коня Абая.

— Ну вот, сейчас начнут надо мной издеваться: не может, мол, сам напоить своего коня! — шутливо подосадовал Абай и ласково добавил — Видно, ты до самых седин не перестанешь обо мне заботиться.

— Э-э, наверно, эта привычка в меня вросла, — ответил Ербол. — Сколько уже лет я о тебе думаю: «Бедненький, беспомощный. Надо его пожалеть, ему с таким делом не справиться».

Все расхохотались: слово «беспомощный» трудно было применить к плотному, дородному Абаю.

Конь Байкокше, опередив остальных, пил чистую, незамутненную воду на самой середине реки. Старик, повернувшись в седле, с улыбкой смотрел на Абая и Ербола. Большой нос резко выделялся на его высохшем и сморщенном лице с побелевшей бородкой клином. В прищуренных глазах, спрятавшихся под нависшими бровями, сверкал бодрый и веселый огонек; казалось, они мерцали, как очень далекие, но яркие звезды.

— Что это значит? Что это вы вдруг разнежились? — окликнул он друзей. — Вас ждут споры и обвинения, разгорающийся огонь, а вы… Я-то думал, что вы нынче прямо с седла кинетесь в борьбу. Поглядите-ка: два таких батыра, а хнычут, как друзья-калеки, — слепой и хромой.

Напоив коня, Байкокше стегнул его и по стремя в воде двинулся к другому берегу. Абай, поглядев ему вслед, обернулся к Ерболу и Дармену.

— Вы заметили, как засверкали у него глаза? В нем проснулся задор. Вот увидите, он сейчас что-нибудь споет.

Дармен не раз говорил своим друзьям, что у Абая особое чутье на вдохновение; по огоньку, вспыхнувшему в глазах, он умеет распознать его. «Неужели Абай угадал? А если да, что же сейчас подхлестнуло старика?» — с любопытством подумал Дармен, нетерпеливо ожидая начала песни. Сам легко вдохновляющийся поэт, Дармен всегда с наслаждением следил за тем, как внезапно и быстро вспыхивает пламя поэзии в других.

Байкокше остановился у зарослей ковыля на берегу реки. И пока остальные догоняли его, он успел сойти с коня и пустить его на траву, держа на длинном чембуре.

— Спешивайтесь, дайте коням отдых! — приказал он всадникам, и Дармен с удивлением услышал, что голос старика стал более звучным и бодрым, чем раньше.

Едва коней пустили пастись, Байкокше, сбросив с головы тымак, надтреснутым, но еще сильным голосом запел быстрый и бодрый зачин.

Теперь его слегка раскосые прищуренные глаза горели еще ярче. С первых же слов песня захватила внимание слушателей. Она лилась свободно и быстро, как река. Акын пел ее, повернувшись к Абаю, но глядя выше его головы.

Он пел о том, что в прошлую ночь видел во сне Абая, который одиноко стоял в бескрайной степи. Было ли то утром, или вечером, Байкокше не помнит. Где это было, не знает. Лишь, как туманный мираж, видна была одинокая фигура Абая. Казалось, тот, насторожившись, чего-то ожидал… И вдруг пасмурный сумрак вокруг него зашевелился. С разных сторон на Абая, кинулись рычащие хищники. Один был похож на свирепого черного пса, второй — на голодного волка с провалившимися боками. Третий был как лиса, которая, чуя запах крови, облизывалась, подкрадываясь. Темные крупные тела не то кабанов, не то леопардов кольцом окружали Абая… И снова все затянулось мглой, крутящейся в вихре. И Абай и чудовища исчезли. У Байкокше защемило сердце. Глаза его наполнились слезами. «Абай!» — изо всей силы закричал он. Настала тишина. Когда же он в страхе взглянул туда, где был Абай, там все совершенно изменилось. Светило солнце, сияло ясное небо, а в кольце хищников вместо Абая стоял лев. Он зарычал, вскинулся в прыжке, снопы огня брызнули от него. Лев прыгнул в самую гущу зверей. Он разорвал в клочья и черного пса, и жадного волка, и коварную лису, и кабана с кривыми клыками, и леопарда. Шерсть летела с них, кровь текла струями. Еще недавно грозные, хищники лежали с переломленными хребтами, с окровавленными головами, визжали и стонали в предсмертных судорогах, зализывая раны. И лев, одиноко стоящий на высоком холме, грозно вопрошал: «Остался ли где-нибудь еще враг?» Когтями он царапал скалу, хвостом, как соилом, бил себя по бокам и рычал…

— Вот весь мой сон, жигиты. А теперь по коням! — воскликнул Байкокше, закончив песню, и первым зашагал к коню.

Уже вечерело, а до ночевки надо было сделать еще один переход. Байкокше, то и дело подстегивая своего рыжего коня, быстро ехал впереди, не давая другим поравняться с собой. Всадники растянулись длинной цепочкой, подгоняя коней.

Только теперь, ускакав перед, Байкокше улыбнулся себе в бороду. Четыре дня тому назад Даркембай, к которому он заехал в гости, рассказал ему, что Абая вызывают на допрос в Кара-Мола. Он сообщил также и о том, что делалось в ауле Такежана. Даркембай предложил старому акыну сопровождать Абая в поездке. «Против Абая нынче объединились все: в степи — подлые аткаминеры, в городе — чиновники и любители взяток, — с волнением говорил Даркембай. — Поезжай с ним, поддержи чем-нибудь Абая, придай ему сил. Пришло время, когда и мы с тобой должны помочь Абаю». Этот совет верного друга и вызвал вдохновенную песню старого акына.

В тот день вечером путники доехали до Кара-Мола. Абай вместе во всеми остановился в Гостевой юрте, которую выставил для него Айтказы.

Днем раньше в Кара-Мола приехал и Уразбай. Хотя он выехал из аула на другой день после Абая, но опередил его в пути, делая длинные переходы. Юрты и скот для угощения и взяток были доставлены сюда за неделю до его приезда.

От шербешная Уразбай ожидал многого. На этот раз он надеялся окончательно сломить Абая, объединив против него и степных казахских воротил и русских городских чиновников. Если бы он мог, он приехал бы еще раньше, но ему пришлось выжидать, чем кончится борьба за наследство Оспана. По его расчетам, она должна была привести Такежана к открытой вражде с Абаем. Уразбай все откладывал свой отъезд в Кара-Мола, надеясь, что Такежан перейдет на его сторону. Однако тот отделывался только короткими сообщениями: «решится завтра», «узнаем сегодня…»

Наконец в ауле Уразбая появился Азимбай. Уразбай и Медеу, радушно приняв его, постарались поскорее остаться с ним наедине, чтобы разузнать о намерениях Такежана. Но от хитрого и расчетливого внука Кунанбая добиться чего-нибудь было не так-то легко.

— Абай обидел и отца и Исхака, — рассказал он. — Он не дал разделить наследство, не посчитавшись с тем, что отец старше его. Хитрыми уловками оставил в своих руках Большую юрту. Отец прекратил пока переговоры.

Уразбаю стало ясно, что Такежан обиделся на Абая. А то, что Азимбай приехал с этой вестью сам, означало, что Такежан уже готов на все.

Не показывая вида, насколько все это его занимает, Уразбай пристально следил за Азимбаем, жадно ловя его скупые слова. Поняв, что тот ничего больше не скажет. Уразбай оставил его с сыном, а сам вышел из юрты.

Уразбай любил уезжать в степь один, чтобы обдумывать свои дела и замыслы. И в этот раз он поехал к озеру мимо длинной привязи для жеребят (ради хвастовства он приказывал привязывать их сразу сотню, чтобы показать гостям, сколько доится кобылиц). К озеру уже двигался на вечерний водопой огромный табун светло-серых пугливых диких жеребцов и кобыл-пятилеток.

Мысли Уразбая были радостны. Возможность осуществления мести возбуждала и подбадривала его. Самым непримиримым врагом, которого он мечтал раздавить, был Оспан. Когда он умер, Уразбай всю свою злобу перенес на Абая, которого давно ненавидел. Мстительный, жестокий, решительный, он считал, что если уж враждовать, то враждовать надо так, как Кунанбай, — прибегая в борьбе к любым средствам. Последнее время он только и был занят тем, что расставлял сети против Абая. Он не жалел скота и коней на взятки городским начальникам и толмачам. В степи он привлекал к себе сторонников не только в Тобыкты. За последние годы Уразбай добился того, что его имя было на устах всех волостных, биев и аткаминеров Керея, Матая, Уака, Наймана, Буры. Представители этих племен должны съехаться на кара-молинский шербешнай из Семипалатинского, Усть-Каменогорского, Зайсанского уездов. Там же должны были быть и городские богачи, со многими из которых Уразбай или породнился или был связан делами.

Но лишь сегодня эта сеть, готовая захлестнуть Абая, была сплетена до конца. Уразбай давно мечтал, как бы разжечь вражду в самой семье Абая, оторвать его от сородичей. Новости, привезенные Азимбаем, крайне обрадовали Уразбая: стало ясно, что теперь можно действовать, ни на что не оглядываясь.

Обдумывая это, Уразбай рыскал возле аула, пока табуны не напились воды и не ушли в ночное. За это время в юрте его собралось множество гостей. Это были его сторонники, вроде Абралы, Молдабая, Жиренше, Байгулака, которых Уразбай пригласил с собою в Кара-Мола. Их встречал и угощал чаем племянник Уразбая Спан.

Весь этот вечер Уразбай говорил со своими единомышленниками только об Абае.

— И когда это наши казахи перестанут заблуждаться, называя его справедливым, умным? Вы слышали, на какое злое дело решился этот «справедливый Абай»? Он ограбил всех своих родственников, даже родных братьев — Такежана и Исхака. Из наследства Оспана никто ничего не получил. Абай выгнал всех из Большой юрты Кунанбая, завладел ею сам, забрал себе все богатство. Что же, в этом его справедливость? Видите, как наш праведник насильничает над живыми и над умершими. Я ведь всегда говорил, что, когда дело дойдет до дележа наследства Оспана, сказка о неподкупности и честности Абая развеется, как дым. Так оно и вышло. Вон он какой, ваш Абай! И родных ограбил, и честь рода попрал, и кунанбаевское гнездо разрушил. И сам он сбился с пути, проложенного дедами, и молодежь сбивает…

То, что сказал Уразбай о разделе наследства Оспана, оказалось новостью для всех его гостей. Но даже Молдабай, который тоже ненавидел Абая, не смог этому поверить и, подозрительно взглянув на Уразбая, подумал: «Наверно, врет. Неужели Абай на это решится?»

Его сомнения выразили вслух Абралы и Байгулак.

— Неужели это правда, Уразеке?

— Верно ли это?

Уразбай, выпрямившись, окинул их суровым взглядом и нахмурился.

— А зачем мне говорить неправду? Мы сидим за скатертью, бог — свидетель правдивости моих слов…

И пока пили чай и кумыс — а кумыс пили очень долго— и потом, когда лакомились мясом молодого жеребенка, — а его подали уже к ночи, — воротилы племени Тобыкты усердно обливали грязью Абая.

— И почему это наши казахи хвалят Абая? — сказал Байгулак. — Удивительно, что многие сразу принимают его сторону, стоит им только послушать его самого!

Уразбай махнул рукой и отвернулся. Что же касается Жиренше, он не удержался, чтобы не подзадорить Уразбая. Хитро поглядывая на него, он протянул своим обычным насмешливым тоном:

— Абая называют мудрым, красноречивым, а нас — темными людьми, невеждами. Видно, у него и впрямь большой ум и талант!

Уразбай чуть не взвыл от злости.

— В чем его ум, в чем талант? В том, что он везде и всюду кричит: «Предки — плохие, обычаи казахов — плохие, отцы — плохие?» Разве в этом мудрость? Какая же мудрость в том, чтобы твердить: «Волостные — грабители, бии и аткаминеры — вредные люди, муллы, проповедующие религию, — обманщики»? Или мудрость в том, чтобы отбивать детей от отца, толкать людей с пути, проложенного предками? Почему ты не говоришь, что такая мудрость распространяет не благо, а зло? Что она — яд, что она мутит воду, разжигает пожар вражды?

Жиренше, слушая, подмигивал другим. Ему хотелось и дальше злить Уразбая.

— Э-э, Уразеке, а где ж ты найдешь сейчас людей, которые скажут все это? Сейчас все, кто мало-мальски грамотен, читают и его стихи и его поучения, гордятся тем, что учат наизусть всю эту чепуху, называя ее «словами Абая». Ничего не сделаешь, Уразеке, они все хотят слушать не твои умные слова, а его, способные лишь вызвать пожар.

— Будто болезнь какая-то на них на всех нашла, — подхватил Абралы. — К хорошему это не приведет… Действительно, и от молодежи, и от домбристов, и даже от детей только и слышишь, что стихи да песни Абая.

Абралы говорил правду: в этом году до него дошли стихи Абая, в которых тот издевался над ним. Мысль о том, что эти насмешливые слова поэта повторяет множество людей, бесила его.

Его поддержал и племянник Уразбая Спан.

— Уразеке, вы все не хотите обращать на это внимания, надеясь на свою силу и влияние. Но разве слова этого Абая не оказались в книгах у ваших же внуков, которые этим летом учились в Молодой юрте? Как вы тогда бушевали, помните? — улыбнулся он.

Уразбай даже выругался вполголоса.

— Да, взял я тут из Жуантаяка какого-то муллу обучать детей читать молитвы и совершать намаз. А он, видно, оказался из тех людей, у кого от чрезмерного учения мозги прокисают. Раз я сидел возле юрты и прислушался, чему он учит детей. Оказывается, заставляет их учить наизусть какую-то абаевскую дребедень. Дети орали стихи на весь аул, а в них Абай издевается над волостным. Кажется, там говорилось про Молдабая. — И Уразбай насмешливо взглянул на Молдабая, сидевшего рядом. — Я как послушал, какой грязью обливает Абай людей, стоящих во главе аула, вскипел от гнева. В руке у меня была камча — так я этого муллу исполосовал вдоль и поперек и в тот же день выгнал из аула пешком. Вот так и нужно пресекать зло, не давать ему расползаться в народе! — сказал он, с гордостью поглядывая на гостей. — Если аткаминеры не будут с этим бороться, немудрено, что народ испортится! Разве не говорят: «У всякого времени свой дьявол»? А дьявол нашего времени — это и есть Абай. И если я борюсь с ним, то разве я хочу отбить у него скот или извлечь для себя какую-нибудь пользу? Вот — над скатертью — я утверждаю, что борюсь с ним только для того, чтобы спасти от его дьявольского искушения и молодых и старых людей нашей степи. Я борюсь с ним как с врагом мудрых обычаев наших отцов и дедов. И посмотрите: завтра эти мои слова повторят все казахи — и не одни тобыктинцы, но и уважаемые люди всех племен, которые собрались на шербешнай. Вы слышали, что наш уездный ояз[59] Казанцев вызывает Абая держать ответ? Я получил весть от его толмача, моего доброжелателя. Толмач говорит, что не только Казанцев, а все большие начальники злы на Абая. Можно думать, что на этот раз Абай кувыркнется, словно перекати-поле, гонимое ветром. Вот я и еду в Кара-Мола посмотреть своими глазами, как пошлют в ссылку Абая. Поезжайте со мной, кто хочет, будем с проклятьем бросать ему в спину горсти пыли…[60]

Во время этой речи гости то и дело одобрительно кивали головами.

— Это верно: и все достойные казахи и русские начальники объединились против Абая, — добавил Жиренше. — Но ему грозит не только ссылка… Я прямо скажу: на этот раз Абаю не миновать проклятия предков…

Уразбай и Абралы быстро повернулись к нему. Он возмущенно продолжал:

— Вчера Шубар сообщил мне еще одну мерзкую новость. Верить ему можно: хотя он и трется возле Абая, но человек надежный… Что творится в этом ауле? Там настоящее жилище джинов. В нем найдется приют и для русского ссыльного, врага белого царя, и для всякого сброда — шутов, певцов, акынов. Один из них, какой-то Дармен, сочинил отвратительные стишонки. В них он глумится над духом нашего предка Кенгирбая. Назвал его «взяточником», «кабаном», «волком, сожравшим собственного волчонка». И все это громко пелось в ауле Абая. Шубар, услышав, просто остолбенел… Вот какие дела там творятся! — хмуро закончил Жиренше.

Уразбай возбужденно заговорил:

— Ну что, видите, кто такой Абай? Ничего нельзя жалеть, чтобы избавиться от него! Надо сделать все, что в наших силах!

Утром Уразбай со своими приспешниками выехал в Кара-Мола. Остановившись на ночевку только один раз, он прибыл туда на день раньше Абая. Уразбай торопился встретиться с союзниками, такими же коварными и хитрыми интриганами, как он, сам, договориться с ними о действиях против Абая и перетянуть на свою сторону тех, с кем давно не виделся. Поэтому в первый же день он созвал гостей, которые едва поместились в двух его юртах. Это были его сторонники из волостей Семипалатинского уезда. Для них были зарезаны жеребенок, баран и несколько упитанных ягнят. Уже к вечеру по всем юртам, выставленным на съезде, из уст в уста полетело имя богача Уразбая из Тобыкты.

На следующий день Уразбай кроме вчерашних гостей пригласил аткаминеров и богачей Усть-Каменогорского и Зайсанского уездов — из племен Сыбан, Найман, Керей. На этот раз ему пришлось попросить у своего приятеля, аршалинского волостного Ракиша, еще две белые юрты для гостей. С утра сюда привезли изрядное количество кумыса, а в полдень к юртам подвели упитанную серую кобылу. Самый старший из гостей Байгулак по просьбе Уразбая благословил кок-каска. Кобыла была тут же зарезана, мясо ее заложено в котлы.

Ни вчера, ни сегодня гости Уразбая ни словом не обмолвились о тех надеждах, которые возлагал народ на этот чрезвычайный съезд, хотя карамолинский шербешнай был назначен именно для разбора бесчисленных жалоб на волостных и степных воротил. Почти все собравшиеся в юртах Уразбая и были виновниками злодеяний, которые обличались в этих жалобах. Но они не собирались ни отвечать за это, ни возвращать награбленное. Если бы на шербешнае был действительно справедливый суд, все эти мурзы, бии, аткаминеры, волостные оказались бы ответчиками. Но они приняли свои меры. На съезд должны были приехать начальники трех уездов и губернатор Семипалатинской области. Зачем они приедут, никто из степных воротил не знал. Но все эти заправилы уже заранее объединялись, крепко держась друг за друга. Жалобы простых аульных казахов должны быть снова положены под сукно и лежать там годы, как лежали и до этого съезда.

Хотя о таком союзе никто не говорил вслух, но самое появление всех этих людей в юрте Уразбая на угощении мясом кок-каска показывало, что они, забыв недавние раздоры, молчаливо согласились держаться вместе. Беседа шла о начальниках, приезд которых ожидался завтра, или о сопровождающих их толмачах, но не о жалобах народа.

Улучив подходящий момент, Уразбай осторожно перевел разговор на Абая. Оказалось, что стихи и наставления его были известны даже в самых дальних племенах и родах и что там они не вызывали возмущения, которого он ожидал. Тогда Уразбай решил напугать аткаминеров, трепещущих перед начальством и мечтающих выслужиться.

— Не знаю, выпутается ли Абай из тяжелого положения, — заговорил он так, что нельзя было понять, радуется ли он этому как враг или сочувствует Абаю как сородич. — Говорят, семипалатинский ояз очень зол на него и нарочно его сюда вызвал… Видно, его будет судить волостной суд. Наши толмачи писали, что и сам губернатор недоволен Абаем.

Говоря это, Уразбай зорко следил за гостями. Он не увидел в них никакого сочувствия Абаю; наоборот, судя, по довольным поддакиваниям многих, было видно, что слова эти их обрадовали. Тогда Уразбай, откинув притворство, заговорил уже откровенно. Он начал обвинять Абая и в том, что тот против белого царя и властей, и в том, что он сбивает людей с мусульманского пути, нарушает дедовские законы и обычаи. Он поразил слушателей сообщением о том, что на днях Абай отнял у родных братьев наследство. Не забыл он также обвинить Абая в скупости и корыстолюбии.

— Можно ли поверить, что он даже поскупился на поминки по своему отцу Кунанбаю?! — воскликнул он.

Теперь аткаминеры зашумели и сами начали обвинять Абая. Один из чванливых заправил Сыбана, уже захмелевший от кумыса, взял домбру и, побренчав на ней, спел коротенькую песенку, злобно высмеивающую Абая.

— Может ли сын ставить себя выше отца? — спросил волостной Ракиш, оглядывая всех. — А вот Абай считает, что он выше Кунанбая, хотя тот, подобно минарету, возвышался при жизни над всеми казахами и пользовался огромным влиянием. Абай и при жизни отца постоянно схватывался с ним, враждовал, а под конец совсем отрекся от него. Немудрено, что после смерти отца он старается уничтожить самую память о Кунанбае. Именно поэтому он не устроил поминального аса. Тут причиной и скупость и гордыня. Что можно сказать о человеке, который глумится над могилой своего отца?

— Э-э, правильно говорит Ракиш, — одобрил Уразбай. — Этот Абай так загордился, что думает: «Имя мое стало широко известным, значит никто не посмеет осуждать меня. Что бы я ни сделал — все сойдет». Но если дурной человек совершает дурной поступок, на него есть управа. Неужели власти станут терпеть такого выродка, который нарушает мирное течение жизни народа, грабит родных, глумится над памятью отца и все это называет «добром», «справедливостью»? Какое же это добро, если все вы, почитаемые народом аткаминеры, готовы изгнать его?

Так Уразбай расчищал себе путь, давая понять, чего он хочет. Когда гости разошлись, он, сидя один перед юртой и прихлебывая в вечерней прохладе кумыс, самодовольно разглаживал свою длинную черную бороду, любуясь искорками седины, видя в них как бы сверкание зрелой мудрости.

Во-первых, было уже ясно, что ни один из влиятельных аткаминеров всех трех уездов не заступится за Абая. Во-вторых, когда завтра Уразбай подаст свою жалобу на Абая, каждый из бывших у него воротил поддержит его перед начальством на любом допросе. И в-третьих, после двух этих угощений кругом стали говорить: «Теперь самый значительный человек в Тобыкты — Уразбай. Слово его — закон». Таким образом, степные воротилы будут делать то, чего хочет он. Что же касается городских начальников и чиновников, то, подкупленные взятками, они давно были на его стороне.

В этот вечер и приехал в Кара-Мола Абай. Хотя он появился без всякого шума, сопровождаемый лишь небольшой группой друзей, о приезде его тотчас же стало известно Уразбаю.

Обычно на подобных съездах аткаминеры других уездов, опасаясь, как бы Абай, пользующийся таким уважением народа, не стал главным бием съезда, приходили к нему «поздравить с приездом», «выразить свое уважение». Но сегодня у него появлялись лишь простые аульные казахи, услышавшие о его приезде.

В день открытия шербешная возле белоснежных юрт, приготовленных для приезжающего начальства, с полудня выстроилась большая толпа степной знати всех трех уездов. На груди у волостных блестели большие медные знаки на медных же цепях — знак их власти. Некоторые из аткаминеров были одеты в расшитые галунами кафтаны, другие накинули на плечи богатые парчовые халаты, полученные в награду. Такие же халаты и старинные мундиры надели на себя и потомки султанов, тюре и прочих высокопоставленных особ.

На таких сборах казахи привыкли сидеть, расположившись полукругом. Сейчас же, встречая начальство, они вынуждены были стоять. Прошел уже час с тех пор, как волостные и аткаминеры выстроились в ряд, а грозное начальство все еще не показывалось. Однако никто не ворчал, не жаловался на усталость, все стояли покорно и терпеливо, как во время намаза. У больших юрт, покрытых белоснежной кошмой, не было заметно ни малейшего движения. Истуканами торчали возле них стражники в красных шапках, заранее приехавшие из города, да старшины, которых кара-молинский пристав назначил сторожить юрты, поставленные для начальства.

Наконец, вздымая пыль и звеня бубенцами, мимо выстроившейся знати промчался шумный поезд начальства. Скакали десятки всадников, гремели колесами закрытые кареты, катились повозки, в которые были запряжены тройки. Большинство встречавших должно было признаться, что такого внушительного прибытия начальников еще не приходилось видеть. Даже когда на съезд приезжал один уездный и три крестьянских начальника, и то бывал немалый переполох. А сейчас на шербешнай приехало сразу три уездных начальника, с каждым из них по пять-шесть крестьянских начальников, подчиненных им, приставы, урядники, стражники, толмачи, посыльные. И, кроме того, нынче на съезд прибыл сам новый жандарал — генерал, военный губернатор, начальник всей области. Полицмейстер, который придавал особенное значение этому первому выезду генерала в степь, добавил к обычной свите еще множество жандармов и полицейских. Вместе с жандаралом приехали и его советники, переводчики, секретари. Толпа чиновников и полиции затопила всю территорию карамолинской ярмарки.

Увидев столь пышный и блестящий поезд, волостные и аткаминеры оживленно загудели, выражая свой восторг. Они продолжали стоять, ожидая, когда прибывшее начальство выйдет из юрт для встречи с ними. Однако это произошло очень нескоро. Видимо, начальство приводило себя в порядок после долгой пыльной дороги.

Абай, которому следовало быть среди встречающих, пошел к ним тогда, когда начальство уже прибыло. Подходя к толпе аткаминеров, он встретил знакомого толмача и спросил его, приехал ли с губернатором Лосовский. Тот, зная, как дружески относится Лосовский к Абаю, ответил, что он здесь, и взялся передать ему просьбу Абая о свидании.

Лосовский, действительно, вышел из юрты и подошел к Абаю. Но сегодня чиновник особых поручений при генерал-губернаторе совсем не был похож на прежнего советника Лосовского. Он поздоровался с Абаем сухо и надменно и тут же, не дав ему раскрыть рта, холодно сказал:

— К сожалению, нынче я ничем не могу быть вам полезен. Ваши дела плохи. Очень плохи. Вы сами должны понять почему. Человек вы знающий, опытный, умный. И даже образованный человек. Пожалуй, именно поэтому с вас больше и спросится. Больше ничего вам сказать не могу, желаю всего лучшего.

Это было все, чем встретил Лосовский Абая. Абай подошел к Баймагамбету и Дармену, поджидавшим его в стороне.

— Видели вы, как он перепугался? Даже не спросил, чего я от него хочу, — сказал Абай внешне спокойно, но отлично понимая, что может означать такое отношение к нему Лосовского. — А я-то надеялся на него, считал честным человеком, не лишенным справедливости! Оказалось, он терпел меня, когда я не был ему опасен, а теперь, когда от меня стали шарахаться даже уездные, и он изменился ко мне.

Он двинулся к толпе ожидающих. Аткаминеры сосредоточили все свое внимание на белых юртах, и почти никто не заметил прихода Абая. Каждый думал только о том, будет ли он на этот раз замечен начальством, услышит ли хотя бы два слова. Мечтая об этом, все они вытягивали шеи, проталкивались вперед, нетерпеливо топтались на месте.

Поведение Лосовского не столько встревожило, сколько огорчило Абая. Кое-кто поздоровался с ним, он ответил только кивком головы.

Наконец возле юрт начальства началась суматоха. Появились полицейские, стражники, засверкали на солнце блестящие пуговицы, ножны шашек, галуны погон. По ряду волостных, как ветерок, пробежал тревожный и подобострастный говор:

— Вот идут…

— Начальство идет…

— Оязы вышли! Все трое!

— Глядите, глядите, сейчас выйдет жандарал…

— Умеет начальство придать себе внушительность…

— Поглядите на жандармов: как глаза пялят, как тянутся!

— Кого хочешь напугают! У меня по спине мороз…

Свита губернатора выстроилась двумя рядами от юрт до толпы встречающих, образовав посредине проход. В этом проходе показалась группа надменных гостей, сверкающих мундирами, эполетами, крестами, медалями.

Впереди шел пожилой генерал — военный губернатор Семипалатинской области. Это был тучный, самодовольный человек с седой окладистой бородой. Из-под густых эполет, серебряных аксельбантов, широкого золотого пояса, орденов, крестов и медалей, закрывающих всю грудь, его мундира почти не было видно. Свита шла шагах в трех-четырех позади него. Здесь были все три уездных начальника в полицейских мундирах, крестьянские начальники, советники, чиновники в черных вицмундирах или сюртуках.

Льстивый шепот, похожий на шум камыша, пригибаемого порывом ветра, пролетел по толпе ожидающих:

— Жандарал… Жандарал…

— Белый жандарал…

— Какая осанка!.. Как идет!..

Губернатор подошел к шеренге волостных. К нему подскочил низенький и кругленький толмач-казах с беспокойными раскосыми глазами. Но переводить ему ничего не пришлось.

Первым поздоровался с губернатором волостной Ракиш. Прижав к груди остроконечный малахай, подбитый черной мерлушкой, он быстро кланялся в пояс. Казалось, будто хребет его перебит пулей и он никак не может выпрямиться. Ноги его трясло мелкой дрожью. Хотя он был еще в расцвете лет, но сейчас выглядел дряхлым стариком, не владеющим ни своими движениями, ни языком. Он мог только пролепетать почти шепотом: «Здарасти, господин!..»

И все остальные волостные прижимали к животу или груди свои малахаи и шапки, низко кланялись, у всех был такой вид, будто у них внезапно схватило живот, и все, так же как и Ракиш, повторяли: «Здарасти, господин… Здарасти, господин…»

Глядя на это, уездные начальники, шедшие за губернатором, не могли удержаться от высокомерных улыбок. Ряд волостных уже заканчивался, но никто не назвал своего имени, не представился губернатору, не сказал ни одного путного слова. Только и было слышно пыхтенье кланяющихся аткаминеров и полузадушенный испуганный хрип: «Здарасти, господин…»

Теперь губернатор подошел к Абаю, на котором не было ни мундира, ни кафтана в галунах, ни знака на шее, ни медали. Одетый в хорошо сшитый из тонкого серого сукна длинный бешмет городского покроя, Абай, стоявший спокойно и свободно, не изменил своей полной достоинства позы и тогда, когда генерал подошел к нему вплотную. Губернатор окинул его быстрым взглядом. Этот дородный, красивый казах со спокойными, умными глазами, так резко отличавшийся от всех остальных и одеждой и поведением, невольно привлек его внимание. И когда генерал протянул руку, казах, к его удивлению, не сломился пополам, как другие, а лишь наклонил голову и не спеша проговорил:

— Здравствуйте, ваше превосходительство! Ибрагим Кунанбаев, — назвал он себя.

Генерал, отступив на шаг, снова посмотрел прямо на Абая.

— Кунанбаев?.. А-а, тот самый Кунанбаев, который мутит народ? Почему вы так себя ведете?

— Причина простая: закон жизни, которому подчиняюсь не только я, но и вы…

— Какой закон? — Генерал нахмурился.

— Борьба. Разве не в борьбе развиваются все живые существа? Борюсь не только я, но и вы, ваше превосходительство.

Губернатор отступил еще на шаг и с нарастающим гневом оглядел Абая с ног до головы. Его раздражало независимое поведение этого казаха. «Видимо, доносы и жалобы имели под собой почву, — подумал генерал. — Может быть, надо тут же приказать арестовать этого вольнодумца?»

И генерал заговорил сурово и резко:

— Против чего же вы боретесь? Я слышал, против власти?

— Нет… Против зла.

— Если так, почему же вас многие недолюбливают?

— А что тут удивительного, ваше превосходительство? Чего больше в жизни — зла или добра? По-моему, зла и злодеев, творящих его… Значит, и голоса их слышнее…

Разговор их привлек общее внимание. В кучке возле Уразбая тревожно зашептались:

— О чем они там говорят?..

— Уж не выкрутится ли он, если жандарал его слушает? — пробормотал Молдабай.

Урзбай обеспокоенно тормошил Жиренше, который тоже не понимал по-русски.

— Что он, уже допрашивает? Ругает, что ли? Не видишь?

Между тем губернатор по-прежнему стоял возле Абая.

— Итак, вы полагаете, что зла в мире больше, чем добра?

— К сожалению, так, ваше превосходительство…

— Значит, вы еще и обвиняете других, вместо того, чтобы защищаться от множества обвинений? И вы думаете, что сможете что-либо доказать?.

— Уверен, что сумею.

— Что ж, посмотрим! Идите за мной, — коротко бросил губернатор и пошел вперед.

Абай, выйдя из ряда казахов, твердой походкой последовал за губернатором.

Никто не понял, что произошло. Абай и сам не мог понять, о чем, собственно, хочет говорить с ним губернатор. Ему было ясно только одно: своими ответами он заставил губернатора обратить на него внимание. Готовый к любому допросу, Абай, гордо подняв голову, шел за генералом, решив, что и в дальнейшем будет держаться так же независимо.

Между тем за это время произошли выгодные для Абая перемены. Хотя до сих пор еще никто не знал, с каким намерением повел за собой Абая губернатор, новые ряды волостных и биев, изгибаясь вначале перед губернатором, теперь точно так же протягивали руки и Абаю, выражая угодливое почтение и приговаривая: «Будь счастлив, мирза!», «Да снидет слава на тебя, мирза!» Абай шел, не произнося ни слова. Но губернатор невольно обращал внимание на то, как относятся эти люди к Абаю.

Абай едва удерживался от насмешливой улыбки, видя, что творится вокруг. Рассчитывая напугать Абая, губернатор, сам того не замечая, насмерть перепугал всех этих смутьянов и мастеров интриг. Так создалось вовсе неожиданное и действительно комическое положение, спутавшее все карты и многих приведшее в полное смятение.

Церемониал встречи закончился. Генерал обошел всех, поздоровался с каждым и теперь шел мимо волостных обратно. Встречавшие, сложив руки на груди, снова низко кланялись ему. И мимо них спокойной и полной достоинства походкой шел Абай.

Толпа встречавших видела, как губернатор, уже удаляясь, обернулся, снова сказал что-то продолжавшему следовать за ним Абаю, и оба пошли к белым юртам, сопровождаемые свитой. Уразбай и Жиренше, подавшись вперед, выглянули из ряда аткаминеров. Куда они идут? К себе ли ведет его генерал, или возле белых юрт передаст жандармам?

Вдруг Жиренше ударил себя по ляжке сложенной вдвое плетью: губернатор вместе с Абаем вошел в восьмистворчатую белую юрту, отведенную только для жандарала. Вся свита остановилась перед входом, нерешительно постояла возле него и вскоре разбрелась по соседним юртам.

Начали расходиться и аткаминеры. Но Жиренше и Уразбай не могли сдвинуться с места, молча ожидая, что будет дальше. Неподалеку от них стояли Дармен, Баймагамбет и молодой жигит Серкеш. Они тоже не отрывали взгляда от губернаторской юрты.

— Хороший знак. Теперь враги полопаются от зависти! — говорил Серкеш, прищурив маленькие раскосые глаза.

Баймагамбет радостно подтолкнул Дармена и показал ему на полицейского, идущего к юрте.

— Э-э, Дармен, погляди-ка: видишь, урядник несет на подносе чай? Ну, наша взяла!

Дармен и Серкеш расхохотались, а Жиренше с Уразбаем нахмурились и отвернулись, делая вид, что ничего не слышат, хотя все в них кипело от злобы и досады. К ним подошел Ракиш, которому не терпелось посплетничать, и с ним еще двое волостных.

— Куда увели Абая? Как вы думаете, что это значит, Уразеке?

Дармен и Баймагамбет переглянулись и, без слов поняв друг друга, наперебой заговорили, как бы обмениваясь мнениями, но так громко, чтобы и Жиренше с Уразбаем и другие аткаминеры слышали их:

— Э-э, не зря люди говорили, что Абай и жандарала уговорит!

— Да, так оно и вышло. Видно, этот жандарал других казахов и за людей не считает.

— А ты видел, как он с нашими волостными здоровался? — рассмеялся Дармен. — Никому ни слова не сказал. Наверно, ни во что их не ставит, а бляхи их считает вроде собачьих ошейников…

— Так оно и есть, — поддакнул Баймагамбет. — Сам советник сказал: «Что там волостные? Над всеми ними начальником будет Абай!»

— Советник еще говорил, что если Абай-ага будет беседовать с жандаралом, он станет главным бием на шербешнае.

— А что же? Вот увидишь, что из этой юрты он сегодня и выйдет главным бием!

— Конечно! Ведь это не наши казахи говорили, а сам советник. А он уж все знает, о чем думает власть.

— Смотри-ка, все еще сидят вдвоем… — значительно протянул Баймагамбет. — И чай уже выпили, а все еще разговаривают.

Дармен кивнул головой.

— Ну, а как же?

Ракиш и его приятели с самого начала разговора остановились, прислушиваясь, и знаками подозвали к себе еще нескольких волостных. Не выдержал и Жиренше. Как ни был он зол и раздосадован, он тоже подошел сзади к Дармену и, наклонив голову, словно козел при виде собаки, стоял, стараясь не пропустить ни слова.

Дармен и его друзья, сделав вид, что только теперь заметили волостных, замолчали, как бы не желая делиться новостями с другими. Ракиш и еще один молодой волостной стали приставать с расспросами:

— Э-э, родные мои, значит, сам советник так думает?

— Тту-у, какие наши казахи невежды! — протянул Ракиш. — Завидуют Абаю… Есть и такие собаки, которые ему зла желают!

Еще вчера в юрте Уразбая он первым начал чернить Абая. А теперь, почуяв, что ветер дует в другую сторону, мгновенно переметнулся. Зная, что Дармен — один из любимцев Абая, он всеми силами старался завоевать его доверие. Жиренше и Уразбай отлично это поняли. Презрительно взглянув на него, они молча отошли, мрачные и настороженные.

В юрте же в это время между Абаем и губернатором шел необычный разговор.

Губернатор говорил с явным раздражением. Оставшись с Абаем наедине, он не стал скрывать этого.

— «Бороться», «бороться», — гневно повторил он слова Абая. — Я вижу, что вы действительно опасный человек. Недаром на вас пишут жалобы многие уважаемы люди из многих волостей. Вас следует убрать из степи! Я вызвал вас сюда, чтобы вы сами признали свою вину. Не рассчитывайте легко отделаться. На основании того, что мне о вас известно, я могу прямо отсюда отправить вас в семипалатинскую тюрьму, а потом и дальше — на каторгу, в такие места, откуда ваш голос никогда не дойдет до этой степи!.. Отвечайте мне: что вам надо, чего вы добиваетесь, разжигая в степи смуту? Почему со всеми степными властями, поставленными мною, вы враждуете?

Увидев губернатора впервые там, перед волостными, Абай на его лице не прочел ничего хорошего для себя. Теперь он понял, какая опасность нависла над ним. Но та твердая решимость к борьбе, которая возникла в нем, когда он смело пошел вслед за генералом в его юрту, сейчас только укрепилась. Ни боязни, ни волнения он не чувствовал. Вспышка губернаторского гнева его не смутила. Абай сам понимал, что в уменье владеть собой, в убежденности и в сознании своего достоинства он гораздо сильнее этого кричащего генерала. И поэтому он ответил хладнокровно и спокойно:

— С этими людьми, ваше превосходительство, я борюсь совсем не потому, что они назначены вами, а потому, что они просто злодеи.

Губернатор снова вскипел и постучал пальцем об стол.

— Вы ответите и за это! Какое вы имеете право называть должностных лиц злодеями?

— Если бы вы знали всю правду о них, ваше превосходительство, то не только назвали бы их злодеями, а просто отдали бы их под суд.

— Приведите доказательства! Но помните: если вы занимаетесь пустой клеветой, если вы порочите людей, которым мы доверяем, то вы отсюда же отправитесь в тюрьму!

Абай и тут не потерял спокойствия. Смело глядя в глаза губернатору, он ответил:

— Позвольте мне высказаться полностью и выслушайте меня.

Губернатор резко обернулся к Абаю. Потом он заложил руки назад и начал молча шагать по юрте.

Абай рассказал ему о преступлениях, от которых давно уже страдает простой аульный народ: о барымте и набегах, вызываемых распрями степных воротил, о несправедливостях и насилиях, чинимых ими, о грабежах, конокрадстве.

Еще при первой встрече Абаю стало ясно, что губернатор знает о нем. Конечно, сведения его основывались на доносах Уразбая и других. Но Абаю было неизвестно то, что губернатор, готовясь к поездке, потребовал дела, которые могут оказаться нужными на съезде в Кара-Мола, и тогда ему попались на глаза кипы прошений, поданных на его имя. Это были «приговоры» всех старшинств Чингизской волости, привезенные Альмагамбетом. То, что заявления были подписаны людьми почти всей волости, говорило, насколько в этих ходатайствах заинтересован весь народ. Во всех этих «приговорах» упоминалось одно лишь имя — Ибрагима Кунанбаева.

Приняв сперва эти бумаги за обычные прошения, губернатор отстранил было их. Но взгляд его остановили грамотно, красивым почерком написанные строчки. Он машинально начал читать их и тогда понял, что с ходатайством обращается огромная часть степного населения. Вдобавок тут же было и свидетельство русских крестьян-переселенцев.

Все жалобы на Абая полностью сходились с фактами, которые указывались в прошениях казахов и переселенцев, только причины его поступков здесь объяснялись совсем по-другому. Это обстоятельство поневоле заставило губернатора задуматься об Абае Кунанбаеве.

Губернатор понимал, что расправиться с этим выдающимся степняком будет, видимо, не так-то просто.

И сейчас, говоря с Абаем, он хотел получше разглядеть этого человека, разгадать его образ мыслей и его намерения. Поэтому-то губернатор и заставил Абая говорить, часто задавая такие вопросы, которые вынуждали его высказывать свои мысли.

— Преступления — повседневное дело в степи, — говорил Абай. — Уездные начальники прекратить их не могут, а мировые судьи не умеют найти настоящих виновников. Поэтому все споры и тяжбы между родами, живущими в пределах трех уездов, перешли в областную канцелярию, и вы были вынуждены сами приехать для разбора на месте множества этих жалоб. Но и в этих жалобах тоже не все справедливо. Наши влиятельные и сильные люди часто сами поддерживают злодеев, составляют даже ложные приговоры, не останавливаются и перед лжесвидетельством, перед клеветой на противника. К сожалению, городские власти часто не распутывают эти дела, а, наоборот, запутывают их незаконным, неправильным решением. Тут конечно, помогает взятка. Если вы спросите, кто же все это делает, придется назвать и многих наших степных богачей, владеющих большим количеством скота, придется назвать и волостных, пользующихся казенными печатями. Те ссорятся, мстят друг другу набегами и барымтой, а страдает от этого основная масса степного народа, мирные люди аулов. Они хотят лишь спокойной жизни и честного труда, а на самом деле постоянно терпят насилия и притеснения со стороны этих смутьянов, или, как говорится по-русски, интриганов…

Абай ни минуты не думал о том, что может воспользоваться этой неожиданно беседой для своей личной выгоды. Он не стал ни обелять себя, ни чернить своих врагов. Он даже не назвал их имен. Видя перед собой главу целой области, Абай решил рассказать ему о трудной жизни народа.

Губернатор же, слушая Абая, думал о своем. Он давно уже понял, что этот «киргиз» действительно считает себя защитником народа, борцом за его дело. Это заставило генерала насторожиться: «Да не связаны ли рассуждения Абая с освободительными идеями?» Но тут же успокоил себя: «Нет, это поветрие, конечно, еще не дошло до степи. Вряд ли эти «идеи» понятны даже такому развитому киргизу, как вот этот».

И, пытаясь разобраться в том, кто же такой Абай, он задал ему вопрос:

— Ну хорошо, Кунанбаев, а почему же все те люди, которых вы считаете причиной зла, завоевали наше доверие? Как это получилось, что ваших судей и волостных управителей мы назначили из среды таких преступников? Вы даете себе отчет в том, что вы говорите? Мы назначаем в Киргизскую степь правителей, а вы всех их считаете злодеями? Я правильно понял вас?

Он задал эти вопросы холодным тоном, испытующе глядя на Абая, как бы говоря: «Если это так, стало быть, и мы, кто назначил этих людей, тоже преступники?» Абай почуял ловушку. Откровенный и прямой разговор с этим сановником мог оказаться опасным. «Что надо было, я уже сказал, — подумал он, — а сделать выводы уже его дело».

— Ваше превосходительство, — сказал он, — может быть, я позволил себе что-либо лишнее, что не принято говорить сановнику. Но я считал необходимым рассказать вам о тяжелом положении степи, находящейся под вашей властью. То, что я говорю правду, вам подтвердит любой из аульных казахов, которого вы спросите. Я хочу сказать вам одно: от встречи с вами для себя лично я не жду ничего, я не собираюсь сам быть одним из правителей. И ищу лишь справедливости.

Это не удовлетворило губернатора. Он выслушал Абая настороженно и холодно. Кроме того, что ему не нравилась речь этого «киргиза», самый его вид и спокойное достоинство, с которым он держался, заставляли генерала хмуриться. В его представлении степняки-«киргизы» были людьми дикими и темными, которые перед начальством могли лишь боязливо преклоняться. А этот говорит, как просвещенный человек, держится свободно, как равный по положению и воспитанию. И даже то, что на нем был не чапан или халат, а бешмет из тонкого дорогого сукна, сшитый, видимо, хорошим городским портным, раздражало губернатора. И он нетерпеливо пошевелился, переведя взгляд к двери. Но тут же на его лице выразились негодование и гнев.

Желая понять, чем это было вызвано, Абай тоже повернулся к двери — и не поверил своим глазам. В юрте, держа под мышкой тымак и большую кипу листов, стоял Базаралы, а возле него — русский человек средних лет в скромном городском костюме. По холеной, красивой бороде Абай сразу узнал в нем часовщика Савельева из Семипалатинска.

Савельев (фамилию которого казахи переиначили в «Сабелей») прекрасно владел казахским языком и пользовался в степи широкой известностью. Он помогал составлять заявления, прошения и всякие «приговоры». У него были обширные знакомства во всех городских канцеляриях — и среди толмачей и урядников, и среди письмоводителей и чиновников. Говорили даже, что у него есть ход к советникам, а может быть, к самому полицмейстеру. Многие из степных казахов именно ему поручали и написать прошение и проталкивать его по канцеляриям, утверждая, что Сабелей знает такие легкие дороги, которые неизвестны лучшим городским адвокатам.

Пока Абай с изумлением смотрел на Базаралы, к губернатору подошел жандармский офицер и, почтительно склонившись, начал что-то шепотом объяснять. Губернатор слушал его недовольно и наконец спросил:

— Ну хорошо. И чего же они хотят? — И он повернулся к вошедшим.

Савельев, поклонившись, поспешил объяснить:

— Ваше превосходительство, у этого киргиза множество прошений почти из всех волостей Семипалатинского уезда. Все эти просители тоже здесь, но господин офицер разрешил пройти только нам: вот ему, с бумагами, и мне, чтобы перевести их просьбы.

— А о чем просьба? — сурово спросил губернатор.

— Все они просят не за себя, ваше превосходительство. Ходатайствуют за уважаемого ими человека, за своего поэта Ибрагима Кунанбаева.

Губернатор негодующе повернулся к Абаю. «Уж не сам ли этот загадочный киргиз подстроил все это!» — подумал он. Но лицо Абая выражало только искреннее изумление. Генерал перевел взгляд на Базаралы, внимательно вглядываясь в него. Однако этот высокий и стройный человек с привлекательным и умным лицом и не смотрел на Абая, как будто даже не узнавал его. Он спокойно подошел к столу, положил на него свои бумаги и заговорил сам.

— Таксыр,[61] — начал он, прикрывая указательным пальцем, красивым и длинным, свой левый глаз. — Таксыр, кыргыз степ — слапой, адин клазес е — Ибрагим Кунанбаев…

Базаралы прикрыл большим пальцем левое ухо и продолжал:

— Кыргыз степ — глухой, таксыр, адин ух е — апят Ибрагим Кунанбаев. Не можно Ибрагим Кунанбаев брать ат степ. Не можно! Степ слапой, глухой будет. — И он закрыл пальцами другой руки правое ухо и глаз и, жалобно качая головой, изобразил на лице страдание.

Савельев собрался разъяснить слова Базаралы, но губернатор жестом остановил его, продолжая с негодующим любопытством смотреть на Базаралы. Тот с огромным трудом продолжал изъяснять свою мысль:

— Каспадин кубернатыр нобай шалабек. Не знаит, какой шалабек Ибрагим Кунанбаев… Наш степ много пригаур послал. Много, много просит. Пускай наш пригаур пайдет санат, министр, белый сарь. Степь просит пустить нас Петербор, министр, сарь. Всё найдом!

Базаралы замолчал. Губернатор снова нахмурил брови и молчаливым движением руки показал Савельеву и Базаралы, что они могут идти. Савельев дернул Базаралы за рукав. Оба попятились и вышли из юрты.

Слова Базаралы заставили генерала задуматься. За сегодняшний день он несколько раз менял свое мнение об Абае. Сейчас он окончательно пришел к мысли, что если с таким необыкновенным для степи человеком поступить обычным способом — то есть просто выслать или посадить в тюрьму, — то это не останется без последствий. На церемонии встречи губернатор убедился, с какой почтительностью относятся к этому киргизу знатные люди степи. А теперь оказалось, что за него горой стоит и простой народ. Вероятно, этот человек имеет гораздо больший вес, чем многие из управителей. Как знать: накажешь его, а эти акты, «приговоры» съездов, всякие другие петиции, а вместе с ними, может быть, еще и новые бумаги дойдут до сената. Пошлют их и на высочайшее имя. Не очень-то лестно для губернатора, тем более для нового человека в области, если из управляемого им края поступают такие донесения, которые можно истолковать как свидетельство его неумения наладить порядок самому.

В юрту вошел советник Лосовский, держа под мышкой несколько папок с делами.

Приход Лосовского не был случаен. Увидев, как губернатор повел Абая к себе в юрту, он решил, что генерал хочет лично допросить человека, чье имя прожужжало уши чиновникам всех канцелярий и в Семипалатинске и в Омске. Поэтому Лосовский тут же приказал немедленно принести ему дело Кунанбаева, привезенное из канцелярии уездного начальника, и, не дожидаясь, когда губернатор потребует, сам понес дело к нему.

Думая, что Абай уже обречен, Лосовский подобрал бумаги, обвиняющие его. Это были доносы и кляузные прошения, поступившие в Омск, в канцелярию степного генерал-губернатора. Зная только эти жалобы, Лосовский и не подозревал о тех прошениях и документах, которые генерал получил здесь. Впрочем, и тот, сообразно некоторым своим расчетам, сознательно не рассказывал Лосовскому об этом. Дела своей области, конечно, нужно было решать ему самому. Присутствие генерал-губернаторского чиновника особых поручений уязвляло его самолюбие и казалось оскорблением его служебной чести. Поэтому-то он ни слова и не сказал Лосовскому о новых обстоятельствах в деле Кунанбаева.

Сейчас, поняв, что губернатор не допрашивает Абая, а о чем-то беседует с ним, Лосовский растерялся. Однако он все-таки положил дело перед губернатором, молча показав ему обложку так, чтобы этого не видел Абай.

Генерал отстранил папку и, довольный смущением Лосовского, резко сказал:

— Это пока не понадобится, можете взять. Холодно кивнув головой, он отпустил Абая. Оставаться на съезде генерал не собирался — вполне достаточно было и того, что он показался его участникам. Всю работу должен был вести Лосовский вместе с уездными начальниками. И, беседуя с ним перед отъездом, генерал удивил его неожиданным для того решением: назначить Ибрагима Кунанбаева одним из биев чрезвычайного съезда.

К этому решению генерал пришел вынужденно. Ему было теперь ясно, что Абай — очень крупная и влиятельная фигура в степи и что обойти его при назначении биев съезда означало вызвать новые жалобы и прошения, которых и так было достаточно. Но тут же он твердо решил, что в Семипалатинске займется судьбой этого неприятного и беспокойного человека.

В тот же вечер, совещаясь со всеми тремя уездными начальниками о завтрашнем открытии чрезвычайного съезда, Лосовский предложил назначить одним из биев съезда Ибрагима Кунанбаева.

Его предложение не вызвало споров. Наоборот, Казанцев, семипалатинский уездный начальник, даже поддержал его. Оказалось, что к нему поступило множество заявлений, где жалобщики просили назначить биями таких людей, которые могли бы справедливо разрешить тяжбы и помочь людям получить возмещение за свой труд или насильно отобранный скот. В этих заявления чаще всего называлось имя Абая, как человека, который пользуется доверием казахов всех трех уездов, знает их нужды, хорошо известен им всем. Именно ему и просили поручить разбор жалоб люди, вступившие в тяжбу с богачами и волостными.

Конечно, эти просьбы вряд ли были бы уважены, если бы все трое уездных начальников не были свидетелями того интереса, который проявил к Абаю губернатор, а Лосовский не имел бы его приказания.

Решение начальников почти тотчас же стало известно волостным — через писарей и толмачей уездных начальников. Сам Абай узнал об этом позже от Ербола и Баймагамбета, вернувшихся с ярмарки, где они целый день провели в беседах с жалобщиками. Известие это не произвело на Абая большого впечатления.

Зато Дармен принес ему новость, которая искренне обрадовала Абая: оказалось, что в степи возле ярмарки собралось много людей, пожелавших поздравить Абая с избавлением от опасности. Дармен рассказал, что сбор этот получился как бы сам собой, никто из друзей Абая его не устраивал: люди собрались, вызвали Базаралы и Байкокше и попросили их пригласить Абая.

Когда Абай, сопровождаемый Ерболом, Баймагамбетом и Дарменом, подъехал к небольшому холмику, покрытому пожелтевшей травой, его встретило здесь неожиданно много народу. Было похоже, что происходит многолюдный той, устроенный каким-нибудь богатым племенем. Но весь вид собравшихся показывал, что здесь были только те люди, кто по полному праву именуется народом.

Одни кони их говорили о многом. Почти все они были худые, заезженные, с выцветшей за лето шерстью — истинные помощники своих трудолюбивых хозяев. А седла их и сбруя еще красноречивее свидетельствовали о скромном достатке их хозяев: разодранные потники, истрепанные войлочные подушки, треснутые луки, погнутые стремена из черного железа. Среди всей массы этих всадников взгляд не нашел бы ни одной бархатной седельной подушки, ни посеребренной уздечки или сбруи с черненым серебром, нет здесь и потников, украшенных кожей или разноцветным сукном. И сами люди одеты в серые домотканные армяки или в старые, подранные чапаны. Их головные уборы, которые свидетельствуют о принадлежности к тому или иному роду, оторочены ветхой, вытершейся мерлушкой и покрыты или дешевым ситцем, или материей, безнадежно потерявшей цвет.

Эта многолюдная толпа встретила Абая как родного. Его быстро окружили, все с радостью приветствовали его, поздравляя с одержанной победой над врагами. На вершине холма, спешившись, Базаралы и Байкокше с группой почтенных стариков ожидали Абая. Подъехав к ним, он слез с коня. Друзья подошли к нему и обняли его, словно после долгой разлуки.

Абай шутливо обратился к ним:

— Базеке! Уж если я вылез из глубокой ямы, то только благодаря тебе! Сам я на этот раз не только не спасся бы, но увяз бы еще глубже. А твоя сегодняшняя речь по мастерству превзошла речь лучшего адвоката, а по красноречию — знаменитейшего бия! Но скажи, пожалуйста, как же ты пробился в губернаторскую юрту? Как тебя пустили?

— Ойбай! — расхохотался Базаралы. — Да разве есть у семипалатинских властей дверь, которую Сабелей не сумел бы открыть? А ключ, который ему для нее понадобился, помогли сделать вот эти же люди. Собрали кое-что — цену, примерно, двух коней, — он и сунул их жандармскому офицеру. А уж как тот сумел убедить губернатора — это его дело… Ты не видел, как он ему на ухо шептал?

С новым глубоким чувством благодарности Абай посмотрел с холма на множество людей, окружавших его. Толпа уже разбилась на две части, было видно, что стороны сговариваются, каких силачей-борцов выставить друг против друга. Тут же группа всадников готовилась начать скачки. Дармен сообщил, что будет и борьба на конях и другие состязания. Словом, было все, что полагается на всяком многолюдном торжестве, кроме угощения и выставленных цепочкой юрт.

Глядя на силачей, схвативших друг друга за пояс, Базаралы рассказал Абаю, что собравшиеся здесь люди направили губернатору множество просьб о том, чтобы одним из биев, которые будут разбирать на съезде тяжбы, был непременно и Абай.

Тем временем состязание по борьбе подходило к концу. Победителем оказался Абды. Положив одного за другим трех противников, он получил приз — не слиток серебра и не кусок сукна на одежду, как это бывает на богатых пирах, а новый тымак, купленный тут же, на ярмарке. Красивый смуглый жигит, широко улыбаясь, поднялся на холмик к Абаю.

— Абай-ага, — заговорил он, протягивая платок с завязанной в нем шапкой, — я боролся не за себя, а за вас, и победил потому, что боролся, как вы. А еще потому, что уж очень обрадовался за вас! Это и придало мне сил. Значит, и награда принадлежит не мне, а вам!

Абай с благодарностью принял подарок и добавил, смеясь:

— Хорошо, что друзья мои крепки не только телом, но и умом! Хотел бы и я поучиться у тебя, как валить наземь одного за другим своих врагов!

Поступок Абды понравился всем. Вслед за ним и остальные жигиты, кто побеждал в скачках или в борьбе на конях, тоже подъезжал к холмику и с веселыми шутками передавал свои призы Абаю. Некоторые из этих людей совсем не были ему знакомы, но каждый из них, отдавая Абаю свою награду, с душевной искренностью провозглашал свои добрые пожелания. И это и то, с какой радостью подходили к Абаю разнообразные люди, доказывало, каким доверием и любовью народа пользуется он.

Это понимал не только сам Абай. День уже клонился к вечеру, когда Байкокше, сидевший на холмике в кругу почтенных стариков, неподалеку от Абая, заговорил громко, так, чтобы его услышали многие:

— Э-эй, люди! Какое драгоценное торжество у нас получилось, какая истинная радость народа сказалась! И не одна радость, а две. Первая радость — за Абая, за то, что мы спасли его от опасности. А вторая радость — за нас самих, за то, что мы сумели все вместе отстоять благое дело, что смогли добиться своего! Это дорогой пример для всех честных людей! Пусть же всегда будет подобная удача в народном деле!

Все вокруг одобрили эти слова. Громкие возгласы поддержали мудрые слова старого акына.

Вечером в юрте Абая стали появляться люди, которых ни Абай, ни его друзья не предполагали увидеть у себя. Это были те самые волостные с цепями и бляхами на груди, которые утром встречали губернатора. Первым вместе с пятью-шестью аткаминерами пришел Ракиш. За ним пришли трое-четверо волостных Усть-Каменогорского уезда, потом двое — из Зайсанского.

Все они заискивающе здоровались, повторяя один за другим: «Пришли выразить вам свое почтение», «Не могли прийти раньше, были заняты встречей начальства, только сейчас можем пожелать вам удачи!», «Все время ожидали вашего приезда, наконец-то выпало счастье повидаться с вами!»

Для них и советник был уже не советник, и уездный — не уездный: всех из заслонил Абай. Казалось, он внезапно превратился в какого-то властелина, который при желании мог возвысить человека или обратить в ничто.

Абай холодно отвечал на приветствия. Гостям подали кумыс. Глядя перед собой и как бы не замечая всех этих людей, Абай вдруг заговорил, словно думая вслух:

— Глубоко несчастен наш казахский народ. Нужд его не перечислить, несчастий его не рассказать. Его притесняют и городские начальники — донимают насилием, разоряют взятками. Всякие толмачи и чиновники держат за горло. А дома, в степи, его кусает за ноги свора волостных, аткаминеров, беков с биями, всяких вельмож. Есть ли среди них такие, кто кроме своего личного богатства, силы и благополучия думает о нуждах народа, о его благосостоянии?

Абай перевел теперь взгляд на сидящих вокруг него волостных.

— Высокое положение не всегда зазорно. Деятельность, направленная на благо, должна облагораживать человека. Этого не дано тем, кто по-собачьи лижет подметки начальству. Если народ будет тебе верить, то признание твоих достоинств придет само и окрылит тебя. На вершину высокого утеса взлетает орел, случается, что заползает туда и змея! Кому из них подобны вы, сидящие здесь люди? Если не можете быть орлами, то, значит, стали змеями для своего народа?

Слова Абая ошеломили волостных, словно тяжелый удар плеткой по лицу. Не было ни одного, кто бы не понял их. Такой открытый вызов, такая горькая правда, сказанная прямо в глаза, словно отняли язык у этих мастеров удара из-за угла. Абай встал, накинул чапан и, позвав Баймагамбета, вышел из юрты.

Слух о том, что Абай осрамил волостных, пришедших выразить ему свое почтение, мгновенно разнесся по всем юртам аткаминеров, приехавших на съезд. Ракиш первым побежал к Уразбаю жаловаться. Тот стал издеваться над ним:

— И поделом! Так всем вам и надо, не будете больше лебезить перед Абаем. Жаль, мало он вас отхлестал! Ну что же, идите опять к нему, унижайтесь, еще и не то увидите. Абай вам себя покажет! — Уразбай весь трясся от бессильной злобы.

Казалось, всю ту паутину, которую он сплел вокруг Абая, тот нынче разорвал одним движением. Нечего было больше и думать, что на этом съезде удастся оклеветать и опорочить Абая, столкнуть его в пропасть.

Успокаивала, правда, одна мысль: все эти волостные и аткаминеры, которых Абай так беспощадно обвинил и оскорбил, теперь вступят в открытую вражду с ним. И если сегодня на шербешнае Абай не будет уничтожен, то Уразбая не оставляла надежда, что это может случиться в другое время.

3

Зима задержалась. Хотя наступила уже середина декабря, настоящие холода еще на начинались. Дни стояли солнечные, теплые, зима напоминала о себе лишь выпавшим недавно пушистым снегом и порой легкими утренними заморозками.

На зимовке Абая в Акшокы убой скота начали только на днях. Айгерим хлопотала в кладовых, торопила Злиху и Баймагамбета:

— Хоть бы успеть все кончить до приезда гостей! Ведь нашему Абаю-ага безразлично, что в хозяйстве все вверх дном. Нахлынут гости — он не даст отпустить их без угощения!

Опасения ее подтвердились: вдруг со всех сторон стали съезжаться гости. Из Байгабыла приехал со своими молодыми друзьями Акылбай, из Мукыра ожидали Кокпая с двумя товарищами, из родов Керей и Топай по приглашению Абая приехали прославившиеся за последние годы акыны Уаис и Бейсембай.

Айгерим, которая только что шутливо сетовала на возможность такого нашествия, когда гости действительно понаехали, приняла их с обычным радушием и приветливостью.

— Ну вот, нужно было мне говорить о гостях! Как раз их и накликала, — смеясь, говорила она Злихе. — Что же, теперь надо принимать их как следует!

Всю минувшую осень и начало зимы акыны сочиняли новые поэмы. Абай с любопытством расспрашивал приехавших, кто из них что написал. Магаш всю осень работал тут, в Акшокы, воспевая подвиг раба, отомстившего на берегах Нила жестокому плантатору. Об этой поэме узнали и в окрестностях Акшокы. Ее переписали, выучили наизусть и теперь распевали и в Корыке, и в Шолпане, и в Киндыкте.

К этому времени поэма Дармена «Енлик и Кебек» была уже широко известна. Дармен пел о казахах, а Магаш в своей поэме «Медгат и Касым» говорил о народе, казахам совершенно неизвестном. Посвященные разным эпохам и двум народам, далеким друг от друга, обе поэмы все же казались ростками, выросшими из одного корня: и та и другая воспевали справедливость и человеколюбие, с гневом клеймили насилие и зло.

Нынешняя осень оказалась удивительно плодотворной. Этому была своя причина. Вернувшись с чрезвычайного съезда в Кара-Мола, Абай напомнил молодым акынам о той беседе, которая была у них с Павловым и Абишем минувшим летом. Он расспрашивал каждого, чем увлечена его поэтическая мысль, о чем хочет он спеть, как собирается ответить на слова Павлова и Абиша. Кое-кому он сам подсказал темы новых поэм.

Айгерим не знала, что Абай тогда же пригласил акынов съехаться в Акшокы с новыми работами и указал срок: «Когда начнут зимний убой, приезжайте ко мне с законченными поэмами».

И теперь, выполнив желание Абая, акыны читали и пели свои новые поэмы и песни. Абай еще раз прослушал «Медгат и Касым» Магаша, новый пересказ «Козы-Корпеша», сделанный Бейсембаем по его поручению, дарменовскую поэму «Енлик и Кебек». У Дармена была в запасе еще одна новая поэма, о которой никто не знал, но он берег ее напоследок, ожидая приезда всех.

В сумерки, когда акыны собрались у Абая и Айгерим, в комнату вошли новые гости. Это были Кокпай и Базаралы — они встретились недалеко от аула Абая.

Неожиданное появление старого друга обрадовало Абая. Он встретил Базаралы с приветливым радушием, посадил рядом с собой.

— Путь был далеким, ты, наверно, устал, Базеке, устраивайся поудобнее!

И Абай, сняв с высокой кровати две большие подушки, заботливо подложил их под локоть гостя.

Базаралы нынче был весел и оживлен. На этот раз он заехал к Абаю не по делу, а просто для того, чтобы послушать новые песни акынов, о чем сказал ему при встрече Кокпай. Устраиваясь поудобнее на толстом атласном одеяле, которое расстелили на полу нарочно для него, он шутливо ответил:

— Конечно, я должен был бы устать, но на пути такое повидал, что не заметил и скучной дороги.

— Ну, так рассказывай, — видишь, все готовы тебя слушать! — сказал Абай и облокотился на низкий круглый стол, стоявший перед ним.

Действительно, необычно веселый вид Базаралы обратил на себя внимание всех. Все с любопытством ждали, что он расскажет.

Базаралы не заставил себя ждать. Он приподнялся на подушках. Лицо его, ярко освещенное светлой лампой, горевшей на столе, еще больше оживилось. В комнате было тепло. Базаралы уже отогрелся, на бледных щеках выступил легкий румянец.

— Что же это выходит? — сказал он смеясь. — Я приехал сюда послушать акынов, а оказывается, они хотят слушать меня!

— Акыны охотно уступают вам очередь, Базеке, — ответил за всех Магаш. — Рассказывайте, пожалуйста!

— Я сел на коня еще до зари, от подножий Чингиза путь далек, — начал Базаралы. — Когда подъзжал к Кольгайнару, было уже светло. Еду по землям Жумана и вдруг на одном холмике увидел такой сбор, который ни во сне не приснится, ни в бреду не привидится. Как бы вы думали, кто собрался на этот съезде? Четыре козла и Жуман…

Все невольно рассмеялись. Базаралы продолжал:

— Все четыре козла привязаны к кусту, а он сидит против них, как мулла перед учениками, и поучает, помахивая палкой. Так увлекся, что и топота моего коня не услышал. Я подъехал поближе — дай, думаю, посмотрю, что это за необычайный съезд у иргизбаев?

Теперь все уже громко расхохотались, засмеялся и Абай, колыхаясь всем своим грузным телом. Но на лице Базаралы не было и тени улыбки.

— Ну, я решил, что грешно не подслушать. Надо же понабраться ума, ведь у иргизбаев Жуман, пожалуй, самый старший! Я тихонько слез с седла и подкрался сзади…

И Базаралы, то и дело прерываемый взрывами смеха, рассказал, что он услышал.

Оказывается, нынче утром, когда Жуман подъехал к своему стаду, Мескара пожаловался отцу на этих четырех козлов, которые не давали козам пастись. Жуман, обругав пастухов, что они не надели на козлов вовремя фартуки, приказал изловить всех четырех и привязать их. То, что ни один из них, видимо, не чувствовал за собой вины, возмутило Жумана, и он привычно многословно начал ворчать. Козлы слушали, наклонив головы, тупо глядя на бороду Жумана и целясь его боднуть. Это окончательно возмутило Жумана, и он разразился бесконечной болтовней, упрекая козлов и порознь и всех вместе.

Когда Базаралы подсел за его спиной, Жуман говорил, размахивая своей длинной палкой:

— Эй, вы, четыре дурных козла, попробуйте сказать, что вы не мутите всего стада! Бесстыдники, постыдились бы вы бога! Чего ты на меня уставился, черный дурак? Ты из них самый молодой — значит, должен быть и самым скромным. А ты первый смутьян, первый развратник, негодяй!

И Жуман стукнул палкой по рогам молодого черного козла. Тот в ответ яростно затряс бородой и рванулся на привязи, пытаясь боднуть Жумана.

— Вон ты какой! Поглядите-ка на него, выходит, он еще и первый драчун! Молод, молод, а вон какую бородищу отпустил, впору самому Азимбаю!

И Жуман, обрадовавшись своей удачной остроте, сам засмеялся, покряхтывая от удовольствия. Стоило ему назвать черного козла Азимбаем, как и остальные три превратились в его воображении в людей.

Рядом с молодым черным стоял старый рыжевато-желтый козел, его отец. Поэтому он получил имя Такежана. Серый козел, давно известный своей хитростью, был назван Жиренше, а бурого огромного козла с высокими острыми рогами, злобного и драчливого, Жуман окрестил Уразбаем. И тогда началось то, что заставило Базаралы смеяться всю дорогу от Кольгайнара до Акшокы: Жуман начал обличать неукротимый нрав всех четырех козлов — Азимбая, Такежана, Жиренше и Уразбая — и склонность их ко всякого рода смуте. Старик, словно на холме суда, произнес целую обвинительную речь. Выяснилось, что с утра до вечера эти четыре смутьяна не дают покоя мирным козам, мешают им пастись, разбивают стадо. Укоряя козлов, Жуман находил все более гневные и горькие слова. И, все повышая голос, он громко обличал Уразбая, Жиренше, Такежана и Азимбая в склонности к разврату, любви к насилию, перечисляя их преступления, и дошел до того, что даже вспомнил Абая.

— Сколько проклятий народа на вашей совести! Прав Абай, когда обвиняет вас, негодяев, смутьянов, насильников! Подождите, будет и на вас управа, понесете господню кару, поплатитесь за слезы несчастных!..

Базаралы рассказывал это, искусно подражая и голосу и повадкам Жумана. Слушатели давно уже хохотали без умолку; Абай задыхаясь, вытирал глаза.

Базаралы закончил:

— Семьдесят пять лет болтал попусту наш Жуман-пустослов, наконец все же доболтался до чего-то путного. Ну, скажите сами, кто из ваших иргизбаев додумался до таких справедливых слов? Вот вам и Жуман-болтун!

— Базеке, а видел он вас? — спросил Акылбай.

— Беда в том, что едва начал он говорить так толково, меня схватил кашель. Он оглянулся и как закричит: «Ты откуда взялся, негодный сын Каумена?» И уж не знаю, растерялся ли старик, или просто нрав его взял верх, только он вдруг опять стал самим собой. Показал на гору Догалан и спрашивает меня: «Вот ты много в жизни повидал, в далеких краях был. Скажи-ка, сколько, по-твоему, весит та гора?»

Снова раздался взрыв смеха. Базаралы продолжал:

— «Ой, Жумеке, говорю, вот на это-то у меня ума не хватило, не знаю, что сказать. А как вы думаете?» Он надулся от важности и говорит: «Глаза — весы, а разум — судья: по-моему, вершина Догалана весит пять тысяч пудов…»

Молодежь долго еще продолжала подшучивать над болтливым стариком. Айгерим и Злиха начали приготовления к чаю. За круглым столом все не смогли бы уместиться — его вынесли и прямо на ковре постелили большую скатерть. Круг гостей широко раскинулся, началось чаепитие.

Пора было начинать песни и чтение стихов. Базаралы, как самый старший среди всех, взял домбру и протянул ее Кокпаю. Самовар, уже почти опустошенный, вынесли, чтобы вскипятить вновь, и Кокпай начал петь свою поэму.

Она оказалась очень длинной. Кокпай восхвалял в ней деяния хана Аблая. Самовар уже успел снова закипеть, его внесли в комнату, а Кокпай все еще продолжал перечислять дела знаменитого хана. Потом он перешел к славословию предков Аблая, но тут Базаралы похлопал увлекшегося акына, по колену. Подняв глаза на Абая, Кокпай заметил, что тот слушает поэму со скучающим видом.

Кокпай прервал пение и опустил домбру. Базаралы быстро заговорил:

— Не осуждайте меня, жигиты, что я первым начинаю разговор. Кроме меня, все здесь — акыны, начиная с Абая. Но, как сказал Хожа Насреддин: «Когда кругом много куриц, нужен хоть один петух». И раз я нынче только один слушатель среди вас, певцов, то я и скажу свое мнение.

Абай одобрил его намерение. Базаралы, недовольно поглядывая на Кокпая, начал:

— Ну что ты пел, Кокпай? Величаешь Аблая «драгоценным ханом», «мудрым», готов быть жертвой его духу. Покончил с Аблаем, перешел к его предкам. Если б я тебя не остановил, ты повел бы нас на поклонение к их могилам. Сказать по правде, не нравится мне все это, Кокпай! Разве мало прославляли ханов и султанов невежественные акыны? Они и прошлые времена истоптали и загадили своими песнями. Не лучше ли нам забыть про это? Не могу я слушать такую поэму после стихов Абая. Не идет она мне в сердце. Может быть, я заблудился, иду неверным путем? Скажите мне сами!

Молодые акыны с первых слов Базаралы внимательно слушали его. Абай задумчиво покачивал головой в знак согласия. И когда Базаралы замолчал, Абай заговорил:

— А ведь эти слова справедливы и верны. Наурызбай, внук Аблая, многих толкнул в беду и в горести. И несчастья его — только кара судьбы за бедствия, которые сам он причинил людям. Не следовало тебе так оплакивать его! А за что ты прославляешь потомков Аблая? Хвалишь за то, что они воевали с русскими? Называешь их заступниками казахского народа? Ложь все это! Легенды о них — яркие обманчивые краски на гнилом дереве. Никогда такие люди не были заступниками казахского народа! Наоборот, они были маленькой кучкой, продававшей и предававшей народ, пеклись только о своем султанстве, дрожали за свое ханство. И если нынче кто-нибудь из нас сеет вражду между казахами и русскими, он плохую услугу оказывает казахскому народу. Казахи не увидят в жизни света, пока не поймут всей мудрости тех великих идей, которые несут нам лучшие сыны русского народа. К истине нет иного пути кроме этого. А твоя песня ведет назад, к мрачной, дикой старине. Такая песня лежит камнем на моем пути, препятствует моим стремлениям. Не могу я принять этой песни ни душой, ни умом! — закончил Абай, сурово глядя на Кокпая, и потом повернулся к остальным. — По счастью, не все мы складываем такие песни. Но то, что сказал сейчас Базаралы, и к нам относится.

Чай остывал, никто из молодежи не притронулся к своей пиале. Все молча ждали, что еще скажет Абай.

Он, помолчав, заговорил негромко и медленно, хотя побледневшее его лицо выражало сильное волнение.

— Вы пишете о героях батырах, о красавицах девушках, о всевластной любви, — начал он, — но этого мало. Безмерно мало. Это стихи не о жизни и ее горькой правде. Это стихи о сновидениях, сладких мечтах и грезах. И не вы одни в этом грешны. Многого не высказал я сам. Кругом нас и над нами нависла черная, зловещая мгла. Дни наши— в горести и в беде, лютое зло торжествует. Словно увал за увалом, лежит на нашем пути невежество, злоба, насилие. А мы не помогли народу увидеть свой путь, не зовем его на борьбу. Лучшие сыны русского народа, отважные в мыслях и решительные в делах, находят эти пути, показывают их народу. Мы же, акыны, в беспечном покое поем лишь песни забавы. Нет, не борцы мы! Не сумели стать впереди каравана. Не сумели пробудить народ к борьбе. Вот на что нужны ваши силы! Ищите, берите пример у того нового, чем живут сейчас новые люди в России! Вот главнейшее наше дело!

Он замолчал. Слова его ясно показали, что ни одна пропетая им за эти дни поэма не получила его одобрения.

Кокпай, жалуясь на головную боль, пошел к дверям. Глядя ему вслед, Абай понял, что он уходит в обиде, и это вызвало в нем раздражение. Остальные акыны сидели молча.

Дармен с трудом сдерживал волнение. Наконец обычная смелость заставила его заговорить, хотя он с опасением посматривал на сурово сдвинутые брови Абая.

— Абай-ага, у меня есть одна новая песня. Пока я не читал ее никому. Что, если бы вы послушали ее и сказали, на правильном ли я пути?

Абай с надеждой посмотрел на Дармена.

— Спой! Спой, мы послушаем!

И Дармен начал нараспев читать свою поэму. От сильного волнения он побледнел, глаза его сверкали.

С первых же строк поэмы все стали слушать с нарастающим вниманием. Поэма начиналась с описания знакомых всем урочищ Азбергена и Шуйгинсу. Непроглядная поздняя осень, грозящая людям тяготами и бедствиями, зловещие тучи окутали небо. Аул жадного бая стоит еще на осеннем пастбище. В дырявом шалаше на краю аула иссохшая больная мать крепко прижимает к себе двух полуголых дрожащих малюток. Это Асан и Усен. Тут же горемычная бабушка Ийс. В углу лежит пастух Иса, целый день проходивший вокруг байского стада и продрогший до костей.

Ветер все свирепеет. Начинается буран. Жестокий бай и его злодей сын избивают Ису. Больного, закоченевшего, они гонят его за стадом, увлеченным бураном. Леденящий ветер, то ливень, то снег. Сквозь бурю пробирается Иса, спасает стадо. Вдруг волк — один, другой… Целая стая… Отважная борьба смелого жигита…

Отчаянная схватка безоружного человека с матерым волком…

Все в юрте слушали теперь Дармена затаив дыхание, боясь шевельнуться. Порой были слышны прерывистые вздохи Айгерим и Злихи. Люди и события этой необычайной поэмы были близки и знакомы слушателям — еще так недавно все это волновало их в самой жизни. Теперь искусный поэт рассказывал об этом словами, острыми, как кинжалы, проникающими в самое сердце, покорял людей чувством, пылающим, как огонь.

Неслыханную отвагу проявил Иса, любимый брат, неоценимый сын. Но зачем, ради кого? Ради бесчеловечных, алчных хозяев? Защищая их богатство? За кого боролся с волком отважный батыр? За волков в человеческом обличье! Зачем ты это сделал, родной?

И вот Иса болен. Недуг все тяжелее. Притихли дети. Стонут в муках жена и мать. А в доме нищета, в семье голод. Горькое горе вместе с болезнью разрывает грудь Исы. Сиротами останутся малютки, нищенками — старая мать и тающая на глазах вдова. Не с людьми, а с волками оставляет он их.

Айгерим не смогла сдержать рыданий. Слезы выступили на глазах Абая. Дармен продолжал, не замечая, что плачет и сам.

… Предсмертный бред. Последние проблески мысли. Снова идет борьба с волком. Нет, не с волком — с Азимбаем схватился Иса. И в этой последней схватке с вечным врагом гибнет Иса. Погас жаркий пламень могучего сердца. Бесцельно исчезла великая сила. Человек умер.

В ужасе плачут Асан и Усен. Недетская скорбь в их чистых глазах. Их молящие взоры устремлены на людей, на тех, в ком есть человеческое сердце, человеческая совесть… Люди, помогите им!..

Дармен не смог дочитать конца своей поэмы. Закрыв глаза платком, он замолчал. В комнате стояла глубокая тишина. Казалось, будто все только что навеки попрощались с Исой, умершим тут, у них на глазах.

Абай тоже низко опустил голову, не подымая наполненных слезами глаз. Дыхание его прерывалось, плечи вздрагивали. После долгого молчания он овладел наконец собой и сказал коротко и отрывисто:

— Некрасов… Голос Некрасова… Он так же правдиво раскрывал душу обездоленного русского крестьянина… Пусть не я, пусть другой первым из нас стал на его путь… Будь счастлив на этом пути, брат мой Дармен! — взволнованно закончил он, поразив всех таким обращением к юноше.

Абай верно угадал исток последней поэмы Дармена. Этой осенью, перебравшись на зимовку в Акшокы, Абай часто и много читал Некрасова. Бывали дни, когда, увлеченный русским поэтом, Абай пересказывал его поэмы Дармену, строка за строкой переводил некоторые его стихи. Он объяснил юноше, что самые правдивые и волнующие слова о горькой доле русских крестьян нашел лишь этот акын. Слушая некрасовские стихи, Дармен снова вспомнил свои мысли, с которыми он ласкал маленьких сирот Исы. И в эти же дни он начал свою поэму.

Задумчиво глядя на Дармена, Абай унесся мыслями далеко. Его поэтический взор видел перед собой голую вершину высокого уединенного утеса. На такой вершине кладет свои яйца могучая и сильная орлица. В народе говорят, что, положив их зимой, она оставляет их на морозе до весны. Ледяной ветер обвевает лежащие на голой скале яйца. Не выдерживая мороза, лопается одно, потом второе, третье. Но четвертое порой выдерживает это испытание стужей, и тогда в теплый вешний день орлица начинает греть своим телом уцелевшее яйцо. Бывают годы, говорит народ, когда у орлицы не остается в гнезде ни одного яйца, и она летает до осени, одинокая, бесплодная.

Не так ли и с ним, с Абаем? Многие ли из его птенцов выдержали испытание суровой стужей жизни? Разве мало яиц лопнуло? Вот Шубар: из этого лопнувшего яйца выползли гадкие черви — дети гнили, несущие духовную заразу другим. Не таким ли будет и Кокпай, который ушел сейчас в самолюбивой обиде, не выслушав даже стихов Дармена? Кто из сидящих здесь юношей станут теми орлятами, о которых мечталось всю жизнь? Может быть, и они рано или поздно не выдержат гнета жизни? Единственная мечта: хотя бы один остался. Мечта страстная, самозабвенная, как мечта матери-орлицы.

«Не Дармен ли это? Не он ли? Может быть, суждено тебе долететь до пределов, до которых доносили меня мои слабеющие крылья. Может быть, суждено тебе промчаться дальше, в заветные края, которых сам я не знаю… Лети же дальше, лети вперед, в бескрайнюю даль. Познай больше, чем постиг я. Познай для того, чтобы повести в те края народ твой, потомков твоих. Ты на верном пути. Ты сам почуял его своим правдивым сердцем. Желаю тебе достичь тех пределов. Лети, Дармен!»

[1] А г а — обычное у казахов обращение к старшим мужчинам, близкое по смыслу русскому «дядя», но без обозначения родственной близости. (Ударение, как во всех казахских словах, — на конце: ага.)

[2] Суюнши — подарок в награду за радостное известие.

[3] Жигитек — название рода, находившегося в состоянии постоянной вражды с родом Абая — Иргизбаем.

[4] Д ж у т — стихийное бедствие, когда в суровые зимы скот не может добыть подножный корм из-под сугробов снега или корки гололедицы и гибнет.

[5] Женеше — почтительное обращение к жене старшего брата.

[6] То есть настал радостный день.

[7] Аткаминеры (буквально: всадники) — старейшины родов и влиятельные богачи, разъезжавшие по аулам и вершившие степные дела.

[8] Елюбасы — лица, выбранные аульным сходом по одному на пятьдесят семейств. Елюбасы на волостном сборе выбирали нового управителя, а также биев (судей). В елюбасы попадали лишь люди зажиточные и влиятельные.

[9] В административном отношении — по «Временному положению» 1868 года, введенному царским правительством для управления Казахской степью, — волость делилась по признаку общности территории кочевки на такие аулы, объединявшие от 80 до 100 хозяйств. Во главе административного аула стоял аульный старшина, назначенный волостным управителем.

[10] М а з а р — надгробное сооружение.

[11] А б ы з — предсказатель, пророк.

[12] По обычаю, Б о л ь ш о й а у л, то есть значительнейшую долю скота и имущества, наследовал младший сын.

[13] Онка — бабка, вставшая после удара битком неправильно — основанием кверху.

[14] Имя Кунту буквально означает: взойди, солнце!

[15] Т у л п а р — легендарный крылатый конь.

[16] Ж а т а к и — люди, охраняющие зимовье и обслуживающие его постройки: обычно это были бедняки, не имевшие своего скота. Жили на зимовьях безвыездно, не уходя в летние кочевья.

[17] Кияспай — упрямец.

[18] Байбише — первая жена, главная хозяйка.

[19] С о и л — длинная, утолщенная к концу березовая палка, употребляемая в конном бою.

[20] Звуки «ф» и «в» не свойственны казахскому языку. Поэтому русские имена и фамилии искажались: Казансып (Казанцев), Педот (Федот), Лермонтып (Лермонтов) и т. д.

[21] Шокпар — дубинка для конного боя.

[22] Аксакалы и карасакалы — дословно: белобородые и чернобородые, то есть люди преклонного и зрелого возраста.

[23] К ш и — а п а младшая мать (обращение к младшим женам отца).

[24] Апа — мама.

[25] Джин — бес, злой дух.

[26] Борбасар — волкодав.

[27] Корер — зоркий.

[28] К о к — ш о л а к — «серый-куцый» — так в казахских сказках зовется волк.

[29] Шолпы — серебряные украшения в косах молодых женщин и девушек.

[30] Кимешек — головной убор замужней женщины, большой белый платок с вырезом для лица.

[31] Жели — веревка, протянутая между вбитыми в землю кольями, для привязи жеребят-сосунков.

[32] Каргибау — подарок родителей жениха родителям невесты в день первого сговора.

[33] Тостик — герой казахской сказки, попавший в подземное царство и нашедший там после долгих приключений красавицу невесту.

[34] Средний Жуз — казахская Средняя Орда, населявшая юг нынешней Семипалатинской области.

[35] К у я н г — ревматизм.

[36] А р и-айдай бойдай-т а л а й — обычный припев казахских песен, вроде русского «ай-люли».

[37] «Белый козленок» — творог со сливками.

[38] С ы б а г а — угощение, особо припасенное для уважаемых лиц.

[39] То есть потребует невозможного.

[40] К о ж е — суп из пшена или из толченой пшеницы, подбеленный молоком, — пища бедных семейств.

[41] Т а л к а н — жареная пшеница, растолченная в порошок.

[42] Так казахи называли русских женщин, выговаривая по-своему слово «матушка».

[43] «М е н и к и — с е н и к и» — мое-твое.

[44] Ж е т ы с у — казахское название Семиречья.

[45] А р х а р — горный баран.

[46] Жаман — плохо.

[47] Жалкау — ленивый.

[48] Б о к а н — подпорка внутри юрты.

[49] А й р ы л м а с — не разъединяйся! — обычный клич во время боя.

[50] А к т а б а н ш у б ы р ы н д ы — буквально: «Великое бедствие перехода босиком». Под этим названием известно переселение казахов с берегов Сыр-Дарьи в северные степи Арка в XXYIII веке под натиском джунгар, когда большую часть пути народ прошел пешком.

[51] А м е н г е р — родственник умершего жениха или мужа, по обычаю адата имеющий право взять в жены оставшуюся после него невесту или вдову.

[52] А с — большой, торжественный поминальный пир.

[53] Тюре — начальник.

[54] Ерулик — угощение по случаю прибытия аула на новую стоянку, чаще всего — на летнюю, жайляу.

[55] То есть у мужчин.

[56] С у й е м и к а р ы с — меры длины вроде русской «четверти»: суйем — расстояние между концами большого и указательного пальцев, карыс — большого и среднего.

[57] Г р я з ь — по казахски «сор»; это слово означает бедствие.

[58] Шербешнай — так произносили казахи слова «чрезвычайный съезд».

[59] О я з — начальник.

[60] По старинному поверию казахов, если врагу бросить в спину горсть земли, он больше не возвратится.

[61] Таксыр — начальник.